

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6-8Милоков1
П 11

Рецензенты:

доктор исторических наук, профессор Н. М. Рогожин

доктор исторических наук Л. А. Сидорова

П 11 П. Н. Милоков: «русский европеец». Публицистика 20–30-х гг. XX в. / отв. ред. и сост. М. Г. Вандалковская; [подгот. текста М. Г. Вандалковская, В. В. Тихонов; коммент. и указ. В. В. Тихонов]. — М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. — 326 с.

ISBN 978-5-8243-1669-8

Публикуемый сборник содержит статьи историка и политика, лидера российского кадетизма П. Н. Милокова. Статьи в основной массе извлечены из издаваемой Милоковым в Париже эмигрантской газеты «Последние новости» (1921–1940), ставшей, по существу, недоступной. Круг проблем, затрагиваемых в сборнике, достаточно широк: история России, реформаторская деятельность (Петр I, освобождение крестьян), революционный процесс, Февральская революция, Гражданская война, Советская Россия, задачи эмиграции, характеристика политиков и деятелей науки и культуры начала XX в. Особую ценность представляют статьи о Второй мировой войне, международном положении, политике Германии и СССР в канун и в ходе военных действий. Эти статьи являются единственным объемным комплексом сведений о войне, написанным эмигрантом и современником событий. Статьи сборника являются ценным историческим источником и предназначены для историков, специалистов в области политической культуры, студентов, аспирантов и широкого круга читателей.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6-8Милоков1

ISBN 978-5-8243-1669-8

© Институт российской
истории РАН, 2011
© Российская политическая
энциклопедия, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
История и политика	9
Кто виноват в революции?	9
Деникин — историк и мемуарист	12
Россия и демократическая эмиграция	23
Мои сношения с генералом Алексеевым	37
Мои сношения с генералом Алексеевым — 2	45
Социализм и демократия	53
Новый этап	57
14 (26) декабря 1825 года	59
Петровская годовщина	63
Восьмая годовщина	67
Либерализм и социализм	69
Третий максимализм	73
Россия и эмиграция	77
Струве — защитник «либерализма» и «демократии»	80
Пережитки белой идеологии	85
Либеральная демократия	88
Двадцатилетие русской революции	93
Двадцатилетие Февральской революции	97
Сталинизм и эволюция большевизма	100
Русский «расизм»	103
Самочинная революция (1917–1927)	107
Термидор и бонапартизм	110
Пятнадцать лет назад	113
Семидесятилетие освобождения крестьян	118
Величие и падение Покровского	129
Падение русской монархии в изображении профессора Пэрса	152
В.А. Маклаков о книге проф. Пэрса	167
Большевизм, социализм и демократия	173
Победит ли социализм?	177
Вторая мировая война	179
Европа и «мы»	179
Правая и левая рука СССР	183
Два диктатора — две революции	211
Заключительная часть статьи П.Н. Милюкова «Два диктатора — две революции»	226
Апология Мюнхена	232
Положение накануне войны	238

Память о современниках	253
П.Д. Боборькин	253
Масарик и Бенеш в Париже	254
В.Д. Набоков (к годовщине смерти)	258
П.Н. Новгородцев	265
М.В. Родзянко	268
Памяти друзей-граждан	271
Памяти Г.Е. Львова	275
М.М. Винавер и «новая тактика»	277
Памяти мудрого	281
С.А. Муромцев (к двадцатилетию кончины)	284
Памяти И.В. Шкловского-Дионео	285
Мои встречи с Масариком	289
М.И. Ростовцев	300
Памяти В.А. Мякотина	302
Национальное и интернациональное в Шалапине	304
Именной указатель	311

ВВЕДЕНИЕ

Талантливый российский политик и историк П.Н. Милоков оставил огромное политическое и интеллектуальное наследие.

Политик и историк сосуществовали в нем органично, несмотря на сосредоточенность в отдельные периоды на научной работе и известную отключенность от нее во время лидерства Милокова в кадетской партии. Исторические изыскания помогали разобраться в политических комбинациях общественной жизни, видеть корни и эволюцию тех или иных явлений и событий, занятия политикой предостерегали от схематизма и застойных представлений, корректировали устоявшиеся оценки. При этом профессионализм ученого сдерживал Милокова от модернизации и антиисторизма, хотя, конечно, его политическая деятельность и эпоха революционной борьбы, в которую он всецело был погружен, влияли, и не могли не влиять, на его исторические взгляды.

Политик Милоков олицетворял собой русский кадетский либерализм, «среднюю линию» в политической борьбе, зависимую от политического поведения «правых» и «левых» партий, от реальной расстановки сил, их конкретного соотношения, обусловленного ходом революционной борьбы.

Среднюю линию в политической борьбе Милоков осуществлял не только в период своего бессменного лидерства в кадетской партии, но и в эмигрантский период, когда проводил «новую тактику», учитывающую новую реальность: установление советского строя и новые условия борьбы за Россию в эмигрантской обстановке. Это выражалось в признании республики и федеративной формы правления в России, а также произошедшего перераспределения земельной собственности в ходе революции. При этом важно подчеркнуть, что любые попытки осудить «шаги» лидера русского кадетизма «вправо» и «влево», как это имело место в современной Милокову действительности, так и в последующем историографическом осмыслении, обречены на бессмысленность, ибо лавирование в конкретной обстановке между правыми и левыми течениями — сфера существования русского либерализма в его кадетской форме. К сожалению, эта

мысль не нашла отражения в многочисленной современной литературе о Милокове и возглавляемой им кадетской партии.

Как известно, либеральный кадетизм потерпел неудачу. Но многомерный опыт борьбы, владение гибкой тактикой, способность предвидеть, учитывать опасность, присущее ему искусство компромисса, приемы дипломатического мастерства, меры воздействия на массовое сознание и многие другие стороны деятельности мудрого политического руководителя составляют неоспоримые достижения и, по выражению самого Милокова, «в ходе времен дадут свои результаты». Обращение к практически-политическому наследию Милокова сохраняет поэтому свою актуальность и в наше время.

Не меньшую значимость имеют и труды Милокова, как научные статьи и монографические исследования, так и статьи публицистического характера.

Научное творчество Милокова, впрочем, как и его политическая деятельность, значительно изучены в историографии.

Приемы и методы, которыми пользовался Милоков в своих научных исследованиях, — историзм, диалектика, анализ и синтез, сравнительно-исторический и типологический методы — универсальны, т.е. являются общими как для научной, так и для политической деятельности Милокова. Так, например, сравнительно-исторический метод, на базе которого построен основной труд Милокова «Очерки по истории русской культуры» разных изданий, был применен им и в публицистическом наследию.

Идеи государственной школы, С.М. Соловьева и В.О. Ключевского о закономерном и органическом развитии исторического процесса с учетом особенностей географического и этнографического развития и колониционных процессов были восприняты и развиты Милоковым в его научных трудах.

Рассмотрение исторического развития России в контексте европейского развития — основополагающая особенность исследовательского метода Милокова.

Россия, по его мнению, развивается по европейским законам с присущими ей характерными конкретно-историческими особенностями, определившими ее отсталость (громадность территории, редкость населения, позднее вступление России на «сцену истории» и др.). Российское развитие являлось для Милокова лишь одной из местных вариаций общеевропейского исторического процесса. Будущее России Милоков и его единомышленники также связывали с европейскими общественно-политическими завоеваниями — либерализмом и демократией. Именно поэтому современники называли Милокова «Русским европейцем», чему следуем и мы, давая

публикуемому изданию это название. Оно в полной мере отражает понимание этой проблемы.

Публицистическое наследие Милокова огромно и разнообразно по содержанию. И в российский, и в эмигрантский периоды своей жизни Милоков публиковал статьи в многочисленных русских и зарубежных изданиях.

Особую ценность как целостный комплекс материалов о России представляют его статьи в газете «Последние новости», главным редактором которой он стал 1 марта 1921 г. Газета просуществовала до июня 1940 г. «Последние новости» являлись самой долговременной и популярной эмигрантской газетой.

Профессионализм редакции под руководством главного редактора, организация издательской деятельности (подбор кадров, эффективная техническая оснащённость) обеспечили высокий уровень издаваемой газеты. По свидетельству современников, «Последние новости» в 1920 — начале 1930-х гг. встали в ряд высокопрофессиональных европейских газет.

Милоков публиковал в «Последних новостях» свои многочисленные статьи, в том числе и передовицы, определяющие общественно-политическую актуальность той или иной проблемы. Эти статьи, к сожалению, не стали предметом исследовательского внимания ученых. Между тем их содержательная насыщенность представляет большой научный интерес, помогает раскрыть не только мировоззренческие взгляды Милокова, но и менталитет эмигрантской среды разных политических ориентаций.

Публикуемый сборник содержит статьи Милокова, извлеченные преимущественно из газеты «Последние новости». Разумеется, эти статьи далеко не исчерпывают публицистического наследия этого крупного и незаурядного политического деятеля и ученого, но они раскрывают, значительно дополняют и в определенной мере корректируют представления о многих проблемах российской истории и их восприятии эмигрантами.

Речь идет об оценке революционного процесса в России, Февральской революции, Гражданской войне, политике Советской России, поведении общественных и политических деятелей в ходе падения российской монархии и установления нового строя. Как профессионал-историк Милоков в своих статьях обращается и к истории России, ее достижениям и особенностям в проведении реформаторской деятельности (Петр I, освобождение крестьян в 1861 г. и др.).

Несомненную теоретическую ценность имеют статьи, раскрывающие содержательный смысл и эволюцию терминов «либерализм»,

«социализм» и «демократия» в новых исторических условиях 20-х гг. XX в. и их применимость к западным странам и России.

Комплекс статей Милокова о Второй мировой войне как современника событий отличает многоаспектный подход к освещению военной тематики, к раскрытию проблемы генезиса внешнеполитической деятельности Германии и СССР. Эти статьи показывают уровень понимания международного положения в мире тех лет и свидетельствуют об историческом сознании патриотической части эмиграции, к которой принадлежал их автор.

Особая тема публикуемых статей — назначение и задачи эмиграции, условия и методы помощи эмигрантов России в свержении советской власти.

Привлекают внимание и те статьи Милокова, которые посвящены политическим и общественным деятелям — современникам Милокова и которые рисуют яркие портреты с присущей автору психологической проницательностью.

Публикуемые статьи располагаются по хронологии в трех разделах: «История и политика», «Вторая мировая война» и «Память о современниках».

Издание сопровождают комментарий и именной указатель.

*М.Г. Вандалковская,
д. и. н., главный научный сотрудник*

ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА

КТО ВИНОВАТ В РЕВОЛЮЦИИ?

Берлинский процесс убийц Набокова, покушавшихся на жизнь Милокова, ставит на очередь этот основной вопрос оценки всех событий за истекшие шесть, а по существу, семнадцать лет русской истории. Шабельский так и ставит этот вопрос: он стрелял в Милокова потому, что считал его главным виновником русской революции. Так ставит его и типичная черносотенная прокламация, перепечатанная нами вчера. С этого крайнего правого полюса русского политического фронта, собственно, все представляются «виновными» в революции, кроме деятелей «союза русского народа». Винават не только Милоков; винават Гучков, Родзянко, Шульгин, винават граф Витте, и если бы он не умер, то попал бы в «черный список». Да, впрочем, его дом и сделался жертвой покушения путем бомбы, спущенной в камин, и покойный государственный деятель вел очень острую переписку со Столыпиным, который из личной ли неприязни, или по политическим соображениям затушевал это дело. До сих пор не выяснено, несмотря на мемуары Курлова, какую роль сыграло русское черносотенство в смерти самого Столыпина.

Самое объединение в одном огульном обвинении деятелей столь различных взглядов и направлений показывает, что обвинителей надо искать в той кучке фанатиков, «бывших людей» или профессиональных демагогов, которые, не разбираясь ни в чем, не имея самых элементарных понятий об историческом процессе и об исторической критике, желают во что бы то ни стало повернуть вспять жизнь великого народа в интересах одной социальной группы и во имя мировоззрения, отзывающегося глубоким средневековьем. Естественно, что и в самой России они ищут союзников в наиболее отсталых элементах населения. Их расчет — на остатки старой народной темноты или на рецидив народного невежества. Их тяжба с прогрессом осуждена историей, которую они не понимают или игнорируют. Как же представляется дело с точки зрения — не скажем даже всякого демократа,

но всякого обладающего здравым смыслом и способного понимать окружающее человека?

Прежде всего, можно ли вообще говорить о «виновности» за революцию? В известном смысле — нельзя; в другом, несомненно, можно. Под «революцией» можно разуметь определенное политическое и социальное содержание, с ней связанное. Но можно разуметь и самую форму насильственного переворота. Содержание революционного процесса можно представить себе и отдельно от насильственной формы: ход исторической жизни, в которой это содержание выявляется, может быть не только насильственным, но и мирным. Странно говорить о «виновности» или ответственности за неизбежный ход процесса: в данном случае за демократизацию национального организма. Процесс этот неизбежен, необходим и плодотворен для всякого народа, способного прогрессировать. Отрицать этот ход закономерного исторического процесса могут только те, кто ищет законов русской исторической жизни не в Европе, а в Азии. Другое дело — форма осуществления того, что неизбежно. В известной, может быть, не очень большой степени, эта форма зависит от волевой деятельности политических руководителей. И если плодом этой волевой деятельности является не мирное, а насильственное разрешение неизбежного процесса, то можно говорить и об ответственности, «заслуге» или «виновности» этих руководителей.

Кто же «виноват» в насильственном разрешении русского исторического кризиса, ставшего неизбежным? Достаточно поставить вопрос таким образом, чтобы приблизиться к правильному ответу на него. Неизбежность кризиса, политического и социального, в русской жизни была признана больше ста лет назад. Имена Радищева и Сперанского нас в этом убеждают. Были тогда же указаны и условия мирного разрешения кризиса. Все царствование Александра I было историей двойной попытки — сперва мирного, а потом революционного решения. Кто же «виноват» был тогда в неудаче первого? Сперанский — тогдашний Витте? Александр — тогдашний Николай? Аракчеев и Фотий — тогдашние Марков и Распутин? Декабристы — тогдашние революционеры-интеллигенты? Но ведь декабристы явились последними после провала Сперанского, после подчинения Александра реакции. Кризис только намечался, он еще далеко не стал неизбежным и неотложным. И тем не менее основные факторы и шансы мирного и немирного исхода уже наметились. На чьей стороне ответственность и виновность?

Попытка мирного решения была сделана и накануне окончательной катастрофы. Эта попытка, параллельная попытке Сперанского, есть опыт русского представительства. Кто же «виновен» в том, что она не удалась и что стало неизбежно немирное разрешение кризиса?

Для всякого человека со здравым смыслом ясно: виновны те, кто задержал эту попытку до последней минуты, кто и в эту последнюю минуту сделал все, чтобы сорвать ее, кто извратил народное представительство до такой степени, что оно потеряло всякий авторитет в глазах народа, кто, наконец, даже перед лицом грозящей катастрофы удержал власть от всякой попытки компромисса.

Нужно ли напомнить конкретные факты? Они еще памятливы всем. Кто добивался и настоял на том, чтобы само слово «конституция» осталось запретным и преступным, даже после создания народного представительства? Кто вел открытую агитацию за «воссияние солнца правды» в виде старого, неограниченного самодержавия? Кто превратил выборы в Государственную Думу в фикцию и до самого конца пытался взорвать Думу изнутри? Кто парализовал все основное законодательство Думы, не допустив даже скромные ее законы пройти через Верхнюю Палату? Кто в последний час разрушил даже тот хрупкий мостик между Россией и династией, который четвертая Дума пыталась построить в виде «прогрессивного блока»? Кто, наконец, первый спрятался, отрекся от династии и предал ее в минуту грозной опасности?

Ответы на эти вопросы ясны. «Виновны» в насильственном падении династии те, кто теперь усердно ищут виновных во всех рядах, кроме своих собственных. Это они привели историческую власть к бесславному концу. Они тянули ее книзу всей тяжестью своих социальных претензий и предрассудков, осужденных историей. Это они предложили власти роковой для нее союз, обещая за сохранение своих привилегий сохранить и за ней старую, отжившую историческую форму. И если эта власть стала окончательно неприемлемой для России, то прежде всего потому, что народные массы не мыслятся иначе, как в союзе с «первенствующим сословием» и со всей той организацией насилия, которая необходима была для поддержания этих двух, сгнивших изнутри исторических трупов.

Мало того, что эти люди больше всего виновны в исчезновении старой исторической власти, которой они служили. Они также виновны больше всего и в том, что Россия до сих пор томится во власти насильников, психология которых им ближе и понятнее, чем психология новой демократической России. Это они окрасили всенародный вначале протест против большевистского переворота в те самые цвета, под которыми боролось умирающее самодержавие и «оскудевшее» правящее сословие. И они лишили этим единственную организованную против большевизма силу общенародного сочувствия, они лишили народ его национального знамени. Их историческое неумение и неспособность вызвать к себе доверие народа есть главная причина того, что квазинародная власть под лживой фирмой «республи-

блики крестьян и рабочих» получила возможность в продолжение пяти лет разорять Россию и довести ее до нищеты и людоедства.

Вот наш счет, который мы предъявляем обвиняемым, пытающимся стать в позу обвинителей. Мы не требуем их голов, не кричим «на плацу» и не организуем покушений. Мы говорим только: поймите, что виновник русских бедствий не кто иной, как вы сами. Поймите это, покайтесь и скройтесь в той тьме, из которой вы вышли.

Последние новости. 1922, 6 июля

ДЕНИКИН — ИСТОРИК И МЕМУАРИСТ

Генерал А.И. Деникин. Очерки русской смуты¹.

Том второй. Борьба генерала Корнилова.

Август 1917 г. — апрель 1918 г.

Поволоцкий, Париж, стр. 345

I

Книга ген. А.И. Деникина — честная книга. Автор хочет сказать правду о важных событиях, свидетелем и участником которых он был. Не полагаясь на одни свои впечатления и воспоминания, он собирает весь доступный ему материал и проделывает над ним работу историка. Чуждый борющимся политическим партиям, он, естественно, не вносит в свое изложение партийной окраски. Но и в вопросах, которые близко его касаются как военного специалиста и члена русской армии, в положениях, в которых легко разыгрываются страсти, особенно при ограниченности политического кругозора военной среды, Деникин строго контролирует свою мысль и чувство, старается быть вполне объективным и делает свои выводы в крайне сдержанной форме. Все это придает его книге характер серьезного исторического изложения, являющегося вместе и первоисточником, там, где автор излагает данные, лично ему известные.

Первая четверть книги посвящена Корниловскому движению² августа 1917 г. Затем, после короткого описания жизни арестованных генералов в Быхове и «результатов победы Керенского», вплоть до

¹ Деникин А.И. Очерки русской смуты. Берлин; Париж, 1921–1926.

² Корниловское движение — вооруженное выступление 25–31 августа 1917 г. верховного главнокомандующего Л.Г. Корнилова против Временно-

большевистского переворота, ген. Деникин переходит к истории добровольческой армии¹, от ее зарождения в Ростове и Новочеркасске до ее возвращения с кубанского похода после смерти Корнилова. Ген. Корнилов остается, таким образом, главным героем этого тома с начала до конца.

При всей горячей любви к Корнилову, автор не идеализирует своего героя. В самом начале он его характеризует, как «солдата и полководца», «слишком доверчивого, плохо разбиравшегося в людях». Он не скрывает печальных трений между Корниловым и Алексеевым на Дону. Нарисовав потрясающую картину отчаянного положения армии под Екатеринодаром², при котором кончина Корнилова является как бы неизбежным и единственным исходом, он выражает свое отношение к этой картине несколькими словами ген. Алексеева: «Ну, Антон Иванович, принимайте тяжелое наследство». А сам осторожно говорит: «...как бы то ни было, там, в окопах, в оврагах екатеринодарских огородов, в артиллерийских казармах — люди живут своей жизнью, не отдают себе ясного отчета в грозности общего положения, страдают и слепо верят. Верят в Корнилова. А ведь вера творит чудеса...»

История Корниловского восстания наиболее изучена в литературе — и в этой части своего рассказа Деникин может сообщить не много нового. В общем, в оценке положений, лиц, в подборе материала я не нахожу большой разницы с моим собственным изложением (см. II том «Истории второй русской революции»³). Но есть много интересных и ценных частных. Отмечу, прежде всего, те черты Корниловского движения, которые отличают его от позднейшего «белого». Корнилов, по свидетельству Деникина, «по взглядам, убеждениям примыкал к широким слоям либеральной демократии». Он не желал идти ни на какие «авантюры с Романовыми», считая, что они «слишком дискредитировали себя в глазах русского народа», но на заданный ему мною вопрос, — что если учредительное собрание выскажется за монархию

го правительства для установления военной диктатуры. Окончилось провалом.

¹ Добровольческая армия — белогвардейское военное формирование. Первоначально создавалась из добровольцев, в дальнейшем — путем мобилизации. Возглавлялась генералами Алексеевым, Корниловым, Деникиным; с 1919 г. в составе «Вооруженных сил Юга России». Численность от 4 тыс. в 1918 г. до 40 тыс. в 1919 г. В октябре 1919 — марте 1920 г. была разбита Красной армией, остатки вошли в армию Врангеля.

² Теперь Краснодар.

³ Милуков П.Н. История второй русской революции. София, 1921–1923; Париж, 1927.

и восстановит павшую династию, он ответил без колебания: «подчинюсь и уйду». Что касается настроения офицерства, сочувствовавшего Корнилову, Деникин говорит: «...вряд ли будет ошибкой считать, что большое число петроградских организаций принадлежало к правым кругам. Но отсюда не следует, что целью их была реставрация. Они удовлетворялись свержением советов и установлением “сильной власти”. Идея немедленного восстановления монархического строя и им казалась нецелесообразной для текущего этапа революции». Полуконспиративная офицерская группа, ставившая первоначально задачей «помощь временному правительству», назвала себя «республиканским центром»: «казалось естественным, что Россия должна быть республиканской». Даже на Дону «среди политиканствующего привилегированного офицерства... шли разговоры о “демократизме” Корнилова» в противоположность (к моему большому удивлению. — П.М.) «монархизму» Алексеева.

Деникин «глубоко убежден, что техническая удача выступления в корне изменила бы политическую оценку корниловского движения». И к числу самых горьких чувств, испытанных им и его героем, относится разочарование, что Корнилова не поддержала «либеральная демократия», в частности, партия народной свободы. Так как из противоположного лагеря — Керенского, напротив, слышится, что «кадеты» составляли заговор с Корниловым, то я позволю себе несколько остановиться на данных, сообщаемых по этому поводу Деникиным в дополнение к тому, что рассказано в моей «Истории».

В частности, мне лично не приходится жаловаться на сообщения и заключения Деникина. Меня касаются два следующих места его «Очерков». В заседании либеральных и консервативных общественных деятелей в Москве по поводу сообщений приехавшего из ставки капитана Роженко (перед самым приездом Корнилова на Московское совещание) «П.Н. Милоков от лица общественных деятелей кадетского направления сделал заявление о том, что они сердечно сочувствуют намерениям ставки остановить разруху и разогнать совдеп. Но настроение общественных масс таково, что они никакой помощи оказать не могут. Массы будут против них, если они активно выступят против правительства и совдепа. Поэтому на Милокова и его единомышленников рассчитывать нельзя». Я не знаю, чье свидетельство здесь приводится, и не могу восстановить своих подлинных слов. Но что общий смысл их был именно такой, доказывается для меня тем обстоятельством, что через несколько дней я повторил аналогичные соображения самому Корнилову во время нашего свидания в его вагоне, о котором я упоминаю в «Истории» (стр. 102, 173, 174). Я очень хорошо помню, что в этом смысле на меня подействовал обмен мнений с партийными единомышленниками, собравшими-

ся в Москве, которые очень решительно высказались за поддержку Керенского. Сам я склонен был закончить свою речь в Московском совещании¹ выражением недоверия Керенскому, но, принимая во внимание настроение провинциальных отделов партии — и тот факт, что партийные товарищи были членами этого правительства, — я закончил выражением условного доверия. Корнилова я предупредил, что разрывать с Керенским нельзя (напомню, что в Москве шла речь о возможной отставке Корнилова и о его предположении — не подчиниться в этом случае решению правительства). Кроме того, я предупредил Корнилова и о том, что либеральная демократия не сможет поддержать его, если борьба с Керенским примет тот вид, о котором много говорилось тогда среди петроградского офицерства. Я, наконец, предостерег Корнилова относительно личности Аладьина, ожидавшего приема после меня. Больше я ничего сделать не мог, так как Корнилов не сообщал мне подробностей своих планов. «Сочувствие, но не содействие» — так формулирует Деникин отношение данной части общественности. Но, по его же показанию, единственная форма «содействия», которой требовал Корнилов от к[онституционных] д[емократов] через кн. Г.Н. Трубецкого, заключалась в том, чтобы «ни один кадет не входил в состав правительства». Это требование было фактически исполнено к.д. членами правительства — уже потому, что ни один к.д. не мог бы взять на себя ответственности за произвольные действия Керенского, явно губительные для страны и для него самого. Обстоятельства, при которых министры к.д. вышли в отставку, были созданы самим Керенским и рассказаны в моей «Истории» (стр. 219). Как-то на Дону я рассказал об этом Корнилову и был очень доволен выслушать от него, что его огорчение по поводу поведения общественных деятелей не распространяется на данную группу. То же самое я нашел и в книге Деникина (стр. 63). «Милюков, быть может, еще два, три видных деятеля упорно и настойчиво поддерживали в Петрограде необходимость примирения с Корниловым и коренной реорганизации временного правительства (Деникин знает, вероятно, от самого ген. Алексеева о моих переговорах с ним относительно премьерства; см.: «История», стр. 251–254). Кадетская группа в правительстве героически и беспомощно боролась за то же в самой среде его».

Я остановился на этой стороне «Очерков» ввиду того, что г. А. К. в «Днях»² до сих пор продолжает защищать позицию Керенского и считает его обвинения доказанными книгой Деникина. На мой

¹ Речь идет о Московском совещании общественных деятелей, проходившем 8–10 августа 1917 г., в котором принимали участие крупные промышленные финансисты и члены партии кадетов.

² «Дни» — газета, выходившая в русской эмиграции в 1922–1928 гг.

взгляд, при всей объективности формы, суждения ген. Деникина о роли Керенского в Корниловской истории гораздо суровее, чем мое собственное.

Еще одно маленькое замечание. Ген. Деникин неоднократно цитирует письмо ген. Алексеева ко мне с просьбой обратиться за денежной поддержкой для Быховцев к крупной буржуазии. Обращение — на этот раз — было совершенно не по адресу, если бы даже оно дошло до меня вовремя. Гораздо позднее я узнал факты — или слухи — о поддержке денежной буржуазией антибольшевистского движения. Из книги Деникина явствует, что до Корнилова эта помощь, во всяком случае, не дошла, а обращение Алексеева именно ко мне показывает, какое смутное представление существовало в этом военном центре относительно того, что делалось за его пределами.

Переходя к Донскому периоду существования добровольческой армии, отметим, что уже в виде вступления к нему Деникин упоминает о письмах Каледина в Быхов, «дышавших глубоким пессимизмом и предостерегавших от иллюзий». «Стихия действительно бушевала, — так кончает он свое повествование о Быхове, — но стихия, всецело враждебная Корниловскому движению. В его орбите оставалось только неорганизованное офицерство и значительная масса интеллигенции и обывательщины, распыленная, захлестываемая, могущая дать искреннее сочувствие, но не силы, нужные для борьбы».

Выгнанные из Быховского заключения только приездом Крыленко в ставку, Быховские узники получили возможность на широком просторе между Днепром и Азовским морем проверить правильность этого диагноза. «Ах, бояре, что мы можем делать, когда вся Россия — большевик», говорят текинцы своим офицерам на седьмой день мучительного продиранья сквозь эту оболшевиченную Россию. И самого Деникина «несколько дней путешествия в забитых до одури и головокружения человеческими телами вагонах, на площадках и тормозах, простаивание по многу часов на узловых станциях ввели в самую гущу революционного народа и солдатской толпы»... Он «увидел яснее подлинную жизнь и ужаснулся». В Новочеркасске первое впечатление — одинокий, осунувшийся Каледин, «с бесконечно усталыми глазами» и его мрачные речи. «Власти нет, силы нет, казачество заболело, как и вся Россия». «Никакого просвета, никаких перспектив»...

II

Во второй части второго тома «Очерков Русской Смуты» Деникин переходит к изложению истории добровольческой армии. Из историка он становится мемуаристом, — но мемуаристом, который стремится сохранить объективность историка. С ноября

1917 до 10 февраля 1918 — дня ухода армии в донские и кубанские степи — мне лично пришлось быть близким свидетелем жизни армии, и я могу засвидетельствовать, что обязанность историка выполнена ген. Деникиным с щепетильной добросовестностью. Располагая свет и тени на своей картине, он отдает теням — ретроспективно — даже больше внимания, чем мы это делали в те первые недели и месяцы общего увлечения. Изолированность кучки добровольцев от окружающего населения горько ощущалась уже и тогда, когда на все призывы войти в ее ряды откликнулась лишь зеленая молодежь средней буржуазии. Но вот вывод, который подсказан тяжелыми последствиями этого факта, развернувшимися на протяжении годов.

«Отозвались», говорит Деникин, «офицеры, юнкера, учащаяся молодежь и очень, очень мало прочих “городских и земских” русских людей». «Всенародного ополчения» не вышло. В силу создавшихся условий комплектования армия в самом зародыше своем таила глубокий органический недостаток, приобретая характер *классовый*. Нет нужды, что руководители ее вышли из народа, что офицерство в массе своей было демократично, что все движение было чуждо социальных элементов борьбы, что официальный символ веры армии носил все признаки государственности, демократичности и доброжелательства к местным областным образованиям... Печать классового отбора легла на армию прочно и давала повод недоброжелателям возбуждать против нее в народной массе недоверие и опасения и противопологать ее цели народным интересам».

Точно так же мы не сразу тогда отметили психологические последствия жестокой обстановки гражданской войны, которые тогда уже начинали сказываться. Деникин не скрывает, как «среди кровавого тумана калечились души молодых, жизнерадостных и чистых сердцем юношей». «В нашу своеобразную запорожскую сечь шли все, — говорит он, — шли и хорошие, и плохие. Но четыре года войны и кошмар революции не прошли бесследно. Они обнажили людей от внешних культурных покровов и довели до высокого напряжения все их сильные и все их низменные стороны... Был подвиг, была и грязь. Героизм и жестокость. Сострадание и ненависть. Социальная терпимость и инстинкт классово-розовой розни». Деникин не говорил бы этого, если бы не мог сказать, что общий итог все же был положительный. «История отметит тот важный для познания русской народной души факт, как на почве кровавых извращений революции, обывательской тины и интеллигентского морализма могло вырасти такое положительное явление, как добровольчество, при всех его теневых сторонах сохранившее героический образ и национальную идею».

Деникин не скрывает и печального факта острой вражды между двумя главными руководителями армии, Корниловым и Алексеевым. Гражданские люди, как я, стояли в этой борьбе всецело на стороне Алексева. Одно время серьезно обсуждался проект — разделить обоих, предоставив Корнилову осуществить его желание — уйти в Царицын. Его место в этом случае занял бы сразу Деникин. Быть может, не случилось бы многих героических эпизодов «Ледяного похода»¹, но зато не было бы и страшных жертв Корниловской спартанской тактики. Уцелели бы лучшие, наиболее самоотверженные элементы армии. Военные люди, в большинстве, конечно, смотрели на дело иначе. Слова Деникина: «в Корнилова верят, а вера творит чудеса» — выражают то настроение, которое явилось решающим. И армия, не имевшая возможности остаться в окруженном красными полчищами Ростове, пошла за Корниловым на страдания и смерть, в поход, который казался безумным и бесцельным. Единственной разумной самоцелью похода было — сохранить самую армию в непрерывном движении, если неподвижность была для нее верной гибелью. До издания книги Деникина мы не имели общего и авторитетного описания этого памятного похода. Памфлет А. Суворина, человека из обоза, конечно, в счет идти не может. Красочное описание Гуля, интересные наблюдения в недавно вышедшей книге голландца Грондейса рисуют эпизоды, повседневную жизнь армии в походе, — правда, жизнь, подчас недоступную наблюдению вождей. Но в них нет основного стержня, нет того главного, что связывает эпизоды в одно целое: руководящей мысли и воли, направлявшей видную со стороны цепь внешних фактов. Эту основную нить дает, наконец, описание Деникина.

«Мы начинали поход в условиях необычайных», — говорит Деникин. — «Кучка людей, затерянных в широкой донской степи, посреди бушующего моря, затопившего родную землю; среди них два верховных главнокомандующих русской армией, главнокомандующий фронтом, начальники высоких штабов, корпусные командиры, старые полковники... С винтовкой, с вещевым мешком через плечо, заключающим скудные пожитки, шли они в длинной колонне, утопая в глубоком снегу... Уходили от темной ночи и духовного рабства в безвестные скитания... За синей птицей». В другом месте Деникин приводит строки из письма Алексева: «Мы уходим в степи. Можем вернуться только, если будет милость Божья. Но нужно зажечь светоч, чтобы была хоть одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы»... «Не стоит подходить, — заключает Деникин, — с холодной

¹ Поход Добровольческой армии на Кубань с 9 февраля по 30 апреля 1918 г.

аргументацией политики и стратегии к тому явлению, в котором все — в области духа и творимого подвига».

Однако в армии главнокомандующих, корпусных командиров и полковников стратегия не могла отсутствовать. Иные даже находили, что стратегии здесь было слишком много и что вожди играли в серьезную войну, когда нужно было усвоить приемы партизанства. Книга Деникина дает ответ на этот упрек. Выбор между «стратегией» и партизанщиной пришлось сделать с самого начала. Партизаны звали армию в донские зимовники — и к этому склонилось было решение Корнилова. Деникин приводит письменный протест Алексеева против этого решения с указанием на невозможность держаться и продовольствоваться в зимовниках и с подчеркиванием, что «пребывание в степи поставит нас в стороне от общего хода событий в России». Военный совет в ст. Ольгинской решил идти на Кубань. Корнилов приказал идти в зимовники. Через неделю пришли «дополнительные сведения» о районе зимовников, и Корнилов принужден был уступить.

Пока армия шла по Донской области, сопротивления не было. Казачье население ограничивалось объявлением «нейтралитета». Но, перейдя после Егорлыцкой в Ставропольскую губернию, добровольцы «попали в сплошное осиное гнездо». У с. Лежанки было встречено первое серьезное сопротивление большевиков — и произведена первая суровая расправа с ними. Деникин ограничивается тут словами: «...долго еще безмолвие нарушает сухой треск ружейных выстрелов»: «ликвидируют большевиков... много их». И тут же он отмечает последствие: враждебное отношение населения к «кадетам». Правда, описав это отношение словами меньшевика Попова, он находит его описание «преувеличенным». Настроение крестьян, по его мнению, было просто «беспочвенным и сумбурным». Действительно, отношение населения к добровольческой армии только еще начинало определяться. Но мы знаем из других описаний, что именно поэтому расправы в Лежанке произвели решающее впечатление. Грондейс в своей чрезвычайно интересной книге (*La guerre en Russie et en Sibirie*)* говорит: «В погребах нашли большое количество большевиков: 200 было расстреляно. Офицерская гвардейская рота расстреляла 50 человек в маленькой ограде, чехи — 35». И он передает свой разговор на другой день с Корниловым по этому поводу: «Я должен был показать пример. Армия, подобная нашей, должна заставлять себя бояться, иначе она погибла... Я предупредил деревню через нейтральных казаков, чтобы нас пропустили.

* Война в России и Сибири (фр.).

Старики заявили, что война корниловцев с красновардейцами их не касается. Но молодежь говорила: значит, Корнилов слаб, если он обращается к нам с предложениями: стало быть, надо напасть на него. Так как это мнение перевесило, то я должен был прибегнуть к репрессиям». Гуль в своей книге о «Ледяном походе» подтверждает это заявление Корнилова и описывает раздирающие сцены «расправы». Он рассказывает и о смущении расстреливавших, и о толках местных жителей: «что народу-то побили... невинных-то сколько». «Если так будем, на нас все восстанут», бормочет его сосед, кадровый капитан. И на обратном пути через Лежанку возвращавшаяся армия еще застаёт следы впечатлений, произведенных этими расстрелами: «Чего бегут-то... Боятся, вот и бегут».

При переходе в Кубанскую область надежды найти хороший прием со стороны населения и подкормиться возродились. Первые впечатления соответствовали этим ожиданиям. Но затем повторяется то же, что и раньше. Из «колеблющегося» настроение населения переходит в отрицательное. «Маятник колеблющегося настроения чуть качнулся влево» у Березанской — «иногородние и фронтовики одержали верх на станичном сборе». Дальше пошло еще хуже. «Кубанский военно-революционный комитет и “главнокомандующий войсками Сев. Кавказа” Автономов сумели собрать вокруг себя значительные силы Красной армии (по преимуществу эшелоны бывшей Кавказской армии)». От Грондейса мы узнаем, что в это время красные нашли потерянный адъютантом Алексеева на поле сражения полный список составных единиц добровольческой армии — и были изумлены и ободрены ее малочисленностью. Положение добровольцев становится с этих пор все труднее. Начинается ряд серьезных боев. Под Кореновской «против нас был уже не тыл, а фронт екатеринодарской группы большевиков». «Кроме превосходства сил, мы встретили у противника неожиданно — управление, стойкость и даже некоторый подъем... Среди офицеров разговор: ну и дерутся же сегодня большевики... Ничего удивительного: ведь русские... Разговор оборвался». В результате «маленькая армия потеряла до 400 человек убитыми и ранеными». К довершению несчастья подтвердилось известие, что формальная цель всего движения, Екатеринодар, в котором держалась армия Покровского, взят большевиками.

Деникин считал в этот момент «необходимым продолжать выполнение раз поставленной задачи, тем более что армия давно уже находилась в положении стратегического окружения и выход из него определялся не столько тем или иным направлением, сколько разгромом главных сил противника». Корнилов, однако, распорядился свернуть с прямой дороги и пойти в обход Екатеринодара на юго-

восток, за Кубань. Мотив распоряжения: «большая убыль и крайнее утомление физическое и особенно моральное», а с другой стороны, расчет отдохнуть в горных станицах и черкесских аулах за Кубанью. «Мы не знали тогда, — замечает Деникин, — что за Кубанью армия попадет в сплошной большевистский район и долго еще будет вести непрерывные тяжелые бои изо дня в день». Разведки никакой не было, и армия двигалась в полной темноте, вслепую.

Рассказ Деникина о последующих операциях, вплоть до смерти Корнилова, полон захватывающего драматизма. В обстановке все усиливающихся трудностей, растущих потерь убитыми и страданий живых, граната, поразившая Корнилова, кажется — и самому Деникину — какой-то неизбежной развязкой, без которой всей армии грозила полная гибель. «Наш маневр отличался смелостью почти безрассудной» — так начинается эта часть рассказа. В обозе «до 500 раненых и больных, и число их к концу похода превышало полторы тысячи». «Спасаться некуда: впереди бой, сзади бой, справа и слева маячат неприятельские разезды». После перехода за Кубань — еще хуже. «Перешедшие войска сразу же попали в сплошное большевистское окружение. Каждый хутор, каждая роща, отдельные строения оцетинились сотнями ружей... Каждая уклонившаяся в сторону команда или отбившаяся повозка встречала засаду и... пропала. Занятые с бою хутора оказывались пустынными: все живое население их куда-то исчезало, уводя скот, унося более ценный скарб»... Что осталось, поступало в распоряжение армии. «Голод, холод и рваные отрепья — плохие советчики, особенно если село брошено жителями на произвол судьбы». «Наконец, армия состояла не из одних пуритан и праведников. Та исключительная обстановка, в которой приходилось жить и бороться армии, неуловимость и потому возможная безнаказанность многих преступлений — давали широкий простор порочным, смущали морально неуравновешенных и доставляли нравственные мучения чистым».

Некоторая передышка дана была армии дружественным приемом в черкесских аулах, перед тем разгромленных большевиками. В эти же дни к ней присоединился отряд Покровского. С ним пришло кубанское правительство и члены рады¹. Решено было идти не в горы, а снова повернуть к Екатеринодару. Так определилась последняя, двухнедельная часть похода. Она оказалась самой трудной. Под дождем и липким снегом, при ледящем ветре, превращавшем мокрую одежду в ледяную кору, был совершен на глазах большевиков знаменитый

¹ Кубанская рада — правительство Кубанского казачьего войска, создано в апреле 1917 г., прекратило свое существование в 1920 г.

переход речки с ледяной водой у Новодмитриевской: переход, от которого весь поход получил свое название. «Раненые и больные весь день лежали в ледяной воде». В этой обстановке, после бесконечных споров, найдена была формула подчинения кубанского отряда Корнилову. Плохое начало для будущих отношений добровольческой армии к кубанским автономистам и самостийникам. После этого была окончательно решена атака Екатеринодара. «Были сомневающиеся, но не было несогласных, тем более что армия до этих дней не знала неудачи и выполняла, несмотря на невероятные трудности, всякий маневр, который ей указывал главнокомандующий».

На этот раз, однако, операция оказалась неосуществимой. Уже переправа через Кубань, весьма удачно выполненная, поставила армию в чрезвычайно рискованное положение и грозила ей гибелью в случае неудачи боя и необходимости отхода. Деникин подробно описывает, как сложились условия этой неудачи. Указывая на одно решение, в котором «многие потом видели причину рокового исхода», он замечает: «На войне принимаются не раз решения как будто безрассудные и просто рискованные... Успех в этом случае создает полководцу ореол прозорливости и гениальности, неудача обнажает одну только отрицательную сторону решения. Корнилов рискнул и... ушел из жизни... Рок опустил внезапно занавес, и никто не узнает, каким был бы эпилог».

Собственное описание Корнилова, однако, показывает, что этим эпилогом было бы полное уничтожение армии. Самому Корнилову в последний день жизни это стало бесповоротно ясно. Решив, вопреки общему мнению военного совета, впервые им собранного после упомянутого совещания в Ольгинской, штурмовать Екатеринодар, он сказал Деникину, что в случае неудачи штурма ему «останется пустить себе пулю в лоб». — А что будет с армией? — «Вы выведете». Деникин передает свой ответ. «Ваше высокопревосходительство, если ген. Корнилов покончит с собой, то никто не выведет армии — она вся погибла». «Мы все можем при этом погибнуть», — продолжал Корнилов этот разговор в тот же вечер с Казановичем. — «Но по моему лучше погибнуть с честью. Отступление теперь тоже равносильно гибели: без снарядов и патронов это будет медленная агония». Рано утром следующего дня Корнилов был убит...

Но армия была спасена. В первые минуты все думали: «конец всему». «Корабль как будто шел ко дну, и в моральных низах армии уже говорили зловещим шепотом о том, как его покинуть». Принявший командование Деникин предложил — зачеркнуть все сделанное, «с закатом снять осаду Екатеринодара и быстрым маршем вывести армию из-под удара екатеринодарской группы большевистских войск». Предложение было принято — и осуществлено. Период веры в «чудо»

этим закончился. Или, если угодно, произошло еще только одно чудо. Возвращение добровольческой армии совпало с восстанием донских станиц против власти большевиков.

Из своего похода добровольческая армия вынесла, однако, некоторые традиции. Не буду говорить о них здесь, так как пункт этот требует более подробного разбора. Когда-нибудь к нему придется вернуться.

Последние новости. 1923, 14, 28 января

РОССИЯ И ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ **(доклад в первом публичном заседании** **Республиканско-демократического клуба в Праге,** **5 июня 1923 г.)***

I

Мм. Гг.

Позвольте мне начать этот доклад с выражения удовольствия, что мне приходится произносить эту свободную политическую речь в свободной братской республике, созданной усилиями политиков, направление которых близко к моему собственному. Позвольте также выразить то чувство благодарности, которое испытывают все русские, без различия направлений, за ту исключительную заботу, которую проявили чехи по отношению к нам в дни тяжелых испытаний, переживаемых Россией.

Мы не раз ошибались, предсказывая скорый конец этих испытаний. Ошибка извинительная, так как ошибались и сами большевики, мечтавшие вначале только о том, чтобы побить рекорд длительности Парижской коммуны 1871 года². Но была ли это ошибка вообще? Да, конечно, прогнозы наши оказались неверны. Но наш диагноз болезни был правилен. Пусть смерть еще не наступила. Все-таки болезнь смертельна. И конечный ее исход — неизбежен.

* Ввиду того, что пражский доклад П.Н. Милокова сделался предметом оживленного обсуждения в печати — в том числе и красной, причем мнения, высказанные докладчиком, цитируются не всегда правильно, печатаем текст доклада, составленный докладчиком на основании подробного конспекта. (*Примеч. ред.*)

² Парижская коммуна 1871 г. — революционное правительство, утвердившееся в результате восстания с 18 по 28 марта 1871 г.

В чем состоит эта болезнь? Оставим в стороне все осложняющие симптомы. Не будем говорить о режиме господства посредством партии, могущей держаться только террором. Не будем строить расчетов на растущем недовольстве этим режимом всего населения. В двух словах, корень смертельной болезни большевизма состоит в создании системы, при которой потребление не основывается на производстве и которая живет съеданием запасов, накопленных русским прошлым. Пусть мы ошиблись в расчете того, как много в России этого основного капитала и сколько накоплено запасов. Мы не ошиблись в том, что запасы все-таки ограничены.

Пусть и сейчас — драгоценных камней, ковров, мехов, картин найдется в России достаточно, чтобы просодержать еще несколько времени сведенный к минимуму аппарат власти, включая и гипертрофированный аппарат внешней пропаганды мировой революции. Но в процессе расхищения основного капитала страны подорван самый фундамент народного хозяйства, — и нормальное кровообращение хозяйственного организма страны приостановилось. Земля не производит зерна — не только на продажу, но и для нужд самого производителя, — и голод стал в России хроническим. Голод — не от стихийных бедствий, а от полной потери хозяйственного инвентаря, от уменьшения запашки, от ухудшения семян, от сорной травы, от полевых мышей, размножившихся на запущенной пашне. Вымирание населения — от нарушения равновесия между количеством населения в стране и количеством пищи, которое может в ней производиться. Промышленность, — та промышленность, наличие которой создавала нормальное отношение между городом и деревней, — еще более разрушена, чем земледелие. Фабрики не производят товаров, а то немногое, что они производят, — некому покупать. Несмотря на казенные субсидии, — не окупающиеся производством, — и сохранившиеся промышленные заведения «свертываются» одно за другим. Нет хлеба и товаров: нет нормального обмена в стране, — и деньги потеряли значение меновых знаков. Правительство вливает в умирающий организм бумажные потоки, — как вливают соляной раствор вместо крови, — но это не помогает, — и мы присутствуем при катастрофическом и непрерывном падении валюты, побивающем все рекорды Великой французской революции. На развалинах народного хозяйства невозможна никакая финансовая политика. Налоги не поступают, бумажки сыплются без толка и счета в ненасытную пасть казенной индустрии, и только хлеб, взимаемый с возрастающими трудностями с голодающего населения, кое-как еще кормит все уменьшающуюся в числе армию солдат и армию чиновников.

Может ли власть существовать при таком положении? Фактически власть не уходит. Она, говорят нам приезжие из России, прочна,

ибо нет силы, которая могла бы свалить ее изнутри России. Власть остается, но она не остается той же. Внутренний процесс идет, и власть перерождается. Она перерождается не тем, что «эволюционирует». Хотя эволюция большевистской власти есть факт, не подлежащий спору, но этой эволюции положен предел — самосохранением власти. И власть уже стоит у этого предела. Нет, власть большевиков перерождается иначе, — сжимаясь и атрофируясь. Персидский царь Дарий усовершенствовал дороги древней Персии, потому что он понимал, что без легких и скорых сообщений деспотическая власть в обширной стране держаться не может. А в России с каждым месяцем разрушаются средства транспорта, свойственные XX веку, и сообщения становятся труднее, чем в древней Персии. Когда-то граф Коковцов сказал, что в России за пятьдесят верст кончается политика. Теперь меньше чем за пятьдесят верст кончается советская «диктатура». Щупальца этой власти протягиваются дальше в страну с большим трудом, и не поможет в этом отношении никакое создание института секретарей уездных исполкомов, которым теперь заняты большевики. Деревня уже освободилась от советской власти: вот факт, подтверждаемый всеми. Когда в текущем году проводился план — обложить крестьян новыми тяжелыми налогами, — он встретил со стороны «спецов» основное возражение: в деревне нет аппарата для взимания этих налогов.

В качестве последнего ресурса большевики просились занимать деньги за границей. Они готовы были для этого случая притвориться агнцами, отложить свою мировую революцию, наобещать концессий, даже издать кодексы законов и признать собственность. За все это они просили три миллиарда на «экономическое восстановление» России. Сумма не была преувеличена: она даже была сокращена вдвое против требований ведомств. Но, помимо того, что таких денег не было на европейском рынке даже для самих себя, никто больше не верил, что эти деньги пойдут на восстановление России, а не на укрепление советской власти и на поддержание ее пропаганды.

Нужда в России, конечно, осталась. Но потеряна вера, что большевистская Россия может удовлетворить эту нужду. Оставался страх перед большевиками. Но и этот страх проходил, а вместе проходит и охота к уступкам. Стало уже слишком ясно, что к *этой* России условия нормального международного общения неприложимы. Результаты — налицо. Большевики, за которыми еще в прошлом году так усердно ухаживали, стали терпеть в международной политике поражение за поражением. В Генуе¹ с ними любезничал король и обме-

¹ Международная конференция в Генуе по экономическим вопросам, проходившая с 10 апреля по 19 мая 1922 г.

нивался приветствиями епископ. В Гааге¹ их блеф был безжалостно разоблачен европейскими экспертами, перед которыми не устоял ни Сокольниковский бюджет, ни декрет о собственности. Большевиков не побоялись отпустить с пустыми руками. В Лозанну² их позвали уже только для одного вопроса, слишком жизненного для России, — и решили этот вопрос против России, не опасаясь потерять большевистскую подпись, которые те все еще жаждали поставить. Во вторую сессию Лозанны их просто не позвали, и Воровский собирался уехать, когда был убит. В довершение всего оскорбительная нота Керзона прибавила к поражению еще и унижение. И эту чашу большевикам пришлось испить до дна. Еще так недавно они кричали, что Красная армия разгромит Европу. А теперь Троцкий, Чичерин, Зиновьев, Бухарин в один голос вопят: Россия хочет мира, ради мира она готова нести все жертвы. И последовала полная капитуляция перед Керзоном, которую красная печать тщетно пытается изобразить как новую большевистскую победу.

Дело-де в том, что конъюнктура сложилась неблагоприятно. Под этим они разумеют мировую буржуазную реакцию. Но они не говорят о другой *внутренней* причине, которая не позволяет им рисковать вооруженным столкновением с Европой. Пример самодержавия научил большевиков, что власть, которая дискредитирована в стране, не может вести войны, не рискуя самым своим существованием. Вот основной секрет внезапного пацифизма большевиков.

Какой же исход? Может быть, такую власть, против которой нет сил внутри, можно взять голыми руками извне? Действительно, на наших глазах, в прямой связи с внутренним ослаблением и вырождением советской власти возрождается идея внешнего вмешательства — идея интервенции, которую мы считали уже мертвой. Всего несколько недель тому назад слухи опять поползли со всех сторон: из Берлина, из Белграда, из Финляндии и Польши. Через три-четыре месяца — мобилизация. Офицеров спрашивают, знают ли они польски. Студентам говорят: довольно учиться, готовьтесь...

Соблазнительные слухи!.. Ибо кто же не хочет скорейшего освобождения России и свержения коммунистического правительства? Кто не понимает, что не одни большевики, а и вся Россия гибнет вместе с ними с каждым днем и что ждать больше нельзя? Но, увы, — у нас слишком короткая память. Мы слишком скоро забываем о том, что было еще так недавно. Нам нужно напоминать историю интервенции.

¹ Гаагская конференция 1922 г. — международная финансово-экономическая конференция в Гааге во время Генуэзской конференции.

² Международная конференция (20 ноября 1922 — 24 июля 1923) по вопросам Ближнего Востока.

Когда она начиналась, в 1918 г., мы все были на ее стороне: левые еще определеннее, чем правые. Но тогда это не была «интервенция». Это была союзная помощь в борьбе «лояльной» России против германских агентов. И я лично тогда — в конце 1917 г. — писал письмо теперешнему президенту Чехословацкой республики, прося о помощи чехов. Через меня начались в Ростове и Новочеркасске переговоры, — тогда совершенно бесплодные, — с местными представителями Англии и Америки. И через год я был послан, в конце декабря 1918 г., — вместе с пятью другими делегатами всех русских политических партий, в Константинополь, Париж и Лондон — просить немедленной посылки союзных войск на юг России, как полагалось по договору о перемирии с Германией.

Вы все знаете результаты. Чехословаки сделали, что могли. И первые разочаровались. Помощь больших держав опоздала — и всегда оставалась недостаточной. Если бы *тогда*, — когда ни Красной армии, ни советского аппарата управления еще не существовало, — эта помощь была бы достаточной, то мы не разговаривали бы здесь и Россия не пережила бы этого пятилетнего процесса разрушения.

Но что же говорить о том, чего не было! С тех пор многое произошло, что сделало интервенцию — и неприемлемой, и бесцельной. Укрепилась власть насильников в покоренной ими стране. Выяснилась эгоистическая подоплека политики некоторых держав, закрепивших начатое большевиками расчленение России на части. Выяснились реставрационные стремления самих русских освободителей извне. Но главное, что выяснилось, — и что перевесило все остальное, — это совершенно определенное нежелание самих народных масс принять освобождение из рук тех, кто при этом хотел вернуть Россию к старому политическому и социальному строю.

Для меня — и для каждого демократа — это последнее обстоятельство должно было быть решающим. Меня обвиняли, что я изменил армии, что я оскорбил армию и т.п. Я отбрасываю с негодованием эти обвинения моих политических врагов. Я достаточно государственный, чтобы понимать национальное значение армии, — и достаточно близко стоял к так наз. «белой армии», чтобы ценить ее заслуги и преклоняться перед ее самоотвержением. Но я — демократ: и мало-помалу — не сразу — я понял, почему народ не хочет быть освобожден...

II

Границу республиканско-демократических настроений справа провести нетрудно. Она проходит там, где начинаются явные или скрытые монархические устремления. Никто не занимался политической статистикой эмиграции, но можно признать, что по самому

своему происхождению большинство этой эмиграции монархично. И республиканско-демократические группы сделали бы большую ошибку, если бы стали в эмиграции добиваться численного перевеса. Их заслугой можно считать уже то, что с появлением республиканско-демократических организаций монархическим настроениям пришлось тоже принять осязательную форму. Из определенной массы беженцев выделились определенно монархические организации, и нейтральный флаг, маскировавший прежде монархизм, был поневоле отброшен. Естественно, раньше других выделились и — полуконспиративно — организовались наиболее непримиримые. При этом и оказалось, что это — все те же старые знакомые: те же самые, которые в течение десяти лет перед революцией боролись против Государственной Думы, готовили переворот справа — и сделали неизбежным переворот слева. Они только сменили Дубровина на Винберга и убили — после Герценштейна — Набокова. И мировоззрение их осталось старым: для них по-прежнему и конституция, и революция есть продукт «жидомасонского» заговора. Даже тот же самый незатейливый подлог Нилуса служит им по-прежнему катехизисом. Их конспиративная организация лишь слегка прикрывается флагом фашизма или «национального мышления». Открыто функционирует другая разновидность монархизма: сторонники разных «блюстителей престола», ныне перебирающиеся из Берлина, Мюнхена, Венгрии в Париж. Здесь даже Марков II заговорил языком умеренности. Они-де «не будут мстить», не потребуют назад земли, готовы прислушиваться к «внутреннему процессу» и даже не прочь признать в «советах» — древнерусское учреждение мира. Но кто поверит Маркову второму? Не очень верят им — и немножко брезгают — даже и кандидаты в «блюстители».

Отсюда является необходимость «зашифроваться». Единомышленники по Рейхенгаллю¹ уже выделили из себя группу «конституционных монархистов». Попытка вышла слишком прозрачная, и публицистика этих «конституционалистов», вероятно, сделает многих честных монархистов республиканцами. Тогда предпринята была вторая попытка: зашифровать монархический флаг «национальным». Это было бы совсем прилично — и, быть может, даже удовлетворило бы претендентов, — если бы было возможно. Но, увы, эта идея тоже уже испробована и испорчена и Врангелевским², и Бурцевским³ ко-

¹ Рейхенгалль — город в Баварии, где в 1921 г. прошел съезд правомонархической эмиграции.

² Комитет содействия горцам и терским казакам по их освобождению от большевиков.

³ Съезд Русского национального объединения (сокращенно — Национальный съезд) заседал в Париже 5–12 июня 1921 г. Подготовка съезда осуществлялась В.Л. Бурцевым.

митетами. И там, и тут были привлечены к «единому национальному фронту» и свои собственные кадеты, и свои собственные социалисты. Если тогда, в 1921 году, эта затея симулировать общий фронт не удалась, когда свежо еще было Врангелевское верховное командование, то теперь, в 1923 году, повторить попытку создания национального комитета уже безусловно невозможно. Наивный проект заменить политические организации в этом союзе «бытовыми» слишком уж шит белыми нитками. Продуктом полного отчаяния является третья идея: предложить республиканцам «прогрессивный блок» с конституционными монархистами. Это предложение — честное; но, во-первых, нет конституционалистов, не связанных с Рейхенгаллем и с претендентами, а, во-вторых, самое имя «прогрессивного блока» напоминает о другой исторической эпохе, с существенно иными политическими заданиями. Нельзя забыть, что в промежутке прошла революция.

Нет, русский монархизм сам себе отрезал возвращение вспять. Он слишком рано «расшифровался». Он роковым образом связан с определенной тактикой — интервенции и с определенной целью — реставрации. А больше всего он связан своим персональным составом — выходцев с того света, из старой России. Промежуточных звеньев между ним и республиканской демократией быть не может.

Перейду теперь прямо к противоположному, левому флангу. Наше отношение к большевизму и к его проекции за границей — «сменовеховству»¹, столь неудачно исполняющему свою миссию «разлагать эмиграцию», ясно. Оно отрицательное и боевое. Но далее, в порядке от края к центру, идет социологизм. Тут граница — гораздо менее ясная, и на ней надо остановиться подробнее.

Здесь не место разбирать идеологическое отношение социализма к большевизму. Для нашей практической задачи нам нужно отметить, что и самый социализм мы не можем рассматривать как одно целое. А практическая трудность заключается тут в том, что социализм *не хочет перестать* быть одним целым. И границу с этой стороны нам приходится — с большим трудом — проводить уже самим.

Установить грубые вехи и здесь, конечно, нетрудно, — тем более, что он уже установился фактически. Мы не можем идти вместе с интернационалистами и с так называемыми «немедленными социа-

¹ Сменовеховство — идейно-политическое течение, возникшее в 1920-е гг. в русской эмиграции. Название происходит от сборника статей «Смена вех», изданного в 1921 г. в Праге, где были сформулированы основные идеи этого течения. Сменовеховцы выступали за примирение и сотрудничество с советской Россией, мотивируя свою позицию тем, что большевистская власть уже «переродилась» и действует в национальных интересах России.

листами». Мы, с другой стороны, прекрасно работаем вместе с так называемыми «демократическими» социалистами, признающими осуществление демократического строя, политического и социального, — очередной задачей политики. Но между этими двумя гранями, отделяющими несомненных попутчиков от несомненных противников, есть промежуточная зона, в которой провести окончательное разграничение много труднее. Для одних из признающих демократический строй — сама практика демократических учреждений есть единственный способ идти к социализму. Для других — демократические учреждения есть буржуазный тупик, препятствие на пути к социализму и могут быть признаны и использованы только как более удобное средство борьбы, чем учреждения недемократические. Я выразился бы, что последние, не будучи «немедленными» социалистами, являются сторонниками «немедленной» борьбы за социализм, борьбы, а не сотрудничества по укреплению демократического строя.

Неопределенность граней, как уже сказано, усиливается единством партийной организации, сильно тормозящей развитие и дифференциации партийной мысли. Шелуха старой терминологии хранится здесь очень долго после того, как жизнь поставила новые требования тактики, а теория ушла далеко вперед от исходных точек.

Ознакомившись с обоими флангами эмиграции, мы можем спросить себя: что было бы, если бы при ликвидации большевизма судьба России оказалась в зависимости *только* от этих двух неподвижных позиций? Мы знаем, что население России в своей реакции против большевизма настроено и против социализма вообще, который оно часто не противопоставляет большевизму. Но точно так же, если не более, это население настроено против возвращения к старому порядку, — неизбежного при монархии. Большевизм, собственно, и поддерживался в значительной степени этим страхом. Чтобы найти выход, который облегчит ликвидацию советского наследства, совершенно необходимым является создание средней позиции, независимой от монархизма и социализма. Этим единственным, неизбежным исходом и является позиция республиканско-демократическая. Только она может устранить опасность реставрации, с одной стороны, и социалистического экспериментаторства — с другой.

Это и есть та позиция, с которой я выступаю здесь. За два года своего существования она собирает около себя все более последователей. Летом 1921 года это была одна только демократическая группа партии народной свободы. В 1921–1922 гг. она была сильно поддержана новыми, вольными или невольными пришельцами из России, впервые поразившими нас сообщениями, что ход нашей политической мысли не оторвался от хода русской действительности. С нынешнего, 1923 года ряд демократических группировок сложился или

складывается уже во всех главных группах эмиграции: в студенчестве, казачестве, офицерстве, профессуре. Мы, таким образом, теперь уже не одни, а окружены целым рядом аналогичных группировок. Естественно возникает вопрос об установлении между этими группировками взаимной связи.

Можно поставить вопрос: достаточно ли однородны эти новые объединения, чтобы допустить организационное сближение, и достаточно ли отчетливо они выделяются от позиций соседних, справа и слева?

Психологически — сдвиг справа и слева к центру, конечно, происходит постепенно, в ряде переходных оттенков. Но логически и политически — здесь нет промежуточных позиций. Конституционный монархизм без монарха, но со старыми привычками бюрократического и социального окружения, — есть позиция явно несостоятельная. Ею можно пользоваться только как «зашифровкой». Другая двусмысленная, промежуточная позиция — «ни монархия, ни республика» — годилась для белой армии, которая должна была быть аполитичной. Но она не годится для политической партии, группы, печатного органа, нормальная функция которых — защищать определенную политическую программу. С другой, левой, стороны мы тоже должны будем прийти к элиминированию промежуточных позиций. Партийный социализм эволюционирует слишком медленно, а жизнь не ждет и требует определенных ответов. Эти ответы должны быть даны.

Не в клубе, конечно. Клуб не есть политическая организация: это есть свободное объединение, место для обмена мнений. Ответы должно дать организованное объединение, союз демократических организаций, который явится результатом этого обмена мнений.

Что касается однородности политического настроения и мнений, выделившихся справа и слева центральных демократических организаций, она, как нам кажется, уже и в настоящее время довольно значительна. Ряд таких организаций уже выставил свои пункты платформы. Основное политическое содержание в них — одинаково. Я не могу здесь остановиться подробно на вопросах республиканско-демократической платформы. Но необходимо остановиться хотя бы на главных из них.

Коснусь, прежде всего, одного вопроса из области общей идеологии: вопроса о нашем отношении к «интернационализму» и «национализму». Боевым этот вопрос хотят сделать наши противники. Мы отделяем себя справа понятием республики. А нас хотят отделить с той стороны — понятием и чувством национального, которое будто бы нам чуждо. Мы-де, если не антинациональны, то, во всяком случае, анациональны. Одни при этом находят объяснение в том, что мы относимся к национальным вопросам и чувствам как интеллигентны-

космополиты. Другие, еще проще, прямо объявляют, что мы — не русские. С людьми, которые оперируют понятием «жидо-кадетов», вообще спорить не приходится. Напротив, с людьми, которые борются против старой интеллигентской идеологии, у нас спор очень давний и долгий. В двух словах мы согласны с их возражениями против старого интеллигентского максимализма. Но мы возражаем против нового — тоже максимализма и тоже интеллигентского. Впрочем, я не думаю здесь вновь поднимать этого спора. Скажу только, что можно быть национальным без мистики, без старого «вехизма» и без нового «евразийства».

Почему мы осторожны в употреблении этого слова: национальный? Да потому, что оно многозначно и что под ним слишком часто провозилась — и еще теперь провозится — политическая контрабанда.

Мы, конечно, не интернационалисты — в смысле идей классовой борьбы, возведенной в международный принцип, в смысле второго, третьего или какого угодно интернационализма. Но современная жизнь насыщена интернационализмом — в общепотребительном смысле. Мы дышим интернациональной атмосферой. Наука и техника, искусство, религия, промышленность и капитал — интернациональны. Интернациональна вся современная культура. Это не значит, конечно, что культура эта космополитична, лишена национальных начал. Дело идет лишь о гармоническом сочетании того и другого. Русское искусство как раз счастливо разрешило вопрос о связи национального с интернациональным; доказательство — то международное признание, то всемирное влияние, которое имеет русское творчество.

Национальное чувство не только не противоречит развитию национальной жизни, но, напротив, само является результатом и фактором этого развития. Но в процессе развития всегда и везде возникал протест против нововведений всякого рода во имя отживающих форм национального быта. Это нездоровое состояние национального чувства, которое цепляется за прошлое и мешает свободе живого национального творчества, которое противопоставляет себя мировой культуре как нечто исключительное, которое странно связывает закоренелость в прошлом с мессианством, — мы привыкли называть «национализмом». Мы, таким образом, различаем между национальным и националистическим, между патриотизмом и шовинизмом. Мы хотим быть патриотами без шовинизма и национальными без национализма в указанном узком смысле. Я подчеркиваю это, потому что в связи с возрождением национального чувства — явление, которое я приветствую, — слово «национализм» начинает употребляться в более широком смысле, которого оно не имело раньше и которого не следовало бы закреплять за ним теперь.

Есть еще неудобство в неосторожном употреблении этого слова. Термин «национализм» можно произвести и от слова «национальность», и от слова «нация». В стране, как Россия, это далеко не одно и то же. Мы все должны стремиться к созданию великой российской *нации*, — по необходимости многоплеменной, как многоплеменная швейцарская, американская нация. Национализм от «нации» есть наша надежда, цель наших стремлений. Но национализм от великорусской *национальности* противопоставляет себя национализмам украинской, еврейской, татарской и т.д. национальностей. В известных пределах все эти «национализмы» законны, но с их подчеркиванием вы никогда не дойдете до великого целого. И вы не можете поставить задачей великорусского национализма восстановление «колосса на глиняных ногах», каким была централизованная Российская империя. Освободите слово «национальный», «национализм» от этих политических двусмысленностей, от ассоциаций, связанных с ними старым режимом, — и возражения против их употребления в политической номенклатуре прекратятся.

Перехожу к важнейшим пунктам республиканско-демократической платформы. Наше отношение к республике, после всего сказанного, не нуждается в дальнейших объяснениях. Мы республиканцы не только потому, что республика есть лучшая форма для осуществления идеалов демократии. Мы республиканцы и потому, что монархия неразрывно связана с возвращением к тому старому порядку, против которого многие из нас боролись всю жизнь и от которого освободил нас февральский переворот. Мы республиканцы потому, что монархия может быть теперь восстановлена лишь путем нового государственного переворота, с которым не помирятся ставшие сознательными массы. Только обман и насилие над этими массами могут на короткое время восстановить монархию, — с перспективой новых переворотов в будущем. Такой ценой мы бы не хотели освободить Россию, — даже если бы могли. Но это непростительная иллюзия думать в 1923 г., как можно было думать в 1918 г., что Россия *может* быть освобождена путем вмешательства извне.

Далее, мы сторонники *федеративной* республики, потому что мы не видим другого пути к мирному восстановлению единого Российского государства и к последнему дружному сожительству народов в его пределах, кроме добровольного соглашения частей бывшей империи. Мы не хотим насильственного пути.

Та квазифедерация, которая сочинена советскими властями, не есть еще мирное решение вопроса. Те, кто хвалит советскую власть за восстановление единства, не понимают, что действиями этой власти дело единения не только не облегчено, а, напротив, усложнено и запутано.

Понятное дело, что не все части бывшей монархии в одинаковой мере нуждаются в политической самостоятельности. В этом отношении республиканская конституция г. Крамаржа, подводящая всех под одну мерку, едва ли стоит на правильном пути. Одним она дает слишком много, а другим слишком мало. Не следует гнаться за внешним однообразием, когда его нет в жизни. Конечно, проблема уравнивания громадного русского комплекса земель с федеративными мелкими единицами существует и в России, — и это очень серьезная и трудная проблема. Но пример новой республиканской Германии показывает, что эта проблема не неразрешима.

Не менее, чем постановка вопросов политического строя, важна в республиканской программе постановка экономических и социальных проблем. И этой стороны я могу коснуться, конечно, только в самых общих чертах.

Уже из моей характеристики основного зла русской жизни, основной причины экономического разорения России вы можете заключить, что лекарства я буду искать в переходе к системе прямо противоположной системе коммунизма, принципиально отрицающей ее основы. Ряд демократических организаций сходятся теперь в этом вопросе. Например, в «Крестьянской России»¹ я нахожу следующую программную постановку этого вопроса: «Энергическое содействие восстановлению буржуазно-экономических отношений в промышленности, торговле, кредите и других областях хозяйства». Большевики, изменив в этом отношении основным принципам марксизма, перевернули вверх ногами все законы политической экономии — не «буржуазной», а всяческой.

Надо теперь все поставить опять на ноги. Это до такой степени нужно и неотложно, что сами большевики вынуждены были положить начало. Но они не в состоянии быть последовательными и довести дело до конца, ибо это был бы их собственный конец. Ленин недаром говорил: законы политической экономии нас погубят.

Надо восстановить полное действие этих законов, восстановить свободу экономической деятельности. Эта «буржуазная» формула приемлема для «демократического» социализма, и мы не должны останавливаться перед тем, если утопический бланкистский социализм ее отвергнет. Мы не можем присоединиться и к упрекам, идущим с этой стороны, что большевики изменили социализму, вступив на буржуазную стезю.

Тут необходимо, однако же, сделать одну оговорку. «Военный социализм» — та крайняя степень государственного вмешательства в

¹ «Крестьянская Россия» — всесоюзная газета, издававшаяся ЦК ВКП(б) в 1923–1939 гг.

свободную экономическую деятельность, которая была вызвана необходимостью напряжения всех народных сил и средств для победы в войне, — теперь, естественно, вызывает против себя реакцию в пользу экономической свободы, и реакция эта принимает тоже крайние формы полного отрицания регулирующей роли государства. Но государство не может капитулировать, и в особенности в период восстановления народного хозяйства его содействие понадобится в очень значительной мере. Право государства регулировать хозяйственную жизнь страны вытекает из общего понятия об обязанностях современного демократического государства: разумеется, оно должно держаться в пределах, не стесняющих самостоятельности населения и здоровой хозяйственной инициативы.

Из социальных вопросов важнейшим — и по существу, и по той роли, которую в пореволюционной России будет играть крестьянство, — является вопрос аграрный. Он очень прост, поскольку речь идет об общей формуле: «Земли, перешедшие во время революции в фактическое обладание крестьян, не должны быть отобраны, а, напротив, должны быть юридически закреплены за ним в собственность». Но вопрос становится сложнее, когда переходим к мерам охраны крестьянского землевладения — к земельной политике государства. Такую политику в пореволюционной России может выработать только организованная крестьянская демократия. Государство лишь обязано принять предварительные меры против «разбазаривания» земли как товара.

Преимущественные заботы о восстановлении сельского хозяйства — основы народного хозяйства крестьянской России, не должны, конечно, отвлекать внимания государства от восстановления нормального соотношения между земледелием и промышленностью. Россия не должна стать колонией для иностранцев и местом обмена на сырье продуктов чужой индустрии. Старые споры о том, может ли Россия вступить в стадию капиталистического развития или же она осуждена навсегда остаться чисто земледельческой страной, не должны возобновляться в новой России.

Мне остается коснуться последнего, столь же важного, сколь и деликатного вопроса: когда и как может осуществиться обсуждаемая нами республиканско-демократическая программа. Конечно, осуществить ее можно только в России. И само собой напрашивается вопрос: значит, надо идти в Россию? Значит, и работа в эмиграции, и сама эмиграция бесполезны для России?

Тяга в Россию в последнее время, несомненно, растет. Она находит поддержку и в призывах новых эмигрантов — поневоле, — таких, как А.В. Пешехонов. Я не хочу возражать против этих призывов и

этой тяги во имя *непримиримости* по отношению к большевикам. Непримируемость эту, при известных условиях, можно сохранить, и пойдя в Россию — и даже, как показывает пример Пешехонова, — служа в большевистском правительственном аппарате *за совесть*, не большевикам, а стране. Несомненно и то, что, раз став на ту точку зрения, что спасение России придет изнутри, путем внутреннего процесса, мы должны вместе с Пешехоновым желать, чтобы людей его типа и закала было в России как можно больше. Но сам Пешехонов понимает, что призыв в Россию, при настоящих условиях жизни и деятельности там, не может быть коллективным. Он сам сводит вопрос к вопросу личной оценки и совести каждого: «могий вместити, да вместит». А одиночные уходы в Россию, даже если признать их в известных случаях допустимыми и желательными, не решают общего вопроса о демократической эмиграции и о ее роли в деле спасения России.

Роль эта — велика, но она — подготовительная. Подготовительная не только в области науки и техники, — в области выработки «спецов» для будущей России, но и в области политики. Работа наша в этой области за границей уже теперь должна быть так рассчитана, чтобы быть не вредной, а полезной для России. Мы не зовем и не идем в Россию. Но мы должны готовить себя для возвращения туда, когда оно станет возможным. В тот момент наши обе психологии — эмигрантская и внутрирусская — должны выровняться и сделать возможным взаимное понимание и сотрудничество. Для этого, прежде всего, мы должны научиться понимать великий исторический переворот, происшедший в России, не как случайный «бунт рабов», а как безвозвратный сдвиг, открывающий новый период русской истории. С другой стороны, мы должны также научиться извлекать выводы из тяжелых уроков революции, связать ее неудачи с нашими ошибками, найти корень этих ошибок в старых интеллигентских доктринах. Выяснив причины ошибок, мы должны быть готовы внести в нашу практическую деятельность соответственные поправки.

Дело не в том, чтобы проклясть интеллигенцию за ее старый «максимализм». Интеллигенция нужна для всякого народа, и проклинаящие ее — суть тоже интеллигенты, движимые новым видом максимализма, или враги народа. Народ без интеллигенции есть сырая этнографическая масса, готовая послужить колонией для эксплуатации, «навозом» для чужой культуры, жертвой чужих интересов. Дело в том, чтобы сохранить народу его интеллигенцию и дать ему возможность вместе с ней — с доверием к ней — думать свою крепкую думу.

Вот корни демократической идеологии, вот ее задачи. Объединение республиканско-демократических организаций есть кратчайший

путь к возврату политически мыслящей интеллигенции в Россию. А наш республиканско-демократический клуб, при открытии которого мы присутствуем, есть первый решительный шаг по этому пути, за которым в ближайшем должны последовать другие.

Последние новости. 1923, 5, 7 июня

МОИ СНОШЕНИЯ С ГЕНЕРАЛОМ АЛЕКСЕЕВЫМ

Каждый новый том «Очерков русской смуты»¹ А.И. Деникина упрочивает за этим произведением значение капитального, основанного на первоисточниках труда, незаменимого для всякого будущего историка. А.И. Деникин мог написать мемуары, и они, конечно, также бы получили бы значение первоклассного первоисточника. Но он предпочел писать историю под скромным названием «Очерков». В томах его обширной работы перед нами разворачивается вся картина политической и военной на всем пространстве небольшевистской России, картина, в основу которой положены не только общедоступные печатные источники, но и обильные рукописные материалы, сосредоточившиеся в руках человека, возглавлявшего антибольшевистское движение в Европейской России. К исключительной осведомленности присоединяется отчетливое вдумчивое изложение, обнаруживающее в военачальнике талант литератора и добросовестность историка. Личность Деникина, знакомая до сих пор немногим, становится близкой широкому кругу читающей публики.

Все эти достоинства труда Деникина заставляют меня обратить на него особое внимание, но в данном случае не в порядке обстоятельной рецензии, которой он заслуживает, а в порядке обсуждения моего личного вопроса, затронутого автором. А.И. Деникин знаком с моей перепиской с покойным М.В. Алексеевым и с моими письмами к политическим единомышленникам, получившими большее распространение, чем допускал их строго конфиденциальный характер. Он цитирует тот и другой материал для характеристики моих взглядов в размерах, быть может, даже выходящих из рамок общего изложения, — но все же недостаточных, чтобы представить мою точку зрения с полной отчетливостью. Это вынуждает меня пойти несколько дальше его в использовании тех же материалов

¹ Впервые изданы в Берлине и Париже в 1921–1926 гг.

с единственной целью правильнее осветить мое личное отношение к добровольческой армии тех времен. Мой личный вопрос может, конечно, никого не интересовать, но раз в прекрасном труде Деникина моей персоне отведено известное место, я в интересах правильного освещения затронутых там вопросов считаю себя вправе занять внимание читателя, тем более что с моей личной позицией связаны и некоторые общие вопросы.

Первый пункт, который требует разъяснения, касается моего отъезда из Ростова в Киев в мае 1918 г. А.И. Деникин связывает этот отъезд с «тяжелым впечатлением», произведенным на командование добровольческой армии статьей в «Приазовском крае»¹, впервые возвестившей пресловутую перемену моей «ориентации», и моими первыми письмами к ген. Алексееву. Он говорит: «Мы дважды приглашали его приехать в Мечетинскую, приобщиться хоть немного к нашей жизни и уяснить себе психологию добровольчества и его вождей. Почему-то, однако, Милюков к нам не приехал, а в конце мая отправился в Киев». Почтенный автор, зная мою переписку, мог бы в сущности сам ответить на вопрос, почему и как это случилось. Получив первую возможность войти в контакт с добровольческой армией по ее возвращении из Ледяного похода (я оставался в Ростове во время этого похода), я написал 3 мая Алексееву приветственное письмо. В нем между прочим я писал: «Имейте в виду, что через несколько дней я собираюсь ехать в Киев (ниже будет видно, для чего)». Я получил в ответ письмо от 10 мая, в котором были слова благодарности «за доброе, сколько-нибудь ориентирующее письмо», но не было никаких указаний на возможность свидеться. Однако раньше получения этого письма, я узнал, что Алексеев выезжает из Мечетинской для свидания с ген. Красновым и получил (помнится, через Н. Львова) предложение воспользоваться этим для свидания с Алексеевым. Я, конечно, был чрезвычайно рад этой возможности и поехал... но не туда, куда следовало. В следующем письме Алексееву от 19 мая я объясняю это недоразумение: «Я знал о дне свидания (с Красновым), но ошибся местом: думал, что в Новочеркасске, поехал туда в надежде встретить Вас и, увы, только там узнал, что свидание было назначено в Маньчжской». Я писал далее, что для того, чтобы разобраться в том, что происходит в Донской области, я «решил несколько отложить свой отъезд в Киев. Вчера узнал, что туда едет Р. — вероятно, с какой-нибудь важной миссией». Это письмо, которое полк. Р. и должен был отвезти, я присил задержать отправкой до моего свидания с Красно-

¹ «Приазовский край» — газета, выходившая в Ростове-на-Дону в 1891–1918 гг. Редакторы-издатели: С.Х. Арубюнов, И.А. Григорьев, А.Б. Тараховский.

вым, о котором через день, 21-го, я написал Алексееву дополнительно из Новочеркасска, прибавив в конце письма: «Надеюсь моим настоящим посещением Новочеркасска закончить мои дела здесь и в ближайшие дни совершить, наконец, свою запоздалую поездку в Киев. Туда, как я узнал, едут и Ваши люди: этому я очень рад и, конечно, буду держаться с ними в контакте». Раньше я объяснял, почему, по моему мнению, надо было спешить с поездкой в Киев. «Мы можем очутиться перед совершившимися фактами, прежде чем успеем предпринять все, что нужно». Как видно из этих выражений, я считал, что поездка в Киев есть часть моего общего с добровольческой армией дела, — часть, так сказать, общей разведки, с которой можно опоздать, но без которой ничего предпринимать не следует. Уже написав эти письма от 19–21 мая, я получил от ген. Алексеева записку следующего содержания: «Дорогой П.Н., от Добрармии в Киев с целью изучения обстановки командирован полк. Р. И помогите ему Вашим опытом, связями, знакомствами. Искренне преданный М.А.». Эта записка, очевидно, могла лишь укрепить во мне убеждение, что в Киев я еду с ведома Алексеева для общего дела. Посылка Р. показывала мне, что и мои соображения в пользу спешности разведки положения, сложившегося при Скоропадском, разделяются Алексеевым. И менее всего я мог ожидать, что мой спешный отъезд будет истолкован командованием как нежелание видеться с людьми, к которым я относился с любовью и уважением.

25 мая я выехал из Ростова. А тем же 25-м помечено письмо, которое мне написал из Мечетинской Алексеев и которое я получил уже в Киеве. В этом письме я прочел следующие строки: «Вопросы, поставленные вашими письмами от 19 и 21 мая, столь существенны и важны для определения вашей дальнейшей деятельности, что ответы должны быть по возможности точны и определены. Но обстановка, при которой приходится принимать решения столь быстро — как вы сами говорите — меняется, что без словесной беседы, одними письмами, мы не будем в состоянии установить полное взаимопонимание условий нашего будущего существования. Если бы могли пожертвовать двумя днями, мы прислали бы в Маньчскую автомобиль, а до Маньчской вас распоряжением атамана доставил бы пароход... Мне появиться в Новочеркасске по некоторым причинам неудобно». Само собой разумеется, что, получи я это приглашение в Ростове, я немедленно бы на него откликнулся. Но оно было послано мне при препроводительном письме моего знакомого только 5-го июня, а мной получено в Киеве 7 июня. В тот же день я ответил Алексееву: «Мне очень грустно, что не удалось повидаться лично, и я чувствую недостаточность письменных сношений. Но я пропустил все сроки и почувствовал, что дальше откладывать поездку в Киев нельзя по

причинам, которые я изложил в предыдущих письмах. Приехав сюда, я вижу, что был прав: Киев теперь — настоящий центр всероссийской политики и в нем надо ковать железо, пока горячо». Далее я излагаю полученную мною в Киеве, согласно с моим планом, информацию. На это письмо Алексеев ответил 18 июня из Новочеркасска. По существу его ответ был окончательным и мотивированным отказом от моего плана, и этого отказа было достаточно, чтобы этот план рухнул. Но он, кроме того, уже и запоздал, как я ответил Алексееву из Киева 21 июня. Моя разведка была кончена. Но та же «психология», которая сделала невозможным осуществление моего плана, отрезала меня, при той огласке, которая была предана нашей интимной переписке, от добровольческой армии.

Что же это был за план? А.И. Деникин сообщает его в том виде, какой он принял в моей записке, составленной после свидания с приехавшим из Москвы кн. Гр. Ник. Трубецким, в дополнение к его собственному отчету «Правому центру»¹ — 29 августа. В дополнение Деникин сообщает несколько «более интимных мыслей» из моей переписки с Алексеевым. И затем произносит вердикт: подобные взгляды, как бы ни относиться к ним «с точки зрения национальной и этической» (очевидно, с этих двух точек зрения они осуждались в добровольческой армии) «были безответственны и в смысле государственном — бесполезны».

Мой ответ на эту оценку следующий. Эти планы стали беспочвенными, потому что добровольческая армия, которой в них принадлежала главная роль, отказалась играть эту роль. Но моя переписка с Алексеевым и была посвящена тому, что может сделать добровольческая армия в «быстро меняющейся обстановке» для спасения России. В другом месте книги, приведя соображения кн. Трубецкого, почему добровольческая армия была не в состоянии усвоить моего плана (общего в тот момент с планом кн. Трубецкого, хотя мы и пришли к нему независимо друг от друга), Деникин говорит: «Определение это, верное относительно офицерской массы, слишком, однако, элементарно в отношении старших начальников. Они руководствовались, кроме того (т.е. кроме идеологии, принесенной с фронта, “этической и национальной”. — П.М.), мотивами государственной целесообразности и некоторым предвидением». То же различие, которое Деникин здесь проводит между старши-

¹ Правый центр — монархическая контрреволюционная организация, объединявшая представителей торгово-промышленных кругов, правых политических партий, ряд октябристов, кадетов, офицерских организаций и духовенства. Действовала в мае 1918 г. Часть кадетов вышла из состава Правого центра.

ми начальниками и офицерством, могло бы быть проведено между Алексеевым и самим Деникиным. Алексеев был, быть может, единственным человеком, кругозор которого допускал беспристрастное рассмотрение политических соображений. У Деникина эти соображения уже проходили через призму настроений боевого офицерства. Только что перенесенный эпический Ледяной поход сообщал этим настроениям особую свежесть, остроту и непримиримость. А взглядами Деникина, Романовского и других носителей этого «офицерского» настроения, несомненно, предопределялись решения старого главнокомандующего. После этих предварительных замечаний я возвращаюсь к письмам Алексеева. Только в связи с ними и «быстро меняющейся обстановкой» можно правильно понять и те отрывочные фразы, которые Деникин приводит из моих писем. Иначе, в его изложении получается какая-то комическая картина «крутого перелома» в моем «мировоззрении» на протяжении «все-го только двух недель». «Перелом» этот характеризуется тем, что 3 мая я еще негодую на Дроздовского, сочетавшего «трехцветный национальный флаг с немецкой каской» и советую даже формально распустить добрармию; затем «дальнейшее размышление» (в том же письме) меня приводит к мысли, что надо продолжать существование добрармии, в случае «невмешательства немцев», а 19 мая является «третий вариант»: «...нужно вступить в переговоры с немцами и спешно освободить Москву». В действительности, все основные черты моего плана изложены уже в первом письме 3 мая, причем вопрос о роспуске добрармии поднят в связи со слухами о намерениях самого Алексеева, против которых я возражаю путем «дальнейших размышлений». Я пишу: «Здесь (в Ростове) мне сообщили, что вы, Деникин и Марков, решили вопрос для себя лично тем, что хотите уйти из добровольческой армии. Не знаю, так ли это, не знаю и ваших личных мотивов, которые могут быть вполне серьезны. Но отсюда, издали, казалось бы, что ваш уход был бы возможен только одновременно с роспуском вами созданной армии и формальным окончанием вами начатого дела. Если, как здесь говорят, есть другие охотники вести далее дело добровольческой армии, то пусть уже это будет новое дело и новая фирма. На старую — эти “новые” или старые, но прежде подчиненные элементы — не имеют никакого права». Как видит читатель, «роспуск» был лишь альтернативой «ухода», причем целью было сохранение репутации «старой фирмы». Почему я считаю, что Дроздовский испортил эту репутацию? Я ведь говорил не только о «германской каске», которая действительно глубоко волновала национальное чувство, — хотя обыватель и нес германцам цветы, — а о лжи и клевете, которой окружена была идея добровольческой армии в глазах демократического элемента.

Подчеркнутые слова почему-то Деникиным выкинуты из конца цитаты. А в них вся суть. Я писал Алексееву, предостерегая его: «Социальный опыт (большевиков) не изжил себя, а оборван на середине: это скажется в будущем, и нельзя быть достаточно осторожным, чтобы не дать почвы для дальнейшего укрепления новой творимой легенды о добровольческой армии». Вот почему моей первой мыслью после подвигов офицеров (Дроздовского) на улицах Ростова, о которых я упоминаю в письме, было, что «вам нужно как можно резче отгородить свой и наш почин от неудачного продолжения Дроздовского». Как видит читатель, я ограждал прежде всего ту репутацию добровольческой армии, с которой она вышла на борьбу. Почему же «дальнейшее размышление» склонило меня, вместо мысли о роспуске, навеянной слухами об уходе вождей из армии, настоятельно рекомендовать Алексееву «не покидать добровольческой армии». Тут идет то главное, — для политика, — чего «офицерская» психология не заметила за «германской каской». Я развивал в этом письме 3 мая мысль, что уже «брезжит вдали огонек обетованной земли» и что добровольческая армия может пригодиться «ввиду вероятностей, которые могут стать близкими возможностями завтра же». Эти возможности открывались для меня с освобождением отдельных местностей России от ига большевиков — процессов, уже начавшихся на Дону и на Украине. Я оговорился тут же в письме, что «судьба хотела, чтобы раньше, чем этот внутренний процесс привел к осязательным результатам, явилась внешняя сила в лице германцев». Германцы «восстановили на юге правительство, достаточно сильное, чтобы организовать доставку нужных продуктов и затушить социальный пожар, и в то же время достаточно слабое, чтобы не грозить Германии слишком скорым восстановлением русской военной силы». Я прибавил затем, что вступление моих партийных единомышленников в это правительство (Скоропадского) показывает мне, что само оно может руководствоваться иным расчетом: «...прежде всего, создать военную силу, чтобы заставить германцев с ними более церемониться. Другой целью должна быть подготовка будущего воссоединения развалившихся частей России и воссоздание общерусского политического центра. Но эта, вторая задача на первых шагах, очевидно, должна свестись к укреплению местных правительств, хотя бы временно и независимых». В этой связи я указывал Алексееву на другой возникающий центр, донское правительство — и советовал ему закрепить и материальную будущность армии, и будущность самого Донского центра, сделавши армию после формального роспуска частью войска Донской области и пожертвовав на время «всероссийскими замыслами». Я отмечал

при этом и то, что здесь, на границах Дона, остановилось германское нашествие и, следовательно, создается «возможность работать за этой чертой без непосредственного вмешательства германцев». Я, наконец, обращал внимание на то, что германцы, наверное, оставят Москву вне района своих военных операций и что там возможен будет «внутренний переворот, аналогичный киевскому», при котором добровольческая армия может сыграть решающую роль — и уже поэтому не должна самоуничтожаться.

Таково было действительное содержание моего первого письма Алексееву, не пропущенное через призму офицерской психологии. В нем, как я уже сказал, были все черты моего дальнейшего плана. Основной чертой этого плана было объединение действий против большевиков и Москвы во всех освободившихся от большевиков областях. Это объединение не могло состояться при полном игнорировании германцев, ибо обе освободившиеся части уже вынуждены были вступить с ними в те или другие отношения. Отсюда непосредственной задачей становилось узнать, совместимы ли эти отношения с задачей освобождения и объединения России. Я и писал Алексееву в том же письме, что моей задачей при поездке в Киев будет, прежде всего, «удостовериться, в какой степени правительство Скоропадского связало себя с германцами». Читатель поймет теперь и то, почему я считал необходимым произвести эту разведку в самом спешном порядке.

Что же отвечал мне Алексеев — человек, которого я считал более других способным понять мой политический расчет? Его письмо от 10 мая, прежде всего, проникнуто было крайним пессимизмом относительно будущего добровольческой армии. Оно вполне подтверждало, что самый вопрос о ее дальнейшем существовании, действительно, остается нерешенным. Деникин рассказывает, что еще 30 июня Алексеев писал ему, что если не удастся немедленно достать пяти миллионов рублей, то через две-три недели «придется поставить бесповоротно вопрос о ликвидации армии». И мне он писал то же самое в письме от 10 мая. «Без денег я скоро с болью сердца и с опасением за судьбу отпускаемых, распущу армию. Срок ожидать это — небольшой». Относительно охотников оттереть Алексева от армии сообщает тот же Деникин, приводя цитату из письма Родзянки от 7 июня. Конечно, в моих настояниях, чтобы Алексеев остался при армии, не было никакой надобности. Но относительно той цели сохранения армии, на которую я указывал, Алексеев отзывался весьма скептически. Он не верил Краснову: «Нас он просто предаст, как предал Керенского» (представление, едва ли соответствующее действительности). Затем Алексеев был

уверен, что «Дон будет занят немцами», — чего не случилось, так что мои предположения здесь оказались правильнее. «С немцами, как врагом России, добровольческая армия не имеет права и возможности вступать в переговоры, а тем более заключить какой-либо договор, условие». Если нельзя было остаться на Дону, то положение армии, действительно, представлялось отчаянным. «Ген. Краснов, беря начальственный тон по отношению к армии, указывает ей путь — скорей берите Царицын... цель — сунуть нас в непосильное предприятие»... Идти на Кубань? «Невозможно и бесцельно повторение туда похода при данной обстановке, не рискуя погубить армию». На Кавказе тоже «мало привлекательного и делать нечего». Армия, таким образом, заперта в «трагическом кольце: немцев — Дона — большевизма. С первыми нам непосильно пока вести борьбу, со вторыми — неуместно, с третьими — мы управимся и с божьей помощью выйдем на более торную дорогу». Из этих слов ясно видно, что у Алексева не было в то время никакого плана. Он лишь «мучительно думал над решением вопроса — как вести дальше Добармию», очутившуюся, «в результате трех месяцев трудов и лишений», перед «неизвестностью существования будущего дня, в обстановке тяжелой, сложной и туманной»...

Таково было положение, когда я предлагал обсудить свой план и спешил собирать материал для выяснения его возможностей. Я был уверен, — и события меня, к несчастью, оправдали, — что добровольческая армия одна, особенно с «творимой о ней легендой», не будет в состоянии освободить Россию от большевиков. Я представлял себе это освобождение возможным только при условии, если соединятся — и притом немедленно, — все силы, уже участвовавшие в свержении большевиков в разных частях России. Освобождение отдельных частей я считал началом здорового государственного строительства, хотя бы эти части и объявляли себя «независимыми до восстановления единства России». Эту самую формулу я продиктовал Краснову при свидании с ним, еще до киевской поездки. «Скрытые политические цели и намерения» немцев, о которых упоминал Алексеев, как об одном из решающих факторов положения, не были точно известны ни ему, ни мне: это и предстояло, прежде всего, выяснить. Но позиция военных: «не имеем права» — делала невозможным самый приступ к разведке. В этой разнице взглядов крылось начало нашего расхождения. Оно еще отравлялось тем, что и в самой армии были элементы, иначе смотревшие на сложившееся с приходом немцев положение. Но эти люди были как раз противниками командования. В довершении всего оба главных деятеля в освобожденных местностях, Скоропадский и Краснов, вызывали в командовании резко враждебное отношение к себе, — и не только

потому, что они вошли в сношение с «врагом», но и по личным своим особенностям, а отчасти по старым враждебным отношениям. Зародыш неудачи моего плана уже заключался во всех этих данных. Но в то же время я не представлял еще себе силу этих препятствий и верил в возможность свести вместе, помирить, уговорить. Во всяком случае, этот план был в то время единственным, который мог обещать скорое освобождение Москвы. И я считал своим долгом, преодолевая «психологические» препятствия, которые потом оказались непреодолимыми, сделать все, что от меня зависело, чтобы выяснить возможность его осуществления.

МОИ СНОШЕНИЯ С ГЕНЕРАЛОМ АЛЕКСЕЕВЫМ — 2

Итак, я ехал в Киев с ведома генерала Алексеева, и цель этой поездки должна была быть ему понятна из моего письма 3 мая. Я ехал, уже запасшись некоторыми предварительными сведениями, без которых вся поездка не имела бы никакого смысла. А именно, от двух моих политических единомышленников, которые уже успели побывать в Киеве, я получил сведения, что с оккупационными властями возможны разговоры на почве восстановления русского единства, хотя при этом их цель — восстановление в России конституционной монархии. По поводу последнего я писал генералу Алексееву: «Если выяснится, что это есть ультимативное требование для восстановления единства России, — не знаю как Вы, Михаил Васильевич, но мой ответ будет положительный: я принимаю конституционную монархию, если она вернет России единство и старые границы». Тогда я считал Алексеева сторонником республики и более левым, чем Корнилов. По сообщениям Деникина, я вижу, что ошибался.

Увидав из «скорбного» письма Алексеева от 10 мая, что у него нет никакого права и что он смотрит на будущее добровольческой армии крайне мрачно, я тем более считал необходимым развить ему подробно свой план, дававший некоторые основания для более оптимистичного настроения. Я написал ему два письма, от 19 и 21 мая, — второе после свидания с Красновым. В первом письме я развивал в семи пунктах последовательные звенья своего рассуждения. Я оговаривался при этом, что хотя «многое, что было в тумане, когда я писал в первый раз, теперь проясняется», но все же «мысли мои далеко не приведены в полную ясность и стройность и находятся в самом процессе возникновения». Вот основные мысли этого письма:

1) «Невозможность (для добровольческой армии) оставаться в пространстве “летучим голландцем”, после Вашего письма особенно

стала совершенно очевидной». Ни от Москвы, ни от Ростова никакой серьезной помощи получить нельзя. Надо поэтому опереться на реальный бюджет донского правительства.

2) Походы на Екатеринодар и на Царицын — «я безусловно согласен с Вами» — для добровольческой армии непосильны. Искусственной цели нельзя себе ставить. Надо принять естественную, которую подсказывает обстановка.

3) Эта обстановка — Дон и германцы. Сотрудничество с последними фактически существует. Закрывать на это глаза — значит добровольно сузить горизонт и отказаться от понимания происходящего.

4) «Самое трудное — одолеть психологическое сопротивление» следующему выводу. Наша роль в мировой войне кончена. «Закон самосохранения для нас теперь высший закон, включающий и наши обязанности к союзникам. Никакие договоры не могут сохранить силы при таком коренном изменении всей окружающей обстановки». «Я становлюсь вразрез с господствующим настроением добровольческой армии, но военные должны прислушаться к голосу политика». Наша первая цель — восстановление самого существования государства.

5) При данных условиях эта цель может быть достигнута только путем выяснения, насколько она у нас — общая с германцами.

6) Эта общая цель — в восстановлении порядка, который германцы видят в восстановлении государственного единства России и возвращении ее конституционной монархии.

7) Конкретная цель «спешно освободить Москву раньше, чем придут туда немцы, по возможности собственными силами, без их прямой помощи». Если это стратегически возможно, то политически — необходимо.

В письме от 21 мая я прибавлял некоторые штрихи, долженствовавшие, по моему соображению, смягчить враждебное отношение Алексеева к Краснову.

Ответ Алексеева на эти два письма, написанный 25 мая, получен был мной, как сказано, только 7 июня в Киеве. Большая часть этого ответа занята жалобами на Краснова. По существу, Алексей писал: «Против ваших выводов логически возразить трудно, но заставить присоединиться к ним наш офицерский состав едва ли возможно без решительных потрясений самого существования армии. Нужна спокойная подготовка, указания опыта, дальнейшее выяснение обстановки в Москве, разъяснение позиции наших союзников». Для всего этого Алексей и хотел личного свидания, прибавляя: «Цифровых данных, некоторых соображений на бумаге изложить не могу, а между тем теперь единство и мысли, и решений весьма важно». Но допуская, что «нам не удастся повидаться», он прибавлял: «...скорый поход на Москву нам непосилен». Не говоря про многие нерешенные

вопросы: «...пойдут ли с нами те или другие казаки? Частные, но серьезные операции начнутся скоро».

Как видит читатель, мой план не произвел на Алексеева того впечатления государственной бесполезности и беспочвенности, о которых говорит Деникин. Напротив, Алексеев не нашел логических возражений против него, и выставил лишь все ту же «офицерскую» психологию, оговорив притом, что дальнейший опыт и новые сведения и в этом отношении могут изменить положение. Что касается опасения Алексеева относительно казаков, то сам Деникин приводит письмо Краснова к Алексееву от 8 сентября, — конечно, не единственное, по которому можно судить о намерениях атамана, но все же характерное.

«С 15 мая я тщетно зову добровольческую армию идти вместе с донскими казаками на север к Царицыну, Саратову и Воронежу на соединение с чехословаками, если только они не миф, но добровольческая или не хочет или не может идти к сердцу России».

Конечно, Алексеев первоначально смотрел на эти предложения, как на подвох и на желание избавиться от добрармии. Но был ли он прав, я не знаю: в конце концов, он заговорил сам о «Волге» (см. ниже). Относительно «ориентации» Краснова я встречаю в «Очерках» самоотверженную фразу: «Вряд ли история, с точки зрения русской национальной идеи, осудит генерала Краснова за то, что он в 1918 году признал Дон “не воюющей” против Германии стороной, воспользовался обеспечением западных рубежей области и приобрел через их посредство военные запасы бывшего русского юго-западного фронта. В тогдашнем положении Дона другого выхода не было, а силы и военно-политическое положение Германии вынуждали ее удовлетвориться вполне таким односторонним нейтралитетом и экономическими выгодами своеобразного товарообмена: русских патронов на русский хлеб». Но ведь это как раз то, что я говорил в своих письмах, — и я понимаю, почему против их логики возражать было трудно. Деникин и сообщает, что первоначальная (непримиримая) формула отношений (к немецкому командованию), исходившая некогда от «совета» при триумвирате (Алексеева, Корнилова и Каледина: «борьба с немецко-большевистским нашествием»), теперь была заменена (уже в наказе Алексеева в Москву, 5 мая) более мягкой: «никаких сношений с немцами». Он рассказывает тут же и о попытках немцев «зондировать почву», и о «категорическом отказе» добровольного командования, и о постепенной перемене отношения немцев к добрармии — из предупредительного в открыто враждебное. В момент, о котором идет речь, отношение еще не определилось, и за добрармией еще ухаживали. Наконец, со своей стороны, и Скоропадский, по сообщению Деникина, говорил представителю добрармии

еще 9 октября: «Я русский человек и русский офицер, и мне очень неприятно, что несмотря на ряд попыток с моей стороны завязать какие-либо отношения с Алексеевым... кроме ничего не значащих писем... ничего не получаю». Деникин подтверждает это. «Ни генерал Алексеев, ни я не вступали с ним в сношения», сохраняя «ортодоксальный символ веры, не допускавший ни сомнений, ни колебаний, ни компромиссов: сохранение русской государственности».

Деникин говорит, правда, что «вместе с тем командование не прибегало ни к каким конкретным мерам, враждебным гетманскому правительству». Но тут же упоминается о «подготовке мер», для противодействия предполагавшемуся (совершенно исключенному по соображениям, высказанным Деникиным выше. — П.Н.) германскому наступлению против (никогда не существовавшего) Восточного фронта и добровольческой армии. Готовилась именно агентами добрармии «партизанская война в тылу немцев, разрушение мостов и железнодорожные забастовки» на территории Украины.

Добрармия была на распутье двух противоречивых тактик. И к моменту, когда я получил письмо Алексева (25 мая — 7 июня), я думаю, окончательный выбор еще не был сделан: по крайней мере, он не был еще бесповоротно продемонстрирован. Все перечисленные возможности — Краснов, Скоропадский, немцы — вместе с условным характером возражений мне Алексева, казалось мне, уполномочивали меня на продолжение моей разведки в раз намеченном направлении. И прежде всего, немедленно по получении письма от 25 мая, я считал необходимым осведомить Алексева о результатах уже сделанных мною в Киеве наблюдений, пока еще очень не полных.

В Киеве я попал в водоворот слухов, часто неверных и противоречивых. Самое худшее было то, что никак нельзя было установить точной хронологии и последовательности этих слухов. Противоречия объяснялись сменой настроений и борьбой разных течений. Но какое настроение было очередным, победа какого течения были последней? При выборе и оценке сведений, конечно, субъективные настроения должны были иметь влияние. Шульгин, например, устанавливал факты иначе, чем я. Но чья субъективность была более субъективной? Разобраться в этом было трудно. В общем, у меня составилось впечатление, что для моего плана наступает последний момент, — если только он уже не запоздал окончательно. Тем не менее я пытался выделить факторы, благоприятные моему плану, и писал о них Алексеву.

Моя характеристика положения была следующая. «Первое впечатление здесь — очень пестро, так как открытым образом германцы держат направление на разделение России и явно покровительствуют всевозможным сепаратистским течениям. Но эта пестрота — не только плод двух течений — на объединение и на разделение, кото-

рые борются в самой германской среде, а и выражение двух стадий процесса, через который они хотят разбить Россию на более мелкие части, чем это допускала «великоукраинская» идея. Отсюда покровительство выделению Крыма, Кубани с юго-восточной республикой, Донской области. Другая стадия — или другая тенденция — это поход на Москву, переворот в Москве, восстановление монархии и национального русского правительства. Задача эта, по некоторым слухам, представлялась германцам неотложной и ближайшей. По другим сведениям, она была уже брошена и возобладала сначала теория раздробления. Исходя, однако, из большей достоверности первых слухов, я старался найти место для добровольческой армии в этой комбинации, чтобы сохранить национальный характер победы в Москве. Другая комбинация, союзническая, создание внутреннего («Восточного») фронта в России, казалась мне совершенно нежизненной, так как я не верил в возможность прихода значительных союзных сил внутрь России, а борьба на окраинах не имела смысла для ее объединения. Если же такой внутренний фронт и осуществился бы, то я считал бы опасным для России, которая при том разделилась бы на два лагеря... и «разделение России на две половины упрочилось бы».

Вот почему скорейшее занятие Москвы мне казалось единственным возможным путем к объединению России. И вновь убеждал добровольческое командование отказаться от «доктринерства» и хотя бы ценою некоторых отпадений повернуть курс на путь, который я считаю неизбежным, т.е. идти на Москву, чтобы сохранить хотя бы фикцию, что Москва взята русскими. От германцев я предлагал получить только такую помощь, которая не будет противоречить этой задаче. Я высказывал предположение, что тогда «и Краснову не придется вертеться и лукавить с Вами: он, напротив, принужден будет оказывать вам всяческую помощь».

Я встретил сопротивление в группе Шульгина, близкой к добровольческой армии, и в Москве, в центральном комитете собственной партии, которая как раз в эти дни окончательно повернула на путь сотрудничества с союзниками по созданию Восточного фронта, в котором и мне предназначалась видная роль. Случилось так, что мои взгляды совпали с мнениями более правых течений в Москве и Петербурге, и в откликах оттуда, после того, как моя позиция стала известна, мои товарищи не скупились на резкие выражения. Я думаю, все это, вместе с тем предрасположением добровольческого командования, о котором говорилось выше, окончательно определило не только отрицательное, но уже прямо враждебное отношение к моему начинанию. К этому времени (13 июня) на Дон приехали авантюристы, Добринский и кн. Тундутов, привезшие с собой требования о перемене командования и, при отказе, разоружении добровольческой

армии и о поддержке немцев на Восточном фронте против союзников. Пришли с ними и слухи о беседе Вильгельма с Тундутовым, в которой император выражал решимость раздробить Россию. Мы в Киеве слышали и опровержение этих слухов, и помимо того имели обратные сведения. Отношение германцев к добровольческой армии там не представлялось еще окончательно испортившимся. Но в Новочеркасске — глухой провинции сравнительно с Киевом — впечатления разрастались — и позиция добровольческой армии была окончательно установлена под этим впечатлением. «Выход на Москву, свержение советской власти и освобождение России» по плану Деникина были отложены как «конечная цель» операций, а «ближайшей частной задачей» поставлено «освобождение Задонья и Кубани», т.е. как раз то, что Алексеев считал «бесцельным» и связанным с «риском погубить армии». Он и остался при этом мнении, как видно из его письма к Деникину 30 июня, в котором он писал: «Углубление наше на Кубань может привести к гибели. Обстановка зовет нас на Волгу... Центр тяжести событий, решающих судьбы России, перемещается на Восток. Мы не должны опоздать в выборе минуты для оставления Кубани и появления на главном театре». Широта кругозора Алексеева сказывалась в этих предостережениях. Но 9–10 июня поход на Кубань, определивший все будущее доброй армии, начался. Деникин «к тому времени взял уже Тихорецкую и не мог, конечно, бросить на полпути операцию, стоившую много крови и развивавшуюся с таким успехом»...

При таких обстоятельствах Алексеев писал мне 18 июня в ответ на мое письмо от 7 июня. Ответ Алексеева как раз исходит из слухов и требований, привезенных «пройдохой» Добринским и «дураком» Тундутовым. «Все это создало в армии», — пишет он, — «тяжелую атмосферу яркого недоверия и недоброжелательства к немцам». Он уверен («мы хорошо ориентированы») в «неизбежности скорой борьбы партизанского характера» на Украине против немцев (ползучая борьба шла все время, но сама по себе ничего грозного в себе не заключала). «Армия в лице всех (в чем я очень сомневаюсь. — П.М.) своих офицеров так нервно относится к этим вопросам, что малейшее уклонение руководства в сторону соглашения с немцами поведет за собою фактическое исчезновение основного кадра нашей армии». «Вполне понимая, насколько сильно и выгодно положение у нас немцев... сознавая плохую деятельность союзников, мы психологически не можем переменить себя, поступиться общим настроением массы... Свято сохраняя свою цель, армия должна, до минуты своей возможной гибели, идти другим путем... Поход в Москву зависит пока от многих, чисто местных условий (он зависел для данной минуты от принятия или отвержения моей комбинации. — П.М.). Лично я считаю,

что добрармии *пора переменить направление* операции, хотя бы ради *собственного спасения*. Такова наша обстановка, несмотря, что уклон в германскую сторону со стороны Краснова неизбежен, ибо он находится в тяжелых условиях, а Кубань ждет немцев, как избавителей в лице своего правительства и рады (с[оциал]-р[еволюционеры]).».

Ко времени получения этого письма я уже успел убедиться, что выход добрармии из моего плана равносильно крушению всего плана. От него приходилось отказаться уже просто потому, что только при наличии этой силы немцы могли идти на уступки, только при наличии этой силы могло состояться самое движение на Москву и только при таком условии в самой германской среде имела шанс на победу тенденция объединить Россию, распространенная среди военных, но встретившая противодействие в дипломатах и в рейхстаге. Между прочим, вмешательством дипломата (Мумма) объясняется и попытка моей высылки из Киева — за то, что я-де не признаю независимой власти гетмана. «Неожиданного и резкого» разрыва «сношений с Милюковым», о котором говорит Деникин, не было, потому что не было и никаких официальных сношений. Была лишь частная беседа, в которой я поставил свои условия, доведенные до «высшего места», где на них не согласились, о чем я и был своевременно уведомлен. Когда-нибудь я расскажу об этом эпизоде подробнее. Теперь возвращаюсь к моей переписке с Алексеевым.

21 июня я получил письмо Алексеева от 18-го и в тот же день ответил — в огорченном тоне, но признавая, что для данного момента возможности упущены. «Я вижу, — писал я, — что та перемена тактики добрармии, о которой я мечтал как об одной из краеугольных основ немедленного приступа к объединению России, для Вас и для всей армии в целом “психологически” невозможна. В том акте освобождения Москвы от большевиков, который я считал возможным и необходимым теперь же, добрармия не будет участвовать. Не будет поэтому и самого акта восстановления национального общерусского правительства русскими руками. На этом теперь надо поставить крест — и не только потому, что перемена ориентации добрармии оказывается невозможной, но и потому, что если бы она и совершилась теперь, она бы уже теперь запоздала. Ибо является другой фактор, выбивающий у меня почву из-под ног: усиление опасности для германцев на Востоке вследствие движения чехословаков и предстоящего японского десанта. В такой момент германцам, очевидно, некогда думать об объединении России, и то течение, которое эту мысль поддерживает, поневоле отодвигается на второй план. Германцы, видимо, придут в Москву, но придут не как освободители Москвы от большевистского засилья, о чем они подумывали раньше и для чего могла бы им приго-

даться добровольческая армия. Они придут как защитники большевиков и их защитники от нападения союзников. То, чего я опасался и что хотел предупредить, — борьба союзников с противниками на нашей территории и закрепление разделения России на две части грозит сделаться совершившимся фактом. Все это уничтожает мой план в самых основаниях». Германцы не бросят, правда, своих целей, но «они используют более правые политические силы и партии, чем имели в виду до сих пор». Путь, избранный добрармией, «ведет на Волгу, в ту туманную даль, которая рассеется далеко не сразу, лишь через несколько месяцев, при такой картине европейского положения, которую сейчас учесть невозможно... Исход борьбы здесь не повлияет, а сам будет находиться в зависимости от общеевропейских комбинаций. Эти комбинации можно учитывать различно... Тот или иной мирный исход в Европе может застать нас врасплох, в состоянии бессилия и раздробления». В заключение я предлагал не расходиться окончательно из-за «ориентации», а держаться в контакте, на случай новых изменений в общем положении. На это письмо ответа не было.

Германцы, как я и предвидел, пытались заменить добровольческую армию какой-нибудь другой, — астраханской, южной, псковской, что, между прочим, свидетельствует о серьезности их намерений. Ко мне приходили офицеры, несогласные с ориентацией добровольческой армии, — утверждали, что их — очень много, что армия не пойдет на Волгу за Алексеевым. Мне предлагали даже (конечно, не немцы) «возглавить» новую армию, организованную на немецкие деньги. От всего этого, разумеется, я категорически отказался, ибо это и было то, по поводу чего я предостерегал Алексева. «Южную» армию «возглавил» потом гр. Вл. Бобринский. Псковская призрачная армия тоже была в руках крайних монархистов. Это уже был эпилог, с которым у меня не могло быть ничего общего. Соседство с этими элементами в киевских политических организациях только заставило меня поближе присмотреться к тому, что представляли из себя русские монархисты вообще.

Выводы из тогдашних наблюдений мне пришлось делать уже гораздо позднее, — когда закончился весь цикл событий, начавшийся с переходом добровольческой армии на выбранный ею путь, по которому она дошла до конца. Что было бы, если моя попытка была поддержана, я не знаю. Но мы все знаем, к чему привело преобладание военных элементов и «офицерской психологии» в руководстве добровольческой армии.

Последние новости. 1923, 3, 6 апреля

СОЦИАЛИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ

Доклад, прочтенный на эту тему Н.Д. Авксентьевым в Республиканско-Демократическом Объединении¹, и состоявшиеся по докладу прения заслуживают внимания вне тесных пределов той залы, в которой происходил этот обмен мнений. Здесь сошлись и попытались взаимно самоопределиться два лагеря русской прогрессивной общественности в своих частях, наиболее близких друг к другу: правый социализм и радикальная буржуазия (понимая это слово в широком смысле, противопоставляем социализму). Демократический республиканизм одинаково свойствен обоим: он их объединяет и дает им возможность говорить на одном языке. Но несмотря на эту близость, создаваемую, главным образом, единством практических задач, несомненно, что оба партнера подходят друг к другу, сохраняя основные специфические особенности, которые их разделяют. Если, несмотря на эти особенности, граница между обоими течениями, социалистическим и радикальным, все же сглаживается, то это становится возможным потому (и тогда), что (и когда) оба соседа проводят границы также и по другую сторону, противоположную линии их соприкосновения. Радикальная буржуазия провела эту черту, отделив себя от недемократов и нереспубликанцев справа. Где проводит эту черту, чтобы отграничить себя слева, правый социализм?

Доклад Н.Д. Авксентьева со всей определенностью и с необычной в рядах социалистов смелостью ответил на этот вопрос. Он отграничил «демократический» социализм от недемократического. Если принять во внимание, что самая возможность отрицания демократизма за какой бы то ни было частью социализма энергично оспаривается социалистами, то уже в одной этой постановке вопроса Авксентьевым нельзя не видеть важного методического шага вперед, существенно облегчающего установление общего взгляда.

Итак, есть социализм недемократический, с которым не только нам, но и Авксентьеву не по дороге. Это есть тот самый тезис, который мы постоянно проводили на этих столбцах. Спор может быть, стало быть, только о том, каковы признаки недемократического социализма и каковы те границы, которые отделяют его от социализма демократического.

Для нас несомненно, что большевизм есть социализм недемократический. Несомненно это и для Авксентьева, с той только разницей,

¹ Республиканско-демократическое объединение — основано в эмиграции (1921–1924) под руководством П.Н. Милюкова. В состав РДО входили представители демократической группы Партии народной свободы, «Крестьянской России» и других демократических сил.

что он не хочет вовсе называть большевистский социализм — «социализмом». Большевизм есть «антипод» социализма, его карикатура, и всякий, кто видит в большевизме крайнее проявление марксизма (т.е. все-таки социализма), — произносит «сознательную ложь». Мы, разумеется, находим это выражение чересчур крепким, потому что к категории людей, утверждающих связь между марксизмом и большевизмом, принадлежим и мы сами. Но разногласие с Авксентьевым у нас тут только словесное. Ибо сам он определенно признал, что «известные элементы большевизма таились в старой, особенно марксистской идеологии». Поскольку они там таились, постольку, значит, и старая марксистская идеология (несомненно, социалистическая) — была недемократической.

И в самом деле, подтверждение этого находим в перечислении Авксентьевым тех «ошибок», которые отделяют недемократический социализм от демократического. Чтобы стать демократическим, социализм, по Авксентьеву, должен освободиться от этих ошибок. Если так, то, значит, раньше социализм разделял эти ошибки? И докладчик определенно говорил о «демократизации социализма» как о сравнительно новом процессе. Сближение с демократией, таким образом, происходит путем устранения из самого социализма недемократических элементов.

Мы приветствуем такое понимание в рядах социалистов, потому что оно тождественно с нашим собственным. Но всю важность признания Авксентьева можно оценить вполне, лишь ознакомившись с тем, что именно в старом, недемократическом социализме он считает «ошибками». Мы увидим, что тут введены такие черты, которые иные склонны будут считать основными, существенными чертами социализма, как такового.

Равнодушие к политической свободе. Эту черту сам Авксентьев считает почти универсальной в социализме. В самом деле, ее разделяли, по его перечню, весь утопический социализм, т.е. весь социализм с конца 40-х годов, прудонизм¹, Лассаль, Маркс с Энгельсом и некоторые теперешние социалисты. Правда, г. Делевский пытался несколько сократить этот список, найдя многочисленные элементы демократизма и в домарксовском социализме. Но ведь из оппозиции против свободных политических учреждений, как недостаточно гарантирующих быстрые и решительные социальные завоевания, выросла вся революционная тактика социализма. Эта оппозиция

¹ Прудонизм — социалистическое учение, основанное на идеях П.Ж. Прудона, предлагавшего создание такого общественного строя, при котором члены общества являются самостоятельными мелкими собственниками-производителями.

кончается только там, где социализм из революционного становится эволюционным. Социализм Авксентьева переступает через этот порог, — и по сию сторону порога встречается с республиканцами-демократами несоциалистами. Демократический социализм, следовательно, есть социализм парламентский.

Вторая «ошибка» — или вторая идея, отрицающая демократизм, — это идея «диктатуры пролетариата». Собственно говоря, это другая сторона первой ошибки: во имя диктатуры пролетариата ведь и отрицались свободные политические учреждения. Но это было не всегда так. У Энгельса можно найти заявления, что «демократическая республика есть специфическая форма диктатуры пролетариата». И от Энгельса это утверждение перешло к прежнему Каутскому. Тут более, чем где-нибудь, Ленин ушел от марксизма, придав «диктатуре пролетариата» настоящую специфическую форму открытого насилия меньшинства. Но нельзя отрицать, что самый термин «диктатура» одного класса заключает в себе уже все предпосылки, на которых Ленин (и не один он) возвел свою систему. Нужно, следовательно, пожертвовать самим термином во избежание всяких недоразумений, и Авксентьев, под защитой Каутского, как он полагает, и решается это сделать. Таким образом, он становится на точку зрения верховенства большинства, на котором основана деятельность свободных политических учреждений.

Это подтверждается и отречением от третьей ошибки революционного социализма: от идеи «социальной революции» как «прыжка в царство свободы». Тут Авксентьев становится под защиту Жореса, признавшего, что социальная революция «неизбежно принимает форму эволюции», однако при условии, что эволюция имеет «революционную ценность». Итак, демократический социализм есть эволюционный социализм, отрицающий идею насильственного переворота. Неизбежным последствием этого заявления является признание, которое и сделал Авксентьев, что освобожденная от большевиков Россия будет буржуазная, а не социалистическая. Тут, однако, и кроется трудность, которую необходимо разъяснить, чтобы сделать все выводы из демократизации социализма. Ведь тот факт, что русская революция буржуазная, русские социалисты признали тотчас после Февральской революции. Тем не менее действовали они не вполне соответственно этому признанию.

Между программой республиканско-демократического правительства и программой социалистической всегда будет разница, которую Авксентьев и подчеркнул на примере отношения теперешних французских социалистов к французским радикалам. Разница эта в идее «обобществления» и в размерах, в которых «обобществление» может быть привито каждому данному моменту. Вот пункт, на кото-

ром и после отказа от «ошибок» продолжает существовать основная неясность между республиканцами-демократами и демократическими социалистами. Неясность на этом пункте проходит через все ультра-демократические цитаты, приводившиеся докладчиком. Социализм как цель — это понятие обязывает не только в будущем, но и в настоящем. И признание Авксентьева, что демократия превращается действительно только в служебную среду, если имеется в виду подготовка революционного переворота, сохраняет силу и на тот случай, если дело идет о подготовке будущего социализма. Только полное слияние очередных целей с целями несоциалистической демократии могло бы уничтожить эту последнюю грань. Но... может ли социалист работать только для очередных целей демократии, не превращая этих целей в средство для своих дальнейших целей?

Прямой ответ на это может дать только опыт. На опыт несоциалистической деятельности современных социалистических партий, когда они приходят к власти, и ссылались сторонники и противники докладчика. Сам он разрешил этот спор, пожалуй, слишком легко. Можно, «понимая свои задачи как демократические, — творить этим социалистическое дело». «Я ставлю социалистические задачи: обобществление средств производства, — сказал он, — но это достигается расширением понятия свободы личности».

Демократический социализм Авксентьева в своем философском обосновании покоится на понятиях, которые подчас общи ему с индивидуалистическим обоснованием либерализма. Углубление в эти общие начала дает ему возможность отойти от конкретных вопросов современности. Некоторая отвлеченность постановки сказалась и в практическом выводе докладчика, что после освобождения России от большевиков он... будет бороться против тогдашней реакции. Эта готовность заменить творческую программу восстановления России привычной задачей пребывания в перманентной оппозиции чрезвычайно характерна для политического течения докладчика. Отречение от ошибок социализма свело его единомышленников с неба. Но они все еще не решаются стать твердыми ногами на землю. Взгляд, устремленный на конечную цель, все еще мешает разбираться подробно в том, что под ногами.

А между тем, освобожденная окончательно от неясностей и двусмысленностей, позиция демократического социализма давала бы ему возможность положительной творческой работы для осуществления республиканско-демократических идей, общих с несоциалистической демократией. Обвешанный туманами недемократический социализм продолжает быть, во всяком случае, годен только на разрушение.

Последние новости. 1924, 9 июля

НОВЫЙ ЭТАП

Как и в других странах Западной Европы, признавших советскую власть, русская эмиграция во Франции вышла на новый этап своего национального пути, и она никуда не свернула и не намерена сворачивать, ибо наша борьба с советской властью не кончилась и не может кончиться: мы будем продолжать ее столь же последовательно и упорно, как и до сих пор. 29 октября 1924 года — день признания советской власти французским правительством — может изменить для нас всю внешнюю обстановку, может затруднить условия нашей жизни, но оно не в силах изменить ни внутреннего содержания этой жизни, ни нашего взгляда на советскую власть, ни нашей политики по отношению к ней, ни нашей вечной цели: она — эта цель — поставлена нами с первого дня появления у власти большевиков и исчезнет в тот последний день их, когда они падут, и освобожденная Родина вздохнет полной и свободной грудью. А до тех пор... баррикада по-прежнему стоит и будет стоять, и эмиграция по-прежнему занимает свою сторону и работает над общенациональным делом — над освобождением России от узурпаторов и насильников и над сохранением вывезенной, а потому не разрушенной, не убитой и не уничтоженной части русской культуры, русского знания, русской самостоятельной мысли.

Русская эмиграция — это семь лет борьбы за честь и достоинство нации и государства. Года идут, и ступень за ступенью возводится лестница, по которой русское беженство поднимается из низов своего физического упадка и духовного утомления к созданию своей доли в новой будущей России. Сворачивается твоя, беженская, но в то же время и общенациональная миссия, ибо Россия живет и скапливает силы не только там, под гнетом кровавой тирании, но и здесь — в рассеянии, лишенная родной почвы, родного дома. Сотни тысяч новых русских рабочих, десятки тысяч русского учащегося молодого поколения, тысячи русских учреждений, русское искусство, русская наука, русская книга, русские журналы и периодическая пресса — свидетели тому, что «исход» прошел безводную пустыню и покинул палатки. Русская эмиграция — это уже не «людская пыль», а единое, большое, национальное «домостроительство» на чужой земле, среди гостеприимных, но чужих народов. Сохранить и передать новым поколениям заветы борьбы, сохранить и передать им культурную Россию — в этом смысл и значение русской эмиграции внутри себя.

Но не только в этом ее весь смысл, все ее значение.

Современная русская эмиграция — явление (по своим размерам), едва ли виданное в мировой истории, как едва ли виданное в истории и явление коммунистического большевизма. И если «факелы

Нерона», плывавшие на заре христианской эры за отказ поклонения «императору — богу», меркнут перед бессмысленными мучениками за непризнание «бога — пролетариата», то и «великое переселение народов» может оказаться перед «русским исходом» не столь великим, каким его привыкли считать. Все значение русской эмиграции не поддается первому и субъективному учету современности. Только объективное историческое исследование в спокойной тишине научного кабинета сможет взвесить и оценить «русское рассеяние». Без преувеличения можно сказать, что с русскими эмиграционными волнами Россия начала и все еще продолжает вливаться в Западную Европу. Необходимо помнить, что наши ряды не редеют, а постоянно пополняются. Эмиграция продолжает расти, несмотря ни на какие шлюзы, поставленные советской властью между Россией и Западной Европой и наглухо запертые. Откройте шлюзы, дайте свободы, свободный выход из советской тюрьмы, и русская эмиграция начнет неудержимо расти, ибо народный исход продолжается: нечем жить, нечем дышать дома, на родной стороне. И этот исход окончится лишь с падением советской власти, ибо он подлинное свидетельство о подлинном ее лице. В этом свидетельстве — общее международное (посмеем сказать), мировое значение русского эмиграционного потока. Придет время, когда свидетельство будет принято, когда западные народы узнают советскую власть и поймут явление русской эмиграции, когда станет ясным, что как некогда Россия приняла на себя и на себе вынесла азиатское нашествие, защитив собой европейскую культуру, так и теперь, вынося на себе большевиков, она дает Западу время окрепнуть после войны и изучить заразу, рожденную в кровавом хаосе мирового столкновения.

Пусть Запад не верит пока русской эмиграции, пусть толкаемый своими интересами и нуждами он пытается проникнуть в Россию через советскую власть, пусть во имя «сношений» она будет для него властью «народной», «преемницей» прежних правительств — мы лучше, чем кто-либо, знаем, что болезненный процесс пошел путем «изживания», путем длительного оздоровления, быть может, непосильно длительного для Запада: очевидно, Запад тоже должен «нажить» свой личный опыт знакомства и изучения. Таков ход истории, и наше свидетельство пока для России бессильно, но оно имеет право, должно иметь на то, чтобы западные государства не прошли мимо, не отмахнулись от самой эмиграции. Мы можем рассчитывать, что Запад вообще и Франция в частности и по преимуществу поймет, что с «признанием» нашего врага не исчезнет данное нам «признание». И здесь речь идет не о каком-то политическом признании, а о культурно-человеческом, общественно-международном, дающем возможность не только внутренне продолжать оставаться русским, но и

чувствовать, что народ, гостеприимно и радушно оказавший приют эмиграции, сам продолжает видеть в ней часть русского народа, пожертвовавшего во имя своего идеала всем и покинувшего родину, не примирившись с ее поработителями.

До сих пор жизнь русской эмиграции во Франции складывалась при очень благоприятных условиях. Этот большой и сложный мир тяжелой трудовой жизни из года в год сорганизовывался и развивался настолько хорошо, что все время притягивал к себе все новые и новые волны беженства, стремившегося сменить «походную» жизнь на оседлую. Русский эмигрант не был здесь гражданином второго разряда, а был просто русским, имевшим наравне с другими иностранцами право выезда из страны и обратного въезда в нее, право передвижения по стране, право на труд, право на законную защиту и, наконец, право на свое национально-политическое представительство. Теперь признана советская власть, и последнее право отпало: посольство и консульство покинули русское здание на rue de Grenelle; туда войдут другие люди, к которым эмиграция не пойдет искать ни помощи, ни защиты. Образовалось пустое место, и неизбежно встает вопрос, чем оно будет заполнено? Вопрос не маленький, ибо, повторяем, слишком большое и сложное явление — современная русская эмиграция: здесь уже есть свое прошлое, свой сложившийся быт, которые, несмотря на все разнообразие их политического содержания, в смысле общественно-национального представительства едины и монолитны. Национально-политическая сторона русского представительства закончилась, но тем рельефнее выступает необходимость создать его общественно-национальную сторону. И мы верим, что это будет. Русская эмиграция готова выдвинуть из своей среды этот единый орган. Проект его уже существует. Последнее слово за французским правительством.

Последние новости. 1924, 2 ноября

14 (26) ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА

Читатель прочтет сегодня у нас неизданные строфы Пушкина, восстановленные известным пушкинистом М.Л. Гофманом. Содержание этого отрывка из десятой главы «Евгения Онегина» находится в связи с исторической годовщиной декабристского восстания, пришедшейся в этом году на день, когда наша газета не вышла. Переносим это воспоминание на сегодня. В наши дни споров между «отцами» и «детьми» мы не знаем, на чьей стороне будут «дети», по крайней мере,

некоторые из них. Проповедники из «отцов» ближайшего поколения подняли руку на всю русскую интеллигентскую традицию — единственную культурную традицию, которой обладает Россия. Правда, их нападки на недавнее русское прошлое во имя исторических легенд эпохи Дмитрия Донского были сосредоточены, главным образом, на эпохе Белинского. Но Белинского не выкинешь из цепи русской культурной традиции. Цепь эта ведет дальше к декабристам, а через них к Радищеву и Новикову. Отрицателям русской современной культуры надо отрицать уже все зараз: всю русскую культурную историю, начиная если не с Петра Великого, то, по крайней мере, с Екатерины. Наши отважные максималисты этого типа, впрочем, перед такой малостью не останавливаются. Мысля в терминах не годов и столетий, а целых исторических эпох и предсказывая мировые катастрофы, они отрицают не только одну русскую, но и всю европейскую новую историю начиная с XV века, с раннего ренессанса и реформации. Своего смутного идеала они ищут в «новом средневековье». Напомнить о декабристах при таком настроении современных пророков далеко не лишнее.

Нелишне это еще в одном отношении. У нас настолько общепринято говорить о «борьбе» соседних поколений друг с другом, что совсем затерялась мысль о связи поколений, — о той общей традиции, передаваемой от отцов детям, при которой одной могут быть воплощены в жизнь дела, достойные великого народа. Одно поколение для таких построений недостаточно, а метанье из стороны в сторону ряда поколений и совсем делает недостижимым осуществление великих исторических задач. Но именно потому, что такие задачи — не дело одного поколения, неизбежны времена, когда они ставятся на очередь, не бывают времена их немедленного осуществления. Другими словами, задолго до своего осуществления эти задачи являются в качестве идеалов, и очень благоразумные люди всегда имеют возможность объявить их преждевременными и несозревшими.

Конечно, ничего незрелого не было в идеалах декабристов. Это те самые наши идеалы, которые теперь другой породой людей, чрезмерно нетерпеливых, объявляются уже запоздавшими, хотя они и не были еще осуществлены в русской действительности. Была осуществлена только основная идея декабристов и основная мечта всей русской культурной традиции. Недаром Н.И. Тургенев, «внимая» декабристам, «провидел в сей толпе дворян — освободителей крестьян». Другие социальные и политические идеи декабристов еще ожидают своего осуществления. Было ли неразумно уже во времена декабристов поставить их на ближайшую очередь и сделать задачами практической политики? Мы этого не думаем. Осуществленные тогда, конечно, эти идеалы осуществились бы не в той форме, в какой мы хотим их осуществления сейчас. Но и осуществленные в иной

форме, они изменили бы весь ход последующей нашей политической истории и, быть может, избавили бы Россию от того глубокого потрясения, которое она испытала в момент революции 1917 года. Если только вспомнить, что предостережения Сперанского Александру I относительно устарелости самодержавного режима были сделаны почти в тех же самых выражениях, как и предостережения Витте Николаю II, и что те и другие были оставлены без всякого внимания, на первый раз без особенно дурных последствий, а в последний раз с последствиями катастрофическими, то нельзя будет уйти от вывода, что и у идеалов есть своя историческая неизбежность, пренебрежение которой наказывается весьма жестоко.

Понимал ли Пушкин то, чего не хотел понимать ни Александр I, ни Николай I? Мы думаем, что понимал. Иначе он не написал бы в своем «Послании в Сибирь» тех строк по адресу декабристов, которые часто цитирует г. Гофман.

Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье...
Придет желанная пора,
Темницы рухнут и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам подадут.

Это писано в 1827 году, всего за три года до печатаемого сегодня отрывка. Содержание этого отрывка не ново. Но нова и чрезвычайно интересна попытка Пушкина бросить целый исторический взгляд на пережитые годы и поставить декабристское восстание в ту тесную связь с современными европейскими событиями, в которой оно и приобрело свой настоящий смысл. Здесь тоже есть своя закономерная традиция...

Александр I в этом ретроспективном взгляде получает весьма нелестную характеристику. «Нечаянно пригретый славой, властитель слабый и лукавый», он был «очень смирен» после поражения под Аустерлицем в 1805 г., в «грозе двенадцатого года» поэт различает «остервенение народа». Но после поражения Наполеона «стал ропот ниже» и «плешивый щеголь, враг труда» очутился в Париже «главой царей». Далее следует скептическое замечание насчет «русского нашего глупого народа», полагающегося и в войне и в мире на русское «авось», на этот «народный шиболет». В результате «моря достались Альбиону», а «аренды» — «ханже» А.Н. Голицыну, которого «так же мало надежды запереть в монастырь», как вернуть декабристов их семействам из Сибири или исправить русские дороги...

И вот картина меняется. Александр I, «измученный казнью покая», «исчезает как тень зари» в своих скитаниях, а на его закате ис-

панские офицеры, Риего и Кирога, которыми бредили декабристы, «потрясли грозой Пиренеи», поднявшие в 1820 г. восстание в Испании во имя конституции 1812 г. Зажженный в середине 1820 г. другим восставшим генералом Пепе, «пылал вулкан Неаполя», из которого сбежал испуганный король. Наконец, на глазах самого Пушкина в Кишиневе, куда его привела судьба в 1821 г., гетерист¹ и адъютант Александра I, Александр Ипсиланти, уже давал сигнал греческого освобождения, готовясь перейти Прут с немногими добровольцами. Волнуется, наконец, и Семеновский полк, предавший Павла его палачам в ночь на 11 мая 1801 г. Но Александр спокоен: он «всех уймет со своим народом».

Новая перемена картины. Священный союз² торжествует над европейскими революциями. «Народы присмирели снова». «Царь пошел кутить пуще». И в этот момент готова вспыхнуть «искра пламени иного», «быть может, уже издавна» тлевшего в идейных предшественниках декабристов. «За рюмкой водки, за чашей вина», «между лафитом и клико» начинаются «дружеские споры» у Никиты Муравьева «осторожного», у Ильи...(?) Этот момент надевания «демократического халата» увековечен уже в послании Пушкина к Давыдову (1821). «Народы тишины хотят, и долго их ярем не треснет. Ужель надежды луч исчез?» Пушкин отвечал тогда: «Нет, мы счастьем насладимся, кровавой чаши причастимся и я скажу: Христос воскрес». В нашем отрывке он только описывает, как невинные разговоры «над Невою льдистой» участников «Северного общества» превращались в «Южном обществе», в армии Витгенштейна под Тульчином, в «дела другого порядка». Там Пестель, с которым Пушкин лично познакомился в Кишиневе. Там «полны дерзости и сил» и «торопят» к разведке...

Г. Гофман приводит, со слов Николая I, заявление Пушкина, что 14 декабря он «был бы в рядах мятежников», — если бы не сидел в ссылке в Михайловском. Тут же, однако, он приводит соображения благоразумия, которые не позволили бы Пушкину принять участие в «русской романтической революции», которая «могла окончиться только крахом». Действительно, декабристы, неопытные заговорщики и литературные революционеры, принесли на Сенатскую площадь не решимость победить, а только мужество отчаяния и готовность к жертве. Возможно, что чувства эти были менее сильны

¹ Гетерист — участник подпольной организации (гетеры) за освобождение Греции во времена османского владычества.

² Священный союз — консервативный союз России, Пруссии и Австрии, созданный с целью поддержания установленного на Венском конгрессе (1815) международного порядка.

у Пушкина. Но ведь Пушкина и не приняли в заговор декабристов. Это, однако, не мешало ему всю жизнь подвергаться преследованиям правительства из-за недостаточно благоразумных литературных и словесных выступлений — и только к концу жизни прийти к мудрому правилу, что «плетью обуха не перешибешь». Перемену, произошедшую в Пушкине двадцатых годов, отрицать невозможно, и напрасно г. Гофман пробует это сделать. Достаточно припомнить изменившиеся суждения Пушкина о Радищеве, идейном предшественнике декабристов, не говоря уже о других данных, приведенных хотя бы В.А. Мякотиним в его книжке. Что в тридцатых годах в своем дневнике Пушкин выражался очень неуважительно о режиме, это более чем естественно и вполне соответствует трагической развязке 1837 года. Но это не противоречит не только применению правил практического благоразумия, но и серьезному изменению, по существу, взглядов на основные вопросы государственной жизни. То и другое, повторяем, суть факты, и притом новые факты, характерные не для Пушкинского «консерватизма» вообще, а для настроения последних лет его жизни.

Мы не сомневаемся, что если бы задуманная Пушкиным глава была написана, Евгений Онегин оказался бы таким же гостем в «семье» декабристов, каким был сам Пушкин. В генеалогии нашей культурной традиции Пушкин занимает место по иному признаку, чем признак политических убеждений. Но его близость к самому стержню нашей политической традиции, к «новым пуританам», все же остается существенной чертой его биографии. И не случайно то, что даже в период его консерватизма он нашел «излишним» совершенно справедливое по существу замечание кн. Вяземского, что 14 декабря было «критикой вооруженной рукой мнений Н.М. Карамзина в его "Истории Государства Российского"».

Последние новости. 1924, 28 декабря

ПЕТРОВСКАЯ ГОДОВЩИНА

Русская эмиграция только что помянула лекциями и статьями в газетах двухсотлетнюю годовщину смерти Петра Великого. Единодушие, которое проявилось по этому поводу, едва ли было вполне искренне. В наше время нападать прямо на Петра — неудобно. Остается, восхваляя его дело, истолковывать его по-своему. При таком комментарии Петр оказался удобен — если не для всех, то для

очень многих, а между тем от Петра в потомство идет только одна линия. Эту линию легко восстановить, если вспомнить, кто на протяжении этих двух столетий был за Петра и кто — против. Ее легко восстановить также, вспоминая, какая именно линия в русской истории подверглась нападению старых и новых староверов. Гораздо искреннее поступали и поступают те, кто, открыто осуждая эту линию, прямо объявляют войну Петру и его реформе... Так поступили в свое время авторы «Вех»¹. Так теперь поступают религиозные философы и мистики, отрицающие в истории все, что связано с освобождением человеческой мысли, воли и чувства от оков средневековой религии. В свои конфессиональные рамки они хотели бы упрятать все человечество. Естественно, что целых два последних века в истории России и шесть последних веков в Западной Европе не помещаются в этой схеме — и критикам остается объявить эти долгие века — цвет истории человечества — сплошным заблуждением и грехом.

Понятая в такой связи, реформа Петра, конечно, стоит им поперек дороги. Перетолковывать ее с этой высоты умозрения никак невозможно. Остается ее отвергнуть вместе со всей новой Европой. Это по крайней мере последовательно. Ибо, в самом деле, Петра не может признать по существу никто, кто отвергает в принципе секуляризацию жизни и мысли. Отвергающие Петра на этом основании должны отвергать, однако же, и всю русскую интеллигенцию во всех фазах и периодах ее существования. Ибо наша интеллигенция была светской с первого момента своего появления, которое не очень далеко отстоит от появления Петра. Хороша она или дурна, но русская интеллигенция есть порождение дела Петрова.

Те, кто отрицает русскую интеллигенцию, тоже по необходимости должны отрицать реформу Петра. Ибо оторвать одно явление от другого невозможно. Связь интеллигенции с секуляризацией жизни и мысли не есть даже явление специфически русское. Оно универсально, и всюду происходит из одних и тех корней. Корнями этими является отнюдь не произвол лица, хотя бы и гениального. Корень секуляризации лежит в неудержимом процессе мысли. Интеллигенция, отрицающая секуляризацию, не есть интеллигенция. Противники интеллигенции скажут, конечно, и слава Богу. Довольно с нас интеллигенции. Интеллигенция есть ненормальность в народной жизни, отклонение с правильного пути, с этого пути надо вернуться. Интеллигенция отделила нас от народа. Интеллигенция завела нас в дебри утопии. Интеллигенция есть причина всех русских бедствий. Долой интеллигенцию...

¹ «Вехи» — сборник статей (1909), в котором прозвучала резкая критика русской интеллигенции.

Эти изуверские крики нас не испугают. Свидетель нам Петр, которого нельзя отделить от русской интеллигенции. Если реформа Петра не аномалия в русской жизни, то не аномалия — ее неизбежные последствия. Русская жизнь с Петра не идет неправильным путем. Она идет столбовой дорогой. Антиисторично думать, что раз пережитую жизнь можно как-то переделать и пережить сызнова. Это невозможно, как невозможно взрослому человеку вернуть детство. Это было бы невозможно, если бы из детства взрослый человек вышел горбатым, ибо «горбатого могила исправит». По счастью, путь Петра и русской интеллигенции ничего не имеет общего с патологией.

Зачеркнув Петра и отделившись от монументальной фигуры Медного всадника, отрицатели Петра бредут затем разными дорогами: лучшее доказательство, что они не обладают абсолютной истиной, на которую претендуют. Одни из них пытаются восстановить связь, разорванную Петром, — связь с допетровским прошлым. Отбросив линию интеллигенции, они сочиняют себе собственную книжную генеалогию от какого-нибудь допетровского героя. Петр разрушил старорусский быт: они устраивают апофеоз московскому быту, идеализируя «тишайшего». Петр вырвал жизнь из тесных оков церкви. Они возжигают лампаду перед гробом Сергия Радонежского. Русская история от Петра написана неизгладимыми штрихами. Они пишут собственную историю, в которой эти новые главы опущены. Историческая наука вывела реформу Петра из их же любимого XVII столетия. Они не понимают, что ведь это значит ввести дух Петра в XVII столетие, а не дух XVII столетия в век Петра. И они торжествуют: видите, Петр не ввел ничего нового. Если он не ввел ничего нового, то почему же все двести лет вы не переставали на него сердиться? Или это было недоразумение? Но наука таких недоразумений уничтожить не может. Она может только сделать их предметом своего объяснения.

Да, в XVII столетии много такого, что потом вошло в Петровскую реформу. Но, во-первых, ведь это только начатки, а в Петре их завершение. А во-вторых, как уже сказано, тогда надо не на Петра взглянуть глазами XVII века, а на XVII век взглянуть глазами Петра. Великий грех русской жизни, ее отклонение с правого пути этим только переносится вглубь, на целое столетие раньше.

Есть и другой способ уйти от Петра, его отвергнув. Этот путь ведет не в московское прошлое, в котором нельзя найти ничего утешительного, а в далекий путь по странам восточной культуры. Тут есть свой блеск особых туземных культур, перед древностью которых юная Европа должна со смирением преклониться. Но учиться у них ей все-таки нечему. Правда, путешествие по Востоку, древнему и новому,

наводит путешественника на одну правильную мысль, могущую на первый взгляд показаться полезной для отрицателей Петровской культуры. Ведь вот видите, сколько оригинальных культур возможно помимо нашей казенной, якобы нормальной и образцовой культуры европейской! Можно, стало быть, и не заимствуя, достигнуть своеобразного культурного расцвета. И вообще, разве не своеобразна каждая страна с своей культурой? Разве, исходя из архинаучной идеи закономерности, нельзя найти в каждой стране особые, ей только свойственные законы ее существования и исторического развития?

Несомненно, эта аргументация тоньше и глубже предыдущей. Она не отрицает истории; напротив, она обвиняет в невнимании к истории своих противников. Несомненно и то, что история каждой большей части земного шара глубоко своеобразна. Вопрос только в том: разве это своеобразие так уже несводимо? Тогда мы пришли бы к теории неизменных культурных типов Риккерта–Данилевского. Наука не допускает такой остановки на готовых формах; она требует не только морфологического, но и функционального, и генетического изучения их с целью сведения к более элементарным факторам. При таком анализе в каждом своеобразии вы найдете элементы сходства. И даже не только параллельного сходства, а элементы прямого взаимодействия. Ибо глубокой ошибкой было бы думать, что мировые связи есть особенность века телеграфов и железных дорог. История распространения металлов, полезных животных в древнем человечестве научила нас не зазнаваться слишком нашими современными международными связями.

Так и этот способ — уход от Петра и от его европеизации в восточное своеобразие и в мнимую восточную неподвижность не находит себе оправдания в науке. Но он находит и прямое опровержение в самом Петре. Разве сам Петр не глубоко своеобразен и национален? И разве при всем своем своеобразии он не пошел в России общечеловеческими или, по крайней мере, общеевропейскими путями? И не потому он пошел ими, что заимствовал их из чужих стран. Тогда действительно можно бы было говорить, что Петр избрал неверный путь и заблудился и что не поздно исправить его ошибку и выйти на правильный путь. В истории таких «ошибок» не бывает, ибо самый выбор путей обусловлен внутренними возможностями. И то, что Петр мог пойти в России по такому пути, разве не есть апостериорное доказательство для маловерных, что европейские пути России не чужды? Разве вся история Россия после Петра не доказала окончательно, что Россия не Азия, а часть Европы?

Итак, оба пути современных противников Петра заводят в тупики. Спустя двести лет по смерти, Петр, как видим, продолжает оказывать нам услугу. Он остается не только нашим знаменем. Он остается жи-

вым критерием и продолжает самым фактом своего прижизненного и посмертного существования опровергать тенденциозные ошибки эпигонов своих былых противников. Низкий поклон перед памятью Петра и великое спасибо ему от многих поколений прогрессивной России.

Последние новости. 1925, 11 февраля

ВОСЬМАЯ ГОДОВЩИНА

Сегодня истекает восемь лет с тех дней, когда Петербургский гарнизон вышел из казарм с оружием в руках и решил участь старого строя. День за днем, час за часом записаны и напечатаны события 27–28 февраля и 1 марта. Прибавить к ним нечего, да быть может, и не для чего. Чем дальше в прошлое будут уходить эти три дня, тем больше должна выделяться их историческая рельефность. В них, как в заключительном аккорде, всегда будут звучать все основные мотивы подготовлявшейся и разразившейся бури; они навсегда останутся гранью, за которую России нет возврата, но именно это с течением времени и должно заставлять в их годовщину переживать эту грань как исторический символ всего того, что предопределило ее и привело к ней.

Современникам трудно встать на такую точку зрения. Повседневный быт недавнего прошлого еще слишком жив, он слишком связывает настоящее с прошлым, ибо по обе стороны грани, разделившей историю России на два периода, еще живут те же самые люди с теми же самыми чувствами и с тем же самым складом мыслей. Грядущие поколения будут лишены этого чувства живой связи и для них все значение исторической грани, нами перейденной, предстанет во всем своем значении. Это поколение, не связанное рамками личной жизни, прежде всего отчетливее представит себе все то, что закончили дни 27 февраля — 1 марта.

В данное время уже нет никакого сомнения, что все содержание второй русской революции определилось шестидесятилетием, протекившим с момента освобождения крестьян от крепостной зависимости. То, чего добровольно, во имя общественных интересов царская власть не хотела уступить в 1861 году, было взято народом в 1917 году. Это и есть завоевание революции, как бы ни хотелось многим стереть эти слова, высмеять и опошлить их: свобода и земля. Пусть сейчас в России властвуют большевики — мы знаем, что это лишь на время, но

земля перешла в руки народа навсегда, и вотчинно-самодержавный строй отошел навеки. И недаром в эмиграции уже нет ни одного политического течения, которое не считало бы своим долгом, прежде всего, заявить, что в будущем в России земля должна остаться у крестьян, а власть должна принадлежать народу. Теперь это стало для всех обязательным. Но надо помнить, что еще 26 февраля 1917 года это считалось «ниспровержением существующего строя». Необходимо хорошенько продумать пройденную эволюцию всеми теми, кто до 1917 года стоял в рядах «существовавшего строя», слепо защищал его архаическую структуру и упорно отказывался увидеть и понять нараставшую народную нужду. Тогда эти люди отрицали принцип принудительного выкупа земли, они утверждают факт ее захвата. Тогда они утверждали самодержавную власть царя, теперь они пытаются ее восстановить. И им больше, чем кому-либо другому, надо просто и по совести признать, что февральская грань 17-го года есть действительная грань и что ею наше социальное и политическое прошлое навсегда отрезано от будущего.

Но если содержание революции 1917 года, как мы сказали выше, было predetermined длительным периодом предшествовавшей борьбы, то ее характер сложился в последнюю минуту, исключительно под кровавым и жестоким влиянием войны. И этот характер тоже затушевывал роковую неизбежность содержания революции. В эмиграции вошло в моду говорить о «патологическом состоянии» русского народа, и этой неожиданной всенародной болезнью объяснять происшедшее. При этом причину болезни видят в самой революции, и начало ее относят к 1917 году. Забывают, что «патология» зверства, разрушения и убийства началась на три года раньше. Забывают, что не народ решил войну, но народ изо дня в день в течение трех лет разрушал и убивал, и что все это считалось не «патологией», а героизмом.

«Революция» или «бунт» — до сих пор спорит эмиграция. Надо думать, что в сознании истории эти слова отразят одну и ту же сущность — «ниспровержение существующего строя». Но 1914–1918 годы поставили перед культурным миром другой вопрос — война или просто грабеж и убийство. И если на этот вопрос еще нет ответа, то, во всяком случае, есть данные для него. Особенно резко сказались они в России — война приучает народ к грабежу и убийству, ибо ее правило — «убей, или сам будешь убит, отними, или у тебя отнимут». И здесь — в этом кровавом мировом ужасе — есть тоже свое отражение революции, т.к. она показала, что значит вооружить народ и повести его на длившееся годами уничтожение и разрушение. С «патологией фронта» народ вернулся в страну и начал изживать привитую заразу у себя дома.

Так сложилась и так вылилась русская революция. Едва ли можно было придумать для народа более жестокие условия. Чтобы вынести и пережить полученное наследство, быть может, нужны были еще большие силы, чем те, которые ушли на великую войну, а, главное, нужна была вера в то, что принесенная жертва не пропадет даром и во имя ее народ, наконец, дождет минуты, когда его вековые чаяния будут выполнены. Этой веры в народе не было — она была давно убита правительством «30 000 помещиков» и стольких же полицеймейстеров. Озлобленный и обессиленный войной, потерявший веру во власть, снятый с места и вооруженный с ног до головы народ стихийно двинулся и многое в свою очередь разрушил. До сих пор он изживает этот сдвиг и еще долго будет изживать, но гибельная пропасть уже миновала. Была минута, когда существовала опасность, что, поверив новому обману — обману большевиков, Россия неуклонно приближалась к своей смерти. Эта минута прошла. Страна увидела обман, не пошла за лжецами и теперь неуклонно близится к своему освобождению от последнего, самого уродливого и жестокого пережитка прошлого.

В том, что страна, перенеся войну, революцию и большевизм, сохранила свою жизнь, сказались вся сила народа. Пройдут года, затянутся нанесенные и полученные глубокие раны, и люди перестанут говорить о «патологиях» народа. Они поймут всю глубину его вековых страданий и признают, что от этих страданий народ избавился благодаря завоеваниям революции 1917 года — такова грань, положенная тремя историческими днями в жизни России.

Последние новости. 1925, 13 марта

ЛИБЕРАЛИЗМ И СОЦИАЛИЗМ

В XXIII книжке «Современных записок»¹, по обыкновению богатой не одним беллетристическим, но и публицистическим материалом, особое внимание обращает на себя продолжение статьи Гессена «Проблемы правового социализма», по поводу которой нам уже приходилось говорить на этих страницах. Мы отмечали интересную задачу, поставленную автором: тщательно исследовать те малоизученные

¹ «Современные записки» — ежемесячный общественно-политический и литературный журнал, выходивший в Париже в 1920–1940 гг. Издавался при участии Н.Д. Авксентьева, И.И. Бунакова, М.В. Вишняка, А.И. Гуковского, В.В. Руднева.

области мысли и политики, где либерализм граничит с социализмом. В первой статье г. Гессен показал, что резкий контраст между старым, ортодоксальным либерализмом и социализмом в значительной степени смягчен эволюцией либеральной мысли в «новом либерализме». Там нам приходилось во всем соглашаться с автором. Теперь он продолжает развивать свою мысль, постепенно переходя из бесспорной области в области все более и более спорные. Но спорность эта является результатом «продумывания до конца» основных мыслей г. Гессена, и эта попытка — продумать их — сама по себе является ценной заслугой автора, как бы мы ни отнеслись к его окончательным выводам. Воздав ранее должное «новому либерализму», г. Гессен на этот раз останавливается на его недостатках. Основным недостатком является компромиссный характер нового либерализма. При всей его новизне у него «верность результатам правоверного либерализма на деле значительно превосходит ту верность идее правового государства, которую мы старались вскрыть». Поэтому на новый либерализм и смотрят обыкновенно, как на внутренне противоречивую попытку укрепить современный общественный строй частичными, у социализма «заимствованными уступками». Задача г. Гессена заключается в том, чтобы доказать, что и у нового либерализма имеется своя цельная идеология, которая «продуманная до конца, несомненно, должна прийти к выводам, уже вплотную приближающимся к тому, что составляет реальное содержание большинства программ современных социалистических партий». Г. Гессен хочет, так сказать, победить лень мысли нового либерализма и продумать за него его основные предпосылки, довести до логического конца его основные уступки. Если все дело только в последовательности мысли, то очевидно новый либерал должен будет пройти весь путь вслед за рассуждающим от его имени автором — и таким образом, «приблизиться вплотную к социалистическим программам». Потом г. Гессен предполагает проделать ту же процедуру с современной социалистической мыслью и приблизить ее к новому либерализму. Понятен глубокий интерес этой двойной попытки.

В основу доказательства г. Гессен кладет ту мысль, что половинчатость и недодуманность нового либерализма, лишаящие его выгоды, имеют собственное цельное мировоззрение, вызывающиеся тем, что либерализм продолжает влиять «остатками механического взгляда на общество». В предыдущей статье г. Гессен совершенно правильно доказывал, что новый либерализм уже отказался, в сущности, от старого атомистического взгляда на человеческое общество. Теперь ему остается лишь доказать непоследовательность либерализма, сказавшуюся в сохранении пережитков старого взгляда, — и он поставит либерала в необходимость додумывать свою

новую позицию до конца. В частности, сохраняя понятие частной собственности (с чем г. Гессен вполне согласен), старый либерализм допускал ограничения собственности только по отношению к тому виду «незаработанного дохода», каким, по понятию прежней политической экономии, являлась «рента». Но раз допустив, что рента должна быть «социализована», либерал уже должен автоматически распространить то же ограничение монопольной собственности и на «прибыль», если будет доказано, что «прибыль» не менее «ренты», а может быть, и более, как утверждают некоторые современные экономисты, может оказаться доходом, незаслуженным «предпринимательским талантом руководителя предприятия». Частная собственность оказывается на деле гораздо более «опутанной» правами на нее со стороны общества, чем думают новые либералы. Мало того, именно после того, как общество возьмет от собственности все то, что создано не собственником, а окружающей его общественной средой и ее функционированием, — только после этого восстановится право индивидуального собственника на очищенную от всех общественных сервитутов часть собственности. Таким образом, «социализация» идет об руку с «индивидуализацией», чего старый либерал никак не мог допустить. Г. Гессен оговаривается. Здесь, как и в других случаях, он требует от либерала только отказа от принципиального отрицания элемента «общности» в частной собственности. Этим не только не исключается практическое обсуждение уместности в данный момент того или иного шага правового опутывания собственности, его целесообразности, экономической дозволенности и т.п., но, напротив, оно «прямо требуется самым методом правовой социализации собственности».

Если до сих пор и с этими оговорками мы можем идти за автором в расширении старого — или хотя бы и нового — либерального понятия о социальных ограничениях собственности, то следовать за ним дальше становится уже труднее. А именно, г. Гессен объясняет «остатками того же механического взгляда на общество и вторую ограниченность нового либерализма, именно недостаточное признание им реальности коллективности лиц». Не то, чтобы «коллективная собственность» была «безусловно и принципиально лучше собственности, принадлежащей так называемым частным лицам». Та и другая, в сущности, есть «частная», и социализация заключается не в замене одной другою, а во «внутренней пронизанности той и другой моментом общности». Но надо отказаться от «принципиально-отрицательного отношения к коллективной собственности», признав, что именно в этой области «социализация» может пойти скорее и дальше, не исключая «творческой напряженности (коллективных) лиц к своей собственности». «В целом ряде производств при все повышающемся тоне конкурен-

ции, при все усиливающейся социализации и при все возрастающих требованиях права к собственнику сохранить интерес к собственности смогут только коллективные лица». Таким образом, произойдет «перераспределение собственности» в направлении нахождения ею «наилучшего собственника».

Дальнейший шаг г. Гессена заключается в перенесении получившихся таким образом выводов из экономической сферы в сферу политическую. Тут в особенности г. Гессен требует от либерализма замены «механического воззрения на общество», выражающегося в «чисто количественном суммировании субъективных интересов отдельных атомов — граждан», новой системой, при которой получают политический вес «коллективные лица». Здесь автор близко подходит к истолкованию «кризиса демократии», как вызванного «выявлением общих интересов по способу количественного собирания отдельных избирателей». Режим политических партий, всеобщее избирательное право и т.д. — все это суть остатки «механического воззрения», которое г. Гессен хочет заменить новым «органическим» воззрением. Конечно, с точки зрения автора, «распространение избирательного права на коллективные личности, на союзы-общности, являющиеся носителями общих, т.е. объективных интересов хозяйства и культуры, имеет своим сокровенным мотивом не измену демократии, но ее сохранение».

Уже в этой стадии мысль г. Гессена сливается с взглядом Родбертуса и с учением «гильдейского социализма»¹, и автору придется поставить вопрос: «Но есть ли это возврат к средневековью?» Но г. Гессен делает и еще шаг навстречу некоторым новейшим учениям этого же типа. Покинув «механическое воззрение» старого либерализма, он переходит от него не к «динамической социологии», а к новейшим спиритуалистам. Он хочет скорректировать односторонний и «ложный экономизм современной жизни», в котором видит еще одну «ограниченность нового либерализма», «выходом за его пределы» — в область «безусловных начал». Он полагает, что именно в этом направлении должно действовать, например, возвращение от обезличенной работы на неопределенный рынок к индивидуализированной работе на определенного потребителя — в стиле средневекового домашнего производства. Эта метаморфоза одухотворит труд рабочего и вернет ему личность и радость труда.

Мы думаем, что в своем стремлении расширить «ограниченность либерализма» до пределов цельного мировоззрения, г. Гессен далеко

¹ Гильдейский социализм (гильдеизм) — учение, выдвигавшее идею о переходе к социализму путем передачи национализированных предприятий в управление национальным гильдиям, объединяющим трудящихся в той или иной отрасли производства.

ушел от задачи, которую себе поставил. Это не лишает интереса его работу, но она много проигрывает в доказательности. Даже и «продумывание» до конца идеологии либерализма не уполномочивает, по нашему мнению, на такое расширение вопроса. А вернувши либерализм к позиции «целесообразности», мы, быть может, откажемся от кое-чего и в пользу добровольно предпочтенной «непоследовательности», «половинчатости» и «ограниченности» либерализма не как философской доктрины, а как определенного политического направления, связанного определенной актуальной программой.

Последние новости. 1925, 27 марта

ТРЕТИЙ МАКСИМАЛИЗМ

Это меткое определение дано самим себе представителями направления, носящего тоже данную самим себе кличку «евразийства». Мы находим это определение в только что вышедшем четвертом выпуске «Евразийского временника»¹. «Кроме максимализма социал-коммунистического и максимализма реставрационного», говорит один из авторов этого сборника, П.П. Сувчинский, должна быть найдена и уже обретается третья система идей, для осуществления которых необходимо сосредоточить новую воленарправленность и выделить новые поколения и кадры поданных идей. Мы называем эту систему максимализма «евразийством».

Без «максимализма» русская интеллигенция, как известно, никак не может обойтись. Мы давно уже утверждали, что и религиозно-философское течение, начавшееся с «Вех» и имеющее свой более молодой отпрыск в «евразийстве», несмотря на всю свою борьбу — с пеной у рта — против максимализма русской интеллигенции, само составляет плоть от плоти русской интеллигенции и как таковое — максималистично. Правда, максимализм «евразийства» имеет мало шансов так расцвести и приобрести такое огромное влияние на русскую интеллигенцию, какой имел максимализм старого типа. Но все же известную долю влияния это течение имеет на наших «детей». Присматриваться к нему поэтому бесполезно. Четвертый выпуск «Евразийского временника» дает для этого ближайший повод своими начальными статьями, в особенности первой из них, принадлежащей

¹ «Евразийский временник» — неперидическое издание, выходило под редакцией П.Н. Савицкого, П.П. Сувчинского, Н.С. Трубецкого в Берлине в 1923–1927 гг.

перу г. Петра Савицкого и имеющей целью резюмировать основную идею евразийства для тех читателей, которые не следили за прежними сборниками интеллигентского кружка. В исходных точках мышления евразийцев много верного, хотя и не принадлежащего именно этому течению. Это верно, в известном смысле, пожалуй, и ново. Оно ново по отношению к старому типу максимализма. Не ново и неверно то здание, которое строится на нескольких исходных верных положениях, принадлежащих современной науке. Не ново, потому что оно, в сущности, построено в том же стиле и даже с теми же деталями, как и здание, в свое время противоположавшееся прежнему максимализму. Неверно, потому что построенное с определенными задними мыслями, оно искусственно подгоняет к ним те верные «научные истины», которые кладет в свою основу.

Проверим эти замечания на вступительной статье г. Савицкого. Он начинает с защиты «географического» названия своего направления. Действительно, «Евразия» есть термин, допускающий вполне научное употребление. Очень жаль, что «евразийцы» своим употреблением этого термина грозят испортить его для ученых. Название «Евразии», как промежуточной и переходной полосы континента между Европой и Азией, очень метко отмечает своеобразие этой полосы, делающее ее переходной. Беда только в том, что из таких переходов состоит весь материк Европы, и между Евразией наших евразийцев и западной частью Западной Европы можно было бы вклинить еще одну Евразию, а на Азиатском континенте, в случае желанья, можно было бы отыскать еще одну Евразию. Если Россия непохожа на Францию, то ведь, в сущности, непохожа на нее и Германия. А между Германией и Россией можно было бы найти еще одну Евразию в виде западных губерний прежней России. Из подобных переходов состоит не только царство растительное и животное, но и царство антропогеографическое. Но никто не думает закреплять все переходы в самостоятельные типы. И в закреплении одного из них евразийцами нельзя не видеть дурного отголоска устарелого учения о неподвижности и неизменяемости культурных типов, которое защищал один из его учителей — Н. Данилевский. Евразия, как ипостазированный «третий континент», есть печальное проявление того метафизического «реализма» (в противоположность научному «номинализму»), которым одержимы наши религиозные философы. Одна ошибка влечет за собой другую. Географический абсолютизм евразийцев служит для них пьедесталом для культурно-исторического абсолютизма. В своей «Евразии» они помещают особый русский культурно-исторический тип. Если угодно, вполне научна та черта, что они отличают этот тип от «славянского» и ищут в нем родства с «туранским». В ста-

тье кн. Н.С. Трубецкого «о туранском элементе в русской культуре» есть верные факты, конечно, не автором впервые отмеченные. Но основная тенденция этой статьи — противоположение «татарской школы», через которую прошла Россия, — «школе романно-германской» — глубоко ненаучна. В частности, в какой из этих двух «школ» Россия научилась большевизму, еще большой вопрос. Автор утверждает, что в европейской. Можно с большим основанием утверждать, что в «татарской». А строго научно анализировать явление объективно и указать элементы той и другой «школы».

Окончательно научными евразийцы становятся, когда от этих констатирований переходят к определению «некоторой общей концепции культуры», и в особенности когда они из этой концепции «делают конкретные выводы для истолкования ныне происходящего». Нетрудно, конечно, догадаться, что и вся видимость науки нужна им исключительно для этих прикладных выводов. И именно тут они в особенности рабски следуют своим предшественникам, славянофилам.

Что касается «общей концепции культуры», тут еще встречаем некоторые нововведения. А именно, «евразийцы примыкают к тем мыслителям, которые отрицают существование универсального “прогресса”». «Нет общего восходящего движения, нет постепенного общего совершенствования»; «нет народов огульно культурных и некультурных». Конечно, славянофилы, основывавшиеся на идее Гердера о постепенном «воспитании человечества» и Гегеля — о восходящем диалектическом процессе воплощения абсолютной идеи, не могли бы подписаться под этими утверждениями. У них был известный критерий совершенствования человечества. Не могли бы, разумеется, разделить этого взгляда и эволюционисты, и динамические социологи. Но, как и отрицание чересчур самоуверенных схем мировой истории, как реакции против самомнения европейцев и против учения о «низших» и «высших» расах, выписанные положения вполне приемлемы. Только что же строят евразийцы на своем отрицании всякой общей тенденции исторического процесса? Они совершенно упускают из виду главнейшее приобретение, которое наука получила из отрицания концепции всемирной истории и непрерывного прогресса. Приобретение это состояло в том, что зато твердо усвоено было понятие внутренней эволюции в истории каждого народного и государственного организма. В истории народов при помощи новой концепции был открыт свой закономерный «онтогенезис», одинаково присущий каждому отдельному историческому организму и в общем ходе однородный, проходящий те же стадии. Это понятие в «стадии развития» совершенно утеряно евразийцами. В результате их мысль вернулась далеко назад, к вре-

менам до «новой науки» Вико. Правда, упустив из вида «стадии» процесса, они пытаются возместить это выдвиганием на первый план отдельных «сторон» процесса. Шпенглер сумел совместить это выдвигание «сторон» с параллелизмом «стадий». Евразийцы этого не умеют, или не могут сделать, ибо допущение однородных стадий «параллельных» процессов было бы смертельно для всего их философско-исторического построения. С «расчленением по отраслям» культуры и с забвением ступеней развития их история безнадежно рассыпается в куски, ничем не связанные. Какой громадный регресс даже сравнительно с другим их учителем — Константином Леонтьевым, у которого представление о неизбежной, роковой смене стадий развития каждого народа составляло основной стержень и нерв его учения. Правда, это признание неизбежности повсюду наступления стадии «эгалитарно-либерального прогресса» было трагедией Леонтьева. Евразийцы от трагедий далеки.

Дальнейшее достается им очень легко. Европа развила примат экономики над религией. Россия утверждает примат религии над экономикой. Большевизм есть следствие неправильного усвоения европейского примата перед русским. Лечение от большевизма заключается в возвращении к национальному русскому примату от европейского. Разумеется, религия при этом и мыслится без дальних аргументов — хотя бы славянофильских — как религия православия. Доказательств не требуется. Остается, однако, еще одно звено для перехода от этой исторической конструкции к «современности». Как перейти от высокой сферы религии к низменной сфере «ныне происходящего»? Из статьи г. Савицкого явствует, что тут — целая пропасть, через которую евразийцы никак перескочить не могут. «Основная проблема, которая в этом отношении стоит перед евразийством, есть проблема сочетания религиозного отношения к жизни и миру с величайшей, эмпирически обоснованной практичностью. Для славянофилов старого типа этот переход диктовался не «практичностью», а самой сущностью их учения о «внутренней правде», которая отрицала «правду внешнюю», т.е. государство. Попытки гг. Шахматова и Ильина в той же книге «Временника» как-нибудь сочетать ту и другую «правду» не дают удовлетворительного решения «проблемы». И г. Савицкий решается на героическое средство, прямо вытекающее из его «величайшей практичности». Она, эта практичность, повелевает евразийцам исключить возможность сентиментального отношения к этой задаче. Правда, «мир во зле лежит», и русский народ — тоже. Но «сознание греховности мира не только не исключает, но требует смелости в эмпирических решениях». Первое применение «смелости» мы видим в этом самом выводе.

Какое же, однако, будет «практическое» применение «смелости». Отказавшись от связи «мысли с действием», евразиец теряет всякий критерий и откровенно признается: «В практической области для евразийца снята самая проблема “правых” и “левых” политических и социальных решений». Итак, полная свобода... ибо «религиозный упор обретается вне сферы политической и экономической эмпирики». Религия — сама по себе, а «эмпирика» — сама по себе. Это область «адиафорон», безразличного. Однако же с одной поправкой. «Евразийцу органически присуще историческое восприятие». А следовательно, в области «практического» он будет руководиться «чувством продолжения исторической традиции». «Чувство», не правда ли, многообещающее в приложении к лишенным «сентиментальности»... «практическим» выводам? В XVI веке его называли — справка, полезная для любителя «традиции», — «богонаученным коварством». В XX веке оно называется иначе. По деликатному выражению евразийцев, это «максимализм против максимализма» (Сувчинский).

На этом интересном месте мы принуждены пока оставить вопрос о политических приложениях евразийства к «ныне происходящему»...

Последние новости. 1925, 2 мая

РОССИЯ И ЭМИГРАЦИЯ

Мы уже не раз останавливались на мысли, что между Россией и русской эмиграцией нельзя провести резкой, определенной грани. Они не только соприкасаются друг с другом, но и происходит непрекращающийся процесс взаимного влияния. Есть своя «эмиграция» в России, и есть Россия в эмиграции. Но этого мало — длится самый эмиграционный процесс из России, продолжается и иммиграция в Россию. С политической точки зрения, в зависимости от занятой позиции отношение к этим течениям будет, конечно, различное — к одному положительное, к другому отрицательное. С точки зрения бытовой, быть может, лучше сказать — исторической, говорить о симпатии или антипатии к фактам длящихся русских эмиграции и иммиграций не имеет цели. Здесь приходится признать самый факт и признать правильность положения взаимного не только соприкосновения друг с другом, но и влияния друг на друга. А раз такой факт существует в жизни народа, то существуют, очевидно, и его последствия, и центр исторической тяжести лежит не в первом, а в последних.

Два других факта еще более усиливают значение этого соприкосновения и влияния, т.к. постепенно и неуклонно ставят Россию и русскую эмиграцию лицом к лицу, устраняя из исторической русской обстановки все другие силы. Прежде всего, по мере отхода России от коммунистического пути устраняется из народной жизни советская власть-партия. Она остается еще пока, как власть-аппарат, но не за ней, как народной властью, будущее. Итак, непризнание народом «партии за народ» ставит перед народом задачу найти самого себя.

В то же время другой факт, имеющий цель диаметрально противоположную, сыграл решающую роль в жизни русской эмиграции и привел ее к тому же, к чему пришла и вся Россия. Мы говорим о признании советской власти как власти государственной (по крайней мере, официально) почти всей Западной Европой. При таком положении уже у всей эмиграции пропали надежды на Запад и остались лишь надежды на самое себя, на свои силы, а потому и перед ней встал вопрос, поскольку, чем и как она, уже одна, может помочь родине.

Так через реку западноевропейских иллюзий и коммунистических утопий перекинулся и все больше и больше крепнет бытовой, жизненно исторический мост из России в русскую эмиграцию и обратно. В России этот мост заложили ненависть к коммунистам и боязнь иностранцев, в эмиграции — та же ненависть к коммунистам и знание, а, стало быть, и понимание Западной Европы и причин ее решения — признать советско-партийную власть как власть государственную.

Таким образом, зачатки русского будущего как бы сконцентрировались в этой ширящейся и углубляющейся встрече России с ее миллионной эмиграцией, и понятен тот интерес, который рождается и в России, и в эмиграции при стремлении разобраться в столь различно прожитом восьмилетии большевистского режима, придавившего одних и выбросившего других.

Мы не собираемся в этой статье ни оценивать состав, ни учитывать удельный вес встретившихся, ни тем более охватить вопрос в его целом. Но его необходимо поставить перед собой и серьезно, постепенно анализировать, чтобы заранее установить точки полного согласия, уничтожить накопившиеся недоразумения и отделить ту область, где, благодаря столь различному многолетнему прошлому, успевшему выдвинуть новое поколение, отсутствует (конечно, временно) возможность взаимного понимания.

И хронологически, и логически на первом месте стоит февральская революция 1917 года. Хронологически, т.к. она является гранью, отделившей прошлую Россию от будущей. Логически, т.к. от признания или непризнания в февральской революции положительного и творческого начала зависит весь дальнейший путь. Если февральская

революция была только «бунт и разрушение», только «народное патологическое озверение», то все будущее России — в ее прошлом, и надо возвращаться туда, назад. Если же февраль 17 года есть итог сознательной борьбы, есть один из шагов по пути к давно намеченной цели, то несмотря ни на какие сторонние явления, ему сопутствующие, надо признать этот шаг и от него исходить к будущему.

Для нас нет никакого сомнения, что правильным является второе положение, ошибочным — первое. Наши «встречи с Россией» говорят нам о том же самом. Достаточно остановиться хотя бы на крестьянско-земельном вопросе, которому никогда не находилось места должного в дореволюционной России и который только февралем поставлен на первое место в стране. Большевики проиграли свою игру потому, что в этом отношении они не поняли сущности февральского переворота и по-старому взглянули на землю и крестьянство, как на средство, а не как на цель. Второе значение февральского переворота лежит в отказе от остатков самодержавия и в переходе к полному народоправству. До этого никак не могло дотянуться царское правительство, и на этом окончательно разошлись пути народа и династии. Не признают народоправства и большевики. Они тоже знают лучше народа, что ему — народу — нужно. И все последние события показывают, как и здесь пути власти и народа все дальше и дальше расходятся.

На крестьянском вопросе и на вопросе о народоправстве можно отчетливо видеть основной факт новейшей русской истории, который в России не только принят и «переварен», но о котором страна даже перестала говорить, т.к. не приходится же взрослым людям самим по себе повторять для памяти, что дважды два — четыре. В России февральский переворот 1917 года признан, и народ считает его первым положительным шагом к новой жизни. Это в данное время стало и для эмиграции таким общим местом, что ни одно из течений не рискует отрицать перемен, совершившихся в народной психологии в упомянутом отношении. Казалось бы, что встреча на «мосту» говорит о полном слиянии двух сторон. Но нет сомнения, что это только кажущееся слияние. Что нет единства среди эмиграции — факт достаточно известный, и о нем говорить не приходится. Приходится признать и другое — пока еще не во всем наблюдается единство и между Россией и теми эмиграционными течениями, которые в вопросе признания февраля 1917 года наиболее близко подходят к народной психологии в России.

За примерами ходить далеко не приходится.

Демократическая часть эмиграции пришла к окончательному выводу, что говорить о «народоправстве» в условиях послебольшевистской России значит говорить о «демократической республике», ибо никакая другая форма правления не сможет обеспечить для народа

сущности «народоправства». Что же касается России, то некоторые из наших встреч свидетельствуют о том, что такой вывод, хотя и существует там, но не считается в данное время «актуальным». Недоразумение опасное, ибо речь идет не о том, чтобы возводить крышу прежде постройки здания, а о том, чтобы приготовить для крыши тот материал, из которого можно будет сделать крышу, соответствующую зданию. Нельзя говорить, что народ ушел от советского коммунизма, но признал Советы как организационно государственную форму, и добавлять, что пока на этом и можно остановиться: будущее покажет, во что окончательно выльется верх здания. В том-то и дело, что при постройке необходимо предвидеть, во что может вылиться все здание, если хотят, чтобы работа дала прочные результаты. Повторяем, говорить о народоправстве в послебольшевистской России как об основном факте возрождения народной жизни и считать вопрос о форме этого народоправства крышей, которую можно «спроектировать» впоследствии, — это значит повторить уже пройденный путь от одного деспотизма к другому, утерев собственную цель; это значит повторить опять после февраля октябрь в той или иной форме.

Нет сомнения, что в дальнейшем жизнь устранил указанное недоразумение. Остатки монархического романтизма, парящие над республиканизмом, родившемся в народной жизни, исчезнут. И чем раньше это совершится, тем лучше будет для России и для той части эмиграции, которая в этом вопросе несколько, может быть, опередила страну. Эта статья, конечно, не исчерпывает вопроса о России и ее эмиграции. Она его ставит, и нам еще не раз придется к нему возвращаться.

Последние новости. 1925, 17 мая

СТРУВЕ — ЗАЩИТНИК «ЛИБЕРАЛИЗМА» И «ДЕМОКРАТИИ»

Мы не шутим. Бывают случаи, когда и Струве — не Струве, редактор «Освобождения»¹, а Струве «стоптанный тувель», Струве — редактор «Возрождения»², Струве — панегирист Николая Николаевича и Николая II, оказывается защитником «либерализма» и «демократии». Струве — не «словопоклонник», как мы, грешные левые, но он и

¹ «Освобождение» — ежедневный либеральный журнал, выходивший в 1902–1905 гг. в Париже под редакцией П.Б. Струве.

² «Возрождение» — газета, выходившая в Париже в 1925–1940 гг.

не «словоборец», как «глупые» монархисты. Он знает, что... от слова не станется.

«Мы (Струве всегда говорит о себе «мы») в нашем собственном духовном развитии и душевном росте познали диалектическую условность многих слов и практическую безусловность некоторых идей». Действительно, то, что у обыкновенных смертных есть перемена взглядов (не будем уже говорить: «измена» взглядам), то у Струве есть «диалектический» процесс, по Марксу и Гегелю, — процесс, в котором вскрывается в порядке «душевного роста» «безусловность идей». Эта философская терминология, как видим, служит прекрасную службу, составляя тоже наглядный пример пользы «слов», там, где не хватает понятий, — wo Begriffe fehlen*, как говорит Мефистофель у Гете. В диалектике Струве и «либерализм», и «демократия» тоже вполне приемлемы... если только объяснить их несколько иначе, mit andern Worten**, чем их обыкновенно понимают. «Мы (т.е. Струве) знаем ценность идей либерализма и консерватизма и цену слова демократия»!

Как же истолковать эти «слова», чтобы вернуть вкус к ним Струве и сделать его тоже «словопоклонником»? Очень просто. «Демократия» должна быть «консервативна». «Консерватизм, обнаруживаемый в формах демократии», есть фашизм, а фашизм близок сердцу теперешнего Струве. «Для нас (т.е. для Струве) демократия там, где народные массы достаточно консервативны, т.е. достаточно любят отечество и достаточно уважают собственность, есть вполне приемлемая, а иногда и явно самая разумная форма обнаружения народного консерватизма». Струве даже прощает «наиболее близкой нам по духу чешской партии («народной демократии») ее республиканизм («нисколько нас не шокирует») за то, что она глубоко националистична и в хорошем смысле буржуазна».

Конечно, мы могли бы удовлетвориться тем, что есть случаи, когда и Струве высказывается за республику и за демократию. Но, увы, его оговорки и его аргументация совершенно уничтожают эту кажущуюся уступчивость. И нам приходится, прежде чем принять всерьез новые плоды «диалектики» этого софиста, разобраться в том новом смысле, который он подсовывает старым словам.

Что демократия и республика должны быть «консервативны», чтобы существовать, в этом положении есть определенный смысл, с которым нельзя не согласиться. Не так давно Струве рекомендовал П.Н. Милюкову роль Тьера, который тоже говорил, что «республика

* Где понятия отсутствуют (нем.).

** В другом ответе (нем.).

должна быть консервативной, или ее не будет». Но Струве при этом противопоставлял Тьера Гамбетте: «республику консерваторов» — «республике республиканцев». В этом противоположении — и граница правильности его утверждения. Ибо отвлеченная категория «консерватизм», означающая просто переход «идеи» республики в привычку, в ежедневную принадлежность и потребность быта, подменяется здесь вполне конкретным понятием французских «консерваторов» данного момента, которые, как известно, весьма энергично конспирировали против и «идеи», и факта республики. Самому Струве в этом сравнении выпала бы на долю, очевидно, не роль Тьера, а роль Мак-Магона, и он устраивал бы новое свидание в Фросдорфе-Кобурге между русским графом Шамбором — Кириллом и русским принцем Орлеанским — Николаем Николаевичем.

Такую же кашу, как с Тьером и Гамбеттой, Струве устраивает в разбираемой статье с конкретными примерами «здорового возврата к консервативным началам» и с «жонглированием» (возвращаем Струве по принадлежности этот термин) понятиями «отечества», «национализма» и «демократии». В числе примеров «здорового возврата» упоминаются подряд, без всякого различия, Муссолини и Цанков, выборы Гинденбурга и «легальная смена парламентского большинства всеобщим голосованием» в Англии. И в Англии, и в Германии, оказывается, «достаточно консервативны для демократии». В действительности, в первом случае, в Англии, эволюция демократизма перерастает парламентаризм, переходя к формам прямого опроса народа, а во втором случае, в Германии, она едва дорастает до республики, и Гинденбург может оказаться ближе к Мак-Магону, чем к Тьеру, не говоря уже о Гамбетте. Об Италии, Испании и Болгарии в этой связи Струве совсем уже не решается упомянуть, понимая, очевидно, что о традиционном «консерватизме» народных масс в этих странах нельзя говорить в том же смысле, как о сознательном консерватизме их в Англии или даже в Германии. Словом, историческая аргументация Струве распадается как гнилая ткань, — по той основной причине, что Струве попробовал «жонглировать» тут применением многозначительного понятия «консерватизм». Дальше, освободившись от перечисленных им конкретных примеров, он жонглирует понятиями уже совершенно откровенно и чрезвычайно неискусно.

«Демократия, в смысле системы учреждений, может прочно держаться и нормально функционировать лишь там, где консервативен сам народ». Таков тезис Струве, извлеченный им из приведенных примеров. Ясно, что этот тезис также двусмыслен, как пестры и разнозначны самые примеры. «Консервативность» народа, как условие функционирования демократии, очевидно, нельзя понять в смысле сохранения традиций средневекового патернализма (вотчинного на-

чала), источающего демократизм. Традиционный «демократизм», по контовскому принципу «солидарности» (теперь Струве уже знает, что значит этот, столь неосторожно им использованный принцип), соответствует управлению народом при посредстве «хозяина» (монарха) и о «демократии» при таком режиме можно говорить лишь в условном смысле — демократии примитивного коллективизма. Что же касается развитой и созревшей демократии, как «системы учреждений», то необходимой предпосылкой для нее является не «консерватизм» в смысле сохранения традиций, а то, что Монтескье называл «добродетелью» *vertu**: готовность каждого гражданина «консервировать» и защищать эту «систему учреждений», подчиняясь вытекающим из нее необходимым ограничениям личной свободы. Такая гражданская добродетель предполагает известный уровень политического воспитания и сознательности в народе, и, действительно, без наличия этого уровня демократия и республика не могут существовать.

Что же делает Струве? Он подменяет это требование — политического сознания связи с целым — другим, сродным, но не тождественным понятием «отечества» и присоединяет, тут же, в духе своей доктрины, совсем не идущее к делу в этом порядке идей понятие «собственности». Оказывается, он уже пустил в оборот эту формулу «на одном русском собрании в Праге» — и так ею доволен, что считает ее удовлетворительной для Парижа и для печатного выступления. Струве ошибается: его формула чересчур кустарна, чтобы получить такое широкое обращение и признание. В идее «отечества» заключается, по крайней мере, понятие альтруизма, требование самоотречения, как и в понятии девической добродетели. В идее «собственности» заключается только призыв к защите личного эгоистического интереса. Вот почему эти идеи не могут стоять рядом, как реквизит существования демократии. Правда, в более древнем понимании идея «отечества» заключала в себе те же эгоистические элементы, тогда как представление о «собственности» не всегда соответствовало узкому понятию собственности по римскому праву. Социолог сказал бы, что всякий народ, даже и примитивный, — и примитивный народ, быть может, даже более в императивной форме, — обладает сознанием необходимости защищать то целое, к которому принадлежит. Там эта защита обеспечивается дополнительными религиозными санкциями. Но Струве не социолог, и в этой неспособности социологически мыслить заключается один из коренных дефектов его ума, вышколенного на германской, а не на английской и не на французской науке.

* Под (фр.).

Подставив более широкое и традиционное понятие «отечества» вместо понятия гражданской добродетели, как основы сознательного политического поведения масс, Струве затем, уже с тем большей легкостью заменяет и это понятие партийным понятием «национализма». Оказывается, что французскую республику «спасли» не высокий патриотизм и не высокий уровень политической сознательности французского народа, а «столь противный нашим левым национализм» и «буржуазный дух самих народных масс». Дальше, и Болгария свергла Стамбулийского потому, что «и болгарские демократы были и постоянными “националистами”, и добрыми “буржуа”». Что фашистский «национализм» тоже демократичен, Струве тут прибавлять не решается.

Едва ли нужно объяснять, что понятием «национализма» Струве здесь так же жонглирует, как и понятием «консерватизма». Под национализмом в обычном словоупотреблении разумеется шовинизм, утрированное чувство национальной исключительности. С понятием патриотизма, с любовью к «отечеству», с готовностью жертвовать собой за родину этот шовинизм не имеет ничего общего. Коренясь в средневековых инстинктах, этот вид «национализма» постепенно вымирает как раз в ту эпоху, когда развиваются гражданские добродетели. С понятием «демократия» он по принципу «солидарности» не только не связан, но даже противоположен ей, поскольку имеет воинственные настроения и толкает на агрессивную внешнюю политику. Таким образом, демократия без всякой благодарности вернет Струве его попытку — реабилитировать ее путем отождествления с тем, что ей глубоко несродно и противно.

Статья разрослась, а между тем остается еще один образчик струвевского жонглирования понятиями, которое нелишне было бы разоблачить. «Для нас (т.е. для Струве) консерватизм стоит на страже вечной основы либерализма, как политического утверждения христианского начала бесконечной ценности человеческой личности и ее творческой свободы». Было бы нетрудно доказать, что историческое христианство не всегда служило развитию «человеческой личности и ее творческой свободы», а иногда и прямо подавляло то и другое. Мы как-то имели случай вспомнить, по поводу Бердяева, что за ролью христианства, которую нельзя отрицать, но не следует преувеличивать, тут забывается роль гуманизма. Но Струве нужно — в гораздо более грубом и низменном смысле, чем Бердяеву, — связать настоящее с прошлым, с исторической традицией, и тут уже никакие искажения исторической истины его не останавливают. Струве как-то выдал себе диплом на звание «историка». Весь склад его ума глубоко антиисторичен. Публицистика

Струве догматична, как и его наука. Вот почему на каждом шагу приходится напоминать этому квазиученому самые элементарные истины, вот почему и Струве-публицист впадает на каждом шагу в самые грубые ошибки.

Последние новости. 1925, 19 июля

ПЕРЕЖИТКИ БЕЛОЙ ИДЕОЛОГИИ

Мы уже отметили эволюцию настроений редактора «Возрождения» по отношению к нашему органу. Сперва он рассчитывал убить нас профессорским высокомерием, потом перешел к методу вышучивания. Когда ни то, ни другое не удалось, он стал злиться и браниться, а когда не подействовал и гнев Юпитера, он пробует завернуться в тогу морального негодования. Нашу статью о планах монархистов он «регистрирует с изумлением и отвращением». К своим правым оппонентам, вроде упоминавшегося вчера г. Филиппова, он относит эпитет «глупость», на нашу долю остается «хорошо рассчитанная» «измена». При этом Струве возмущен, что «делается это (“измена и доносительство”) с какой-то непринужденностью и развязностью, которые еще не так давно были бы вряд ли возможны».

Мы верим в подлинность переживаний Струве и очень о нем сожалеем. Он слишком избалован атмосферой, которая окружала его в Праге. Естественно, что он очень обижается, когда не только не находит в Париже атмосферы привычного поклонения учеников профессору, но когда и все его аксиомы, облеченные притом в его собственные неувядаемые формулы и каноны, оказываются спорными, а при попытках защищать их — легкомысленными и поверхностными. Расчет Струве — пересадить в Париж умственные привычки Белграда и правой Праги — оказался ошибочным. Там, действительно, при строгой «дисциплине» и подчинении «сложившимся личным авторитетам» в известной среде никакая «непринужденность и развязность» в трактовании известных вещей не были «возможны». Там происходило и происходит то «строжайшее и ответственное блюдо», на котором Струве здесь тщетно настаивает. Увы, попытки окружить эти авторитеты — авторитеты людей и авторитеты идей — священным туманом и устроить культ их при помощи выпренных песнопений в Париже оказываются совершенно безнадежными. «Религиозному» отношению к политическим святыням Струве давно привык противопоставлять отношение светское, а догматическому трактованию их — трактование историческое. Отсюда та манера общения, которая привыкшему повиноваться и верить Струве кажется каким-то свято-

татством, нарушением субординации, чрезмерной «непринужденной развязностью», которые в прежней, привычной для него обстановке были «вряд ли возможны».

Мы должны решительно отклонить претензию Струве подчинить нас подобному режиму и в случае неповиновения — выслушивать его моральные выговоры. О монархических затеях мы говорим не первый год. Каждую весну нам приходится отмечать — и посильно разоблачать — таинственные замыслы, основанные на фантастических расчетах на европейские конstellляции и надеждах на приток материальных и иных субсидий. Подобные замыслы чем дальше, тем больше предназначаются служить не столько делу, сколько «понятию угасающего духа». Чем дальше, тем они становятся более рискованными для участников, а, в случае малейшей надежды на начальный успех, и опасными для того дела — освобождения России, которому призваны служить. В этой их беспочвенности и опасности заключается наше право критиковать их и раскрывать глаза на них тем, кто все еще в состоянии поддаться генеральскому гипнозу.

В основе «изумления и отвращения» г. Струве лежит происходящее на его глазах в Париже крушение последней, отчаянной попытки дать абсолютную религиозную санкцию «белой» идеологии. Устами Н.Н. Львова и И.А. Ильина он давно уже пытался, как редактор «Русской мысли»¹, раскрыть «сущность белой контрреволюции как идею «патриотически-религиозного служения», направленного к восстановлению «священного по природе монархического начала» в союзе с «рыцарской и дворянской традицией в мировой истории». Белая борьба воспринята была, с этой точки зрения, что «белая русская армия победила», несмотря на свое поражение, а Н.Н. Львов заявлял, что «только в Галлиполи² белое движение окончательно сложилось, от него отпало все наносное», и оно «окончательно сузилось и назвалось своим последним именем — движением монархическим». К будущему и обращены надежды тех, кто пытается консервировать отошедшие в прошлое факты в виде очищенной идеи с определенным, «суженным» до монархизма и дворянской рыцарственности, политическим содержанием.

¹ «Русская мысль» — литературно-политический журнал, выходивший в Москве (1880–1918). После его закрытия в советской России издание было возобновлено в эмиграции.

² В 1920–1921 гг. на Галлипольском полуострове разместились части Русской Армии генерала П.Н. Врангеля, эвакуированные из Крыма. Русский военный лагерь в Галлиполи превратился в военный центр Белой эмиграции. 22 ноября 1921 г. в Галлиполи было создано Общество Галлиполийцев — одна из активных воинских антикоммунистических организаций Русского Белого Зарубежья.

Мы достаточно потратили усилий на этих самых столбцах, чтобы покончить с легендой и мифом о белом движении. Мы признали все, что было положительного и высокого в «несуженном» белом движении, в первоначальном жертвенном порыве молодежи на спасение родины; мы настаивали на том, что только в измененной форме и с новыми методами можно спасти этот жертвенный порыв для будущего. Но мы признали, что и как «чистая идея» в духе Ильина и Львова, и как исторический факт белая борьба отжила свое время и должна уступить место другим формам борьбы, более соответствующим сложившимся теперь обстоятельствам. Мы видели в этой смене форм борьбы только изменение тактики, которая по существу должна быть вечно подвижной. Упрямые фанатики белой «идеи» увидели в этом нашу «измену». Жизнь научит их, наконец, понять, что со своей «идеей» они остались одиноки и что самую идею более практические и менее философски настроенные деятели монархического движения пробуют теперь обратить на служение задачам, вовсе не столь возвышенным, как превращение «гетерономного патриотического правосознания» в «автономное». Для Струве началом такой выучки явился Париж, и переход от догматической слепоты к прозрению, естественно, должен быть тягостен. Может быть, лучше всего научат его даже не наши критические замечания, а то толкование, которое его проповедь получает в рядах его теперешних последователей — истолкование, от которого от времени до времени он тщетно пытается отряхнуться, но которое прилипает к нему весьма плотно.

Логическим выводом и практическим применением неверно абстрагированной «белой идеи» является идея «преемства власти». Был момент, когда идея преемства власти имела практическое значение. Это было в начале февральской революции. Во имя этого преемства — двойного, от революции и от прежней законной власти, путем ее отречения было полезно и важно сохранить и довести до Учредительного собрания первый состав временного правительства. Но, как известно, этот состав за восемь месяцев переменялся пять раз с промежутками безвластия, все более длительными. Преемство утратилось уже в этом калейдоскопе, и едва ли кто-либо будет защищать мысль, что законным представителем власти в России является последний низвергнутый премьер Керенский. Едва ли также захотят вести это преемство от Учредительного собрания, разогнанного большевиками, как на этом очень долго настаивали эсеры. Мы отрицали такое преемство еще при создании комитета членов Учредительного собрания в Париже. После устранения всех этих, когда-то законных притязаний кому придет в голову связывать преемство государственной власти с командованием армии? И если еще тут

имела известный практический смысл идея преемства от Алексеева и Деникина, то уже в лице Врангеля преемство становилось сомнительным, а продлить эту линию в обратную сторону, в глубь истории, до «последнего главнокомандующего» (перед царем) Николая Николаевича, является уже слишком очевидной исторической нагрузкой. Таким образом, падает самая основа идеи «подчинения», которую так усердно проповедует Струве. Идея эта притом в корне испорчена тем употреблением, которое сделано было из нее ген. Кутеповым в Галлиполийском лагере.

Игнорируя все это — все исторические факты, предстоящие перед нами теперь в своей полной законченности и требующие соответственных выводов и новых практических решений, — Струве продолжает цепляться за пережитки белой идеологии, кое-как сохранившиеся в душной атмосфере Белграда, но развеваемые по ветру в свободной атмосфере Парижа. Он продолжает требовать от одних отказа от «самочинности» и, чтобы оправдать его, требует от других «воздержания от превращения сильной власти в самовластие и самодурство». В том и другом случае его проповедническая роль выходит одинаково бессильной и немножко смешной. Верха профессорской наивности Струве достигает тогда, когда продолжает утверждать, что эта самая власть, которая здесь, «в ее настоящей стадии, покоится на внутренней дисциплине и добровольческом подчинении», там, по ту сторону рубежа, «сможет стать принудительной властью». Как стать? Надо думать, в порядке «гетерономии» или когда, как говорил Ильин, «дисциплинирующая волна властно придет сверху»?

Да, таково действительно последнее слово эпигонов белого движения. Дело стоит за малым: захочет ли Россия принять такую «сверху» навязанную «принудительную власть», консервированную на Кутеповской «дисциплине»? Весь опыт белого движения 1918–20 гг. отвечает на этот вопрос отрицательно.

Последние новости. 1925, 14 августа

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Недавно мы определили политическую программу «Возрождения» на основании статей В.В. Шульгина, причем задали категорический вопрос, действительно ли взгляды этого публициста выражают направление газеты и правильно ли мы поняли эти взгляды: смысл и цитированных нами статей сводился к тому, что высшим идеалом должна быть признана неограниченная сословная монархия, в кото-

рой будет господствовать психология, именуемая «галлипольской», а на самом деле идущая от времен Николая I: не рассуждать, а исполнять, — и подданные не будут сметь свое суждение иметь о высших предначертаниях тех, кто находится «наверху». Такой же порядок, — хотя, может быть, во главе не сразу с монархом, а с диктатором — должен существовать в первое время после победы белых. И лишь на переходный период между начальной диктатурой и будущим окончательным восстановлением дворянски-монархических начал может быть допущено земское самоуправление, и, — в крайнем случае, — нечто вроде «земского собора»¹, и то под бдительным надзором фашистской организации, готовой в любой момент учинить переворот. На наше предложение опровергнуть наше толкование, если оно неправильно, ответа не последовало. Приходится сделать вывод, что мы правильно истолковали программу Шульгина и что эта программа, действительно, есть программа «Возрождения». В то же время, однако, П.Б. Струве, вместо того чтобы разъяснить, как мы его просили, платформу, объединяющую его с Шульгиным, выступил с некоторой своей «личной» программой, — действительно, чисто личной в том смысле, что она, очевидно, вытекала из какого-то «личного» настроения, обуявшего Струве в данную минуту, и никоим образом не вязалась со всем, что до сих пор писалось в «Возрождении» вообще и самим Струве в частности.

Мы тогда же указали, что при этом «личном настроении» не только нам, но и самому Струве незачем идти на зарубежный съезд, все здание которого, как оно определено на столбцах «Возрождения», целиком этому настроению противоречит.

В заключение всего этого «действия» передовая от 1 сентября, наконец, открыла для газеты общеполитическое мировоззрение. И нужно сказать, что это редакционное заявление еще более удивительно, чем все предшествующее. Орган «устроющей диктатуры» оказался представителем идеи... либеральной демократии.

Этот «пассаж» произошел, по-видимому, тоже под влиянием наития. Дело в том, что путанные объяснения газеты о «демократии» и «народоправстве», о демократии «пошло-революционной» и какой-то другой, «благородной» и контрреволюционной, вызвали, наконец, окрик справа, где нашли, что «Возрождение» недостаточно «отчетливо» выполняет «боевое задание» зазывания простодушных эмигрантов в стан реставрации. И газ. «Русь» напоминает «Возрождению» те основные истины белой «словесности», в которые предписано верить

¹ Земский собор — центральное сословно-представительское учреждение в Московском царстве в XVI–XVII вв.

всем верным воякам за кутеповские идеалы: «Идея большевизма — бесспорное логическое завершение идеи “свободы и равенства”. Эти последние «могут вдохновлять теперь только честных большевиков». И «само же “Возрождение” констатировало другое направление, в которое сворачивает история: христианская идея», которая во врангелевском понимании непримиримо противоречит и свободе, и равенству. Газета, «хранящая заветы преемственной власти», несомненно права в том смысле, что и «христианская идея» «Возрождения» точно так же исключает всякую свободу и всякое равенство — хотя, конечно, никакая история в эту сторону не сворачивает. Но «Возрождение» несогласно так прямо отказаться от всяких фиговых листков. И оно нашло выход, пытаясь соединить свою фашистско-христианскую идеологию ни более, ни менее, как со старым западноевропейским, манчестерским либерализмом.

«В понятия и слова “демократия”, в ходячем их употреблении, некритически свалены в одну кучу идея “социалистическая” и идея “либеральна”». Наша недвусмысленно провозглашаемая задача сводится именно к тому, чтобы реставрировать «либеральную демократию» и ее противопоставить как заклятому врагу общества — «демократии социалистической». Мы решительно отказываемся принять общественный идеал, одновременно проповедующий личную свободу и социальное равенство. Мы считаем, что тут надо выбирать. Мы свой выбор сделали. Мы выбрали свободу, с которой сочетаем лишь один вид равенства: формальное равенство перед законом. Равенство материальное, социальное, социалистическое, пайковое — с личной свободой несочетаемо и должно быть отвергнуто. Однако «между либерализмом начала XIX в. и нашим либерализмом есть существенная разница, которую нельзя достаточно решительно подчеркнуть. У нас общая идеология — мы выдвигаем, как и выдвигали тогда, личную свободу, как величайшую общественную ценность и как исходный двигатель общественного целого. Мы очерчиваем примерно тот же круг личных прав, неприкосновенных для государства.

Но у нас различные религиозно-метафизические предпосылки. Мы считаем личную свободу неприкосновенной не потому, или — вернее и точнее — не только потому, что это наилучший технический способ достичь общего благополучия, а потому, что, как христиане, мы считаем человеческую личность величайшей ценностью».

Все это «критическое» противопоставление «свободы и равенства», которым можно было заниматься в (для того времени наивных) немецких учебниках полвека тому назад; вся война с «социализмом» на этой почве сейчас годится только для людей, не имеющих понятия об истории и современных направлениях европейской полити-

ческой мысли. Прежде всего, никакого «либерализма начала XIX в.» не было: самое это слово постепенно входит в обиход лишь со второй четверти этого века. Но на континенте у либерализма был гораздо более ранний идеологический источник, общий у него с чисто демократическими и отчасти с социалистическими течениями. Эта настоящая идейная родина европейского и либерализма, и демократии есть доктрина французской революции, нашедшая свое высшее выражение в декларации прав 1789 года¹, — документе, с которым «возрожденским» «либеральным демократам» достаточно будет ознакомиться, чтобы потерять всякую охоту к исканию идеологических прецедентов в истории европейских освободительных доктрин. Эта доктрина, основанная на неразделимых началах свободы и равенства, действительно, не противоречила христианской идее личности в евангельском смысле. Но предшественников для своего «христианства» «Возрождению», во главе с г. Ильиным, нужно искать у де Местра и других представителей реакционной романтики начала XIX века. Позднейший «либерализм» в узком смысле, действительно, односторонне подчеркивал начало неограниченной свободы конкуренции в экономической области и сводил роль государства к узкополицейским задачам, вследствие чего пришел, у Бастия и т.п., к чему-то вроде «буржуазного анархизма». Как бы то ни было, этот старый либерализм давным-давно исчез с европейского политического горизонта по той причине, что он просто не мог совладать с фактами экономического развития, с образованием мощных объединений капитала и труда, фактически устранившего во многих случаях полную свободу конкуренции и т.п.

Но в одной только Германии его место оказалось ничем не заполненным, что и привело к фатальному столкновению сил реакции и социализма. Во Франции наследство либерализма перешло к радикализму, который любит прибавлять к своему названию слово «социалистический» совсем не потому, что он сколько-нибудь разделял идеал коллективистской организации труда, который он, напротив, отвергает, а потому, что он считает нужным защищать личность не только против «насилия» и «обмана», но и против иных форм угнетения, развивающихся на почве нужды и злоупотреблений богатством и т.д. — с целью не подавления, а укрепления всякой, в том числе и экономической, свободы личности. В Англии, где и самое манчестерство² никогда не было столь прямолинейным,

¹ «Декларация прав человека и гражданина», провозглашенная во время Великой Французской революции.

² Манчестерство — направление экономической политики, требующее невмешательства государства в хозяйственную жизнь страны.

как его континентальные ученики, переход от старого к новому либерализму совершился без идейного и партийного разрыва. И этот новый либерализм, совершивший незадолго перед войной огромную работу социального переустройства, прямо использует идею «уравнения» не материального достатка, но «шансов борьбы», путем не национализации производства, а обеспечения всем необходимым «минимума исходной точки» и наблюдения за «правильной игрой» в экономической борьбе. Это настоящая идеология несоциалистической демократии является сейчас центральной идейной движущей силой в жизни Европы.

Во Франции именно представителям этой идеологии принадлежит в настоящее время руководящая государственная роль, в то время как социализм играет роль, колеблющуюся от нетвердой поддержки этой демократии до оставления ее без помощи в борьбе с коммунистическим разрушением. В Англии политическая неудача либерализма отнюдь не означает его идейной неудачи, напротив, его требования восприняты и приводятся в жизнь самими консерваторами, а с другой стороны, можно без особого труда предсказать, что рабочая партия лишь постольку станет политическим наследником нового либерализма, поскольку будет фактически продолжать его дело. Ибо — и это самое важное — как нам приходилось недавно указывать по поводу новой грандиозной социальной реформы, только что проведенной в Англии, фактически социальный прогресс идет отнюдь не по линии «приближения к социализму», а, по прежней, линии «социальных реформ», в смысле укрепления положения личности.

Такова действительно существующая несоциалистическая демократия, в идеологии которой идеи свободы и равенства неразрывно объединены. Всякие попытки воскресить старый либерализм, даже под названием «либеральной демократии», вообще безнадежны. И в данном случае эта попытка совершенно искусственная, ради прикрытия таких настроений и интересов, сопоставление с которыми может только оскорбить эту почтенную тень. Тем, кто (как это опять чрезвычайно определенно разъясняется в статье Шульца в данном же номере) мечтает об «армии в сюртуках», которая (пока еще не изжита вера масс в способность собою править) готова быть не враждебной народному представительству, поскольку оно не обьялось белены, но в любой момент даст почувствовать монарху, что может «одеть на заболевших смирительную рубашку», а случае «ослабления» самой короны, готова поставить ей «в помощь своего фашистского вождя» (по старому правилу прусских многих иных дворян: «король самодержавен, пока творит нашу волю») — представителям таких «идей» лучше бы оставить либерализм и демократию в покое.

Последние новости. 1925, 3 сентября

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В пятницу довольно незаметно для эмиграции прошла двадцатилетняя годовщина 17 октября¹. Помянуло ее только одно «Возрождение» — и помянуло не добром. В исторической схеме П.Б. Струве эта дата возможного «величайшего поворотного пункта в новейшей истории России и подлинного национального праздника» обернулась «скорбной датой». Другими словами, все последующее течение событий не только затуманило для Струве «национальный праздник», но и сообщило ему такой характер, с которым понятие празднования несоединимо.

Можно оспаривать значение даты 17 октября и с других точек зрения, чем та, на которой стоит П.Б. Струве. Русская революция есть длительный процесс. Начало его можно формально отнести к дате 17 октября, но можно относить и к 9 января 1905 г., к «красному воскресению», или к 6–8 ноября 1904 г., когда земский съезд выставил конституционные требования, — или, например, к 18 июня 1902 г., когда вышел в Штутгарте первый номер «Освобождения» под редакцией П.Б. Струве. Дата 17 октября была бы действительной исторической чертой, «поворотным пунктом» этого длительного процесса в истории борьбы русской общественности с самодержавием, если бы в этот день власть перестала быть самодержавной и сделала требованиям общественности решительные и окончательные уступки. В действительности дата 17 октября является лишь одним из этапов борьбы, естественно побледневшим уже теперь в памяти потомства. Это потому, что в этот момент решающей спор уступки сделано не было. Борьба продолжалась и по другую сторону баррикады, взятой народом 17 октября. Совершенно уничтожить баррикаду и начать эру внутреннего мира могли бы только серьезные и искренние уступки власти народу. Тогда это был бы действительно «поворотный пункт» в истории и начало нового расцвета нашей родины. Но, увы, повторяем: таких уступок сделано не было. Акт 17 октября, составленный впопыхах, в дни всеобщей забастовки, принятый под прямым давлением и опубликованный вместе с всеподданнейшим докладом Витте, чтобы не дать ему фигурировать в роли новейшего Сперанского, — этот акт отразил

¹ 17 октября 1905 г. был обнародован Манифест «Об усовершенствовании общественного порядка», в котором даровались «незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы слова, собраний и союзов», Государственной думе предоставлялись законодательные права.

на себе всю тогдашнюю психологию власти: ее лицемерие, ее твердое намерение, не изменявшееся и в самую минуту уступок, — взять их назад при первой возможности, ее абсолютное нежелание облечь обещания в строгую правовую форму. В широких обывательских кругах, не разбиравшихся в тонкостях юридических формулировок, акт 17 октября был принят с энтузиазмом: люди обнимались и целовались, торжествуя мнимое взятие русской Бастилии. Очень скоро они почувствовали треповское «рукоприкладство». Заговор против только сделанных уступок, заговор, покровительствуемый сверху и объединивший государственную полицию с заинтересованными дворянскими кругами, — этот заговор, по воспоминаниям Витте, датируется тайными сношениями в.к. Николая Николаевича с доктором Дубровиным и с союзом русского народа¹.

Нужно было произнести только одно слово: «конституция». Оно не только не было произнесено, но, напротив, все скоро поняли, что именно из-за понимания правительственных уступок, как конституционных, немедленно разгорится дальнейшая политическая борьба. Она и началась. Соглашения между правительством и обществом не было ни на минуту, и революция не прекратилась. Она развертывалась по обе стороны даты 17 октября. И это было так не только для революционных политических течений. Течения конституционные, которые рады бы были ухватиться за конституционный документ и сделать его своим знаменем, не получили в манифесте 17 октября никакой точки опоры. Единственными защитниками «октября» сделались «октябристы»², правительственная партия. На этом потерпел поражение Витте.

Правда, политическая борьба получила теперь новую базу: народное представительство, Государственная Дума, которая при достаточном понимании властью важности момента — должна бы была стать могучим орудием успокоения страны и незаменимым средством введения политической борьбы в строго политические рамки, сделалась ареной, на которую революция перенесла свои методы, после того как революция на улицах была разбита. Государственная Дума оказалась слишком слабым и хрупким орудием, чтобы противостать этому, — и партия, к которой принадлежал Струве, тщетно старалась охранить это орудие от революционных покушений справа и от революцион-

¹ Союз русского народа — организация русских националистов в России в 1905–1917 гг.

² Октябристы — «Союз 17 октября» — проправительственная партия крупных помещиков и торгово-промышленной буржуазии в России в 1905–1917 гг.

ного использования слева. Правительство с своей стороны не только поощряло, но и само вело революционную борьбу против думы. Союз самодержавной власти с дворянством — таков был явный для всех политический смысл правительственного наступления. Разгон Думы Горемыкиным на аграрном вопросе, изменение после вторичного разгона избирательного закона по проектам «объединенного» дворянства и в его пользу сделали этот основной смысл борьбы очевидным для всей страны, включая и наиболее заинтересованный социальный строй — крестьянство.

Таков простой смысл событий. Струве не мог не понимать его, ибо сам находился в центре событий и был даже членом второй Государственной Думы, выбранным по партийному списку, состоя в то же время и членом центрального комитета партии народной свободы. Увы, от этого прежнего понимания сохранилось теперь только «сомнение» и «нужен ли был роспуск первой, а тем более (это «тем более» может объясняться только автобиографически) второй Думы». Это для Струве теперь — «детальный исторический вопрос». На первый же план вместо коренного факта борьбы власти за сохранение самодержавия и дворянского землевладения против народного представительства, стремившегося закрепить свои права и защищать кровные интересы народа, — выступил факт «трагической неудачи такого крупного человека, как П.А. Столыпин!» В трагические герои возведен тут человек, не лишенный таланта и известной доли гражданского мужества, но употребивший свои таланты и свою волю на осуществление политических актов, продиктованных руководителями дворянских съездов. Вместо характеристики действительно трагического столкновения двух исторических сил, вместо оценки глубокого социального конфликта получился сентенциозный выговор двум столкнувшимся максимализмам — правому и левому. От бывшего марксиста можно бы было ожидать несколько больше реализма в трактовании крупных исторических явлений.

Из двадцати лет, прошедших со времени первой русской революции, десять лет заняты мирной «передышкой» двух последних государственных Дум, третьей и четвертой. Поверхностный наблюдатель русской жизни мог бы, пожалуй, в это десятилетие 1907—1917 гг. прийти к заключению, что здесь достигнуты плоды Столыпинской тактики: «сперва успокоение, потом реформы». Но в действительности не было ни того, ни другого: ни реформ, ни успокоения. Это сказали правительству в самой Думе представители правительственной партии, бесцеремонно отброшенной Столыпиным, когда она перестала быть нужна и когда дальнейшей союз с ней грозил его карьере. «Вы успокаивали нас, а не страну» — так говорили Столыпину

и в высших сферах незадолго до его кончины. А относительно реформ — вероятно, не забыто еще гучковское: «мы ждем». Дождались — второй революции.

Революция не прекращалась и в это по внешности мирное десятилетие. Она лишь была загнана внутрь, хотя и продолжала пользоваться могущественным рупором Государственной Думы. Не прекратилась и революция справа. Она продолжала вестись прежними элементами, включавшими царя, двор и дворянство. Оба противника притаились; но было ясно, что схватка произойдет, как только ход событий откроет клапан и снимет искусственные внешние склепки. Временный и переходный характер этого десятилетия лучше всего характеризуется тем, что со времени появления законодательных учреждений — законодательство забастовало. Проводились только политические, тенденциозные законы, подливавшие масло в огонь. Вся «органическая» работа по созданию новых, соответствующих хотя бы духу 17 октября учреждений и норм была безнадежно застопорена правительственным большинством Дум и «пробкой» Государственного Совета. Обе стороны прекрасно понимали, что так жить долгое время нельзя. Революция справа и революция слева на глазах у всех готовились к новой смертельной схватке, оставляя средние течения в положении бессильных свидетелей приближавшейся катастрофы. Валить за это ответственность на обанкротившуюся будто бы русскую «общественность» есть верх несправедливости и политической близорукости.

Как бы то ни было, дата двадцатилетия русской революции может быть хронологически отодвинута в глубь прошлого; но она не может быть приближена. Все эти двадцать лет — и не только они, а и весь последний период русской истории начиная с освобождения крестьян есть один сплошной революционный период, один цельный процесс, с логическими развивавшимися стадиями. Сводить все объяснение этого процесса к максимализму русской интеллигенции — значит просто не понимать глубины и серьезности этого процесса. Русский максимализм отнюдь не составляет какой-то специфической национальной черты. Присущий всегда и повсюду начальному периоду свободной политической жизни, максимализм у нас слишком задержался благодаря именно упорному сопротивлению сверху. И все морализации наших доморощенных националистов по этому поводу являются полнейшим противоречием с их же постоянными призывами — понять настоящее при помощи прошлого. Именно в своих ссылках на историю они особенно антиисторичны.

Последние новости. 1925, 1 ноября

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В дни, когда исполнилось девять лет со времени Февральской революции 1917 года, оказывается гораздо труднее говорить о ней, как о крупном историческом событии непреходящего значения, одинаково понимаемом всеми, чем в те памятные дни 17 февраля — 3 марта, когда эта революция совершилась. Тогда всем было ясно и понятно великое *национальное* значение этой революции. Четвертая Государственная Дума недаром выделила из себя сперва комитет, а потом и правительство для руководства национальным движением, начавшимся стихийно. Недаром решительно все политические партии и течения сразу признали эту революцию и тем обеспечили ей немедленный и *бескровный* успех. Все понимали и связь революции с обстоятельствами затянувшейся войны, которая при существовавшем тогда правительстве не могла, по общему сознанию, закончиться успешно, и роль революции в свержении устарелого, давно уже задерживавшего развитие России режима.

К несчастью для нашей родины, это единодушие довольно скоро прекратилось. Не то, чтобы у революции сразу обнаружились враги. Они были, — но, пасуя перед общим единодушием, они молчали и скрывались. Но не в их рядах, а в рядах людей, принявших революцию и желавших ей полного успеха, обнаружились первые разногласия. Эти разногласия появились, когда оказалось, по мнению одних, что революционная власть недостаточно сильна, чтобы удержать движение в определенном русле государственности, а по мнению других, что самое желание сдерживать революцию есть уже посягательство на верховные права народа. Можно с уверенностью сказать, что эта внутренняя распря была отравлена борьбой против революции или целей, поставляемых ею, и вполне осуществимых социальных и политических задач. Но, во всяком случае, именно эта внутренняя борьба разрушила единый фронт революции и открыла его для врагов революции по существу, — для всех, чьи классовые, или групповые, или личные интересы были затронуты революцией. Чем дальше, тем этих людей, враждебных революции, становилось все больше; тем они становились более организованными, и тем непримиримее делалось их настроение. В свою очередь, и революция, раз выпущенная из рук слабой властью, вылилась в такие эксцессы, которые дали пищу и обоснование растущей «контрреволюции» — уже в тесном смысле этого слова, а не в том, по которому всякий противник крайних политических течений объявляется контрреволюционером.

Захват власти большевиками и последовавшая гражданская война окончательно закрепили оба крайних настроения. А уход «контр-

революционеров» — в широком и узком смысле — в эмиграцию окончательно их кристаллизовал. Противники большевистской власти стали без дальнейших справок считаться в России защитниками старого режима, а за рубежом господствующие верхи эмиграции, сохранившиеся по традиции от эпохи гражданской войны, сами подчеркивали и подтверждали это понимание. В течение некоторого времени казалось, — а в России и до сих пор кажется многим, — что между коммунизмом и монархизмом нет ничего среднего. Февральская революция, которая именно и была попыткой создать это среднее — создать демократическую государственность, как-то была забыта за ужасами большевистского режима и за ужасами гражданской войны. Точнее говоря, на нее без разбора валили ответственность и за то, и за другое.

Мало-помалу должно было обнаружиться бессилие обеих крайностей создать что-либо творческое на покрытой руинами почве. Февральская революция, которая для одной крайности представлялась недостаточно «революционной», а для другой — чересчур «революционной», вместе с тем должна была выиграть в воспоминании и быть восстановлена в своих правах. Ее идеи должны были дать знамя и лозунг творческим центральным течениям. Такой идеей и таким лозунгом явилась — демократическая республика. С одной стороны, демократическая республика отделила нас от монархизма всех видов, выставленного как знамя открытыми или скрытыми защитниками старого строя; с другой стороны, та же идея «формальной демократии» отделила сторонников февральской революции от коммунистической игры с идеей народного верховенства.

За границей этот третий, республиканско-демократический фронт, конечно, обращен своей наиболее освещенной стороной к правому реставрационно-монархическому фронту. Два лагеря, на которые распалась эмиграция, неизбежно явились лагерем монархическим и лагерем республиканским. Так как ядро эмиграции сложилось из участников гражданской войны, то естественно, что среди них монархические течения преобладали. Это как раз те течения, которые склонны нападать не только на октябрьскую коммунистическую революцию в частности, а на революцию вообще и приписывать участникам февральской революции и ее защитникам всевозможные преступления и грехи против родины. Это — те направления и люди, которые пытались — и пытаются до сих пор — заклевать самых умеренных деятелей февральской революции. Для них даже и Струве — революционер, «предатель» и государственный преступник. В такой среде идее демократической республики нелегко было пробить себе путь. Если в наиболее культурных центрах, как Париж, распространение этой идеи было сравнительно легко,

то в глухих провинциальных углах она продолжает встречать чисто рефлексивное противодействие. Как бы то ни было, в кругу сочувствующих р[еспубликанцев]-д[емократов] февральская революция уже не нуждается более в реабилитации.

Сложнее стоит дело в России, где та же республиканская идея обращена другой своей стороной к правящему страной большевистскому фронту. Как читатель видел из недавней нашей статьи о «подпольной России», в большевистских тисках политической мысли живется плохо. Уже из употребления одних только старых политических кличек — меньшевики, с-р-ы, монархисты — видно, что республиканско-демократический центр как-то выпал из обиходного политического спектра, отчасти он выбыл вместе с разгромом «кадетов», отчасти еще не создан вновь. Между тем в России идея февральской революции — республиканско-демократическая идея — еще нужнее, чем за границей. Что она там имеется налицо фактически, в этом не может быть сомнения. В прениях XIV конференции республиканско-демократический центр фигурировал под псевдонимом «сменовеховско-устряловско-милюковского» направления. Нужна, таким образом, еще большая работа, чтобы р.-д. идея была усвоена широкими кругами в России, как несущая с собой *особую* идеологию и свою практику.

Девятая годовщина февральской революции напоминает нам о необходимости для успеха антибольшевистской борьбы создать *совсем другой единый фронт*, чем тот, который теперь пытаются протаскать под маской «Зарубежного съезда»¹. Это — единый фронт февральской революции. Что такой единый фронт возможен, — не в смысле единства доктрины, а в смысле единства настроения, — это доказывается самим фактом существования такого настроения в первые дни февральской революции. Правда, возвращаясь теперь мыслью вспять к этим дням, мы вносим в понимание их все ту же сознательность, которая приобретена на скорбном пути последовавшего стихийного развала революции. Но психология, вызванная этим развалом, уже в свою очередь, начинает забываться, и стихия возвращается в свои естественные границы. Мы заключаем отсюда, что наступает момент не только для более справедливого историче-

¹ Зарубежный съезд — проходил 4–11 апреля 1926 г. под председательством П.Б. Струве. В нем участвовало 450 представителей от 200 русских организаций из 26 стран, представители правых кругов, члены Высшего монархического совета во главе с Н.Е. Марковым, митрополит Антоний — глава Зарубежной церкви, военачальники, генералы Кутепов, Миллер, Деникин. Съезд призывал объединить эмиграцию вокруг кн. Николая Николаевича.

ского суждения о феврале. Наступает момент и для сознательного политического возвращения от октября к февралю. Термидор шел этим же путем. Пусть же память о февральской революции послужит вехой для русского термидора.

Последние новости. 1926, 13 марта

СТАЛИНИЗМ И ЭВОЛЮЦИЯ БОЛЬШЕВИЗМА

С самого начала последней дискуссии компартии мы указывали на необходимость для демократических элементов эмиграции занять определенную позицию по вопросу об этой борьбе. Это вовсе не означает, конечно, «союза» с той или с другой стороной, но означает необходимость разъяснения того, на какой стороне в этой борьбе объективно находятся интересы, развитие которых идет в направлении освобождения России.

На основании хода борьбы в компартии нам приходилось иногда становиться «на сторону» оппозиции, несмотря на резко выраженный у многих ее элементов уклон в смысле возврата к старым методам «коммунизма». Приходилось также считать иной раз главным врагом освобождения России правящую клику Сталина, несмотря на то, что она отстаивает, против этих уклонов оппозиции, сделанные до сих пор уступки населению в экономической области. Были ли мы правы в этих случаях?

Необходимо, прежде всего, напомнить, что нам приходится исходить главным образом из того материала, который считают нужным давать сам Сталин и его клеветы. Другую сторону мы слышим непосредственно только урывками, — например в последних, по необходимости, полу-«эзоповских» выступлениях оппозиционеров на партконференции. Демагогия сталинцев идет в двух направлениях. С одной стороны, они обвиняют оппозицию в «социал-демократическом уклоне», «капитулянтстве», в «меньшевистском» противопоставлении интересов рабочих интересам советского социализма, в готовности «открыть двери буржуазии», если это может способствовать ускорению развития промышленности. С другой стороны, они не менее усиленно бросают оппозиции убийственное обвинение в принципиальной вражде к крестьянству, — в том, что она считает крестьянство «враждебной стихией», желает проводить «сверхиндустриализацию» за счет разорения «средняка», чуть не радуется, наконец, крестьянскому «рассло-

нию», чуть не огорчается по поводу хорошего урожая. Сталинцы требуют признания теории о «возможности торжества социализма в одной стране» как непререкаемой партийной догмы, и в то же время они охотно играют на своем «крестьянофильстве», на том, что их «индустриализация», в отличие от оппозиционной «сверхиндустриализации», проводится на основе роста сельского хозяйства и «благополучия середняка». Этот второй элемент сталинской демагогии приходится осторожно проводить на кремлевской трибуне и в передовых советских газет, но зато тем более резко он подчеркивается в инспирированной информации иностранной печати. Сталин ведь не несет ответственности за эти «частные» сведения, остающиеся неизвестными «партийцам» в России и направленные к уловлению иностранной буржуазии, а отчасти, может быть, и эмиграции. «Левый элемент» сталинской демагогии здесь, конечно, уже улетучивается совершенно и остается только правый, усиливаемый и подчеркиваемый вплоть до создания легенды о «национальном социализме» или даже о «национально-крестьянской» диктатуре Сталина, для которой фразеология ленинизма является только фигуровым листком, сохраняемым ради партийного «приличия».

По существу, наличие «крестьянофобских», ультрареволюционных моментов в идеологии некоторых вождей оппозиции (Зиновьева и отчасти — но только отчасти — Троцкого) никогда не подлежало никакому сомнению. Столь же элементарно понятно, что правящая группа, — уже в силу того, что она просто находится у власти, — *вынуждена* отвергать такие «нажимы» на крестьянство с целью ускорения индустриализации, как повышение цен промышленных товаров, значительное увеличение с.-х. налога и т.п., или такие безнадежные авантюры в области «мировой революции», которые оппозиция может легко проповедовать просто потому, что она не находится у власти. Но отсюда еще нельзя сделать вывода об исторической роли той и другой стороны. Это только элементарные рамки, в которых происходит борьба, а не самое ее существо.

Для понимания этого существа, необходимо, прежде всего, поставить вопрос: кто говорит правду и кто лжет о действительном ходе развития советской экономики и о действительном положении советского «социализма». Кто выясняет перед «партийным» и непартийным общественным мнением факт перерождения советской экономики, факт отступления советского хозяйства перед «мелкобуржуазной стихией» и напором «международного капитализма», кто разоблачает тот факт, что «социалистическая» вывеска над советской промышленностью не соответствует ее социальной природе и служит только предлогом для зверской эксплуатации рабочих? И кто, наоборот, изо всех сил затемняет эти факты?

Ответ на этот вопрос не подлежит никакому сомнению. Каковы бы ни были *требования* оппозиции, но ее фактические *утверждения* ближе к истине, чем утверждения правящей клики. Сталин критикует заявление Троцкого об опасных для советского хозяйства последствиях хорошего урожая, как увеличивающего «диспропорции» между покупательными средствами крестьянства и ресурсами промышленности, — увеличивающего товарный голод, «хвосты в городах» (за мануфактурой) и производство самогона. Сталин укоряет Троцкого в том, что он, «видимо, исходит из того, что индустриализация должна осуществляться у нас через некоторый, так сказать, «нехороший урожай». С точки зрения демагогической — укор очень действительный. Но тут надо устранить некоторые весьма элементарные недоразумения. Мы никогда не считали Троцкого «белым вороном среди красных ворон». Но ведь правду-то в данном случае говорит Троцкий, а Сталин старается затемнить факт противоречия между развитием сельского хозяйства и «социалистической» «индустриализацией», — противоречия, доходящего до того, что хороший урожай становится «дезорганизирующим фактором» в советской экономике. И точно так же Зиновьев указывает, а Сталин старается затемнить тот факт, что советская промышленность совсем не есть царство социалистической «гармонии», что там есть противоречия интересов между «хозяйственниками» и рабочими. И точно так же вся оппозиция указывает, — а Сталин стремится затемнить тот факт, что признание «стабилизации западного капитализма» на неопределенное время есть жестокий удар для надежд «осуществить социализм в России», что русская экономика неизбежно все более «контролируется мировым рынком», который без всякой военной интервенции давит и будет все больше давить на эту экономику в смысле ликвидации «социализма».

Правда, из этих фактических указаний левые элементы оппозиции делают целый ряд утопических выводов относительно внутренней и внешней политики. Но, помимо «тактического» характера этих требований, в особенности у Троцкого, нельзя же забывать, что другая часть оппозиции делает выводы совершенно противоположные. Кроме Троцкого есть и Сокольников: тот Сокольников, степень «правизны» которого выяснилась только теперь из статьи Ларина. Бывший наркомфин, как оказывается, в интересах финансового равновесия готов был пойти на полную отмену монополии внешней торговли и на предоставление гострестам искать кредитов где им угодно, хотя бы путем обращения в смешанные общества с участием частного капитала, — только чтобы не мешать развитию сельского хозяйства, единственному пока источнику финансовых ресурсов.

Союз Сокольникова с Троцким и Зиновьевым, конечно, неискренний и тактический, но это союз на почве разоблачения лжи современного советского «социализма».

Потому именно Троцкий оказался лидером всей оппозиции, что и левые элементы должны были вывести из необходимости защиты интересов рабочих против «далеко не социалистической» эксплуатации требование «свободы критики». Это же требование вытекает из «крестьянофильства» «правой». Наоборот, отстаивая интересы красных «хозяев» — монополистов промышленности и красной бюрократии — Сталин должен во что бы то ни стало отстаивать систему беспредельной диктатуры. Теряя постепенно последние остатки ленинской идеологии, но сохраняя ленинскую фразу, как способ политической диктатуры и экономического монополизма, правящая клика идет по пути к чисто реакционному, во всех смыслах, самодержавию. Оппозиция, имея в себе элементы утопической реакции «военного коммунизма», в то же время порождает и должна породить уклон к борьбе против этой диктатуры, как таковой.

Последние новости. 1926, 14 ноября

РУССКИЙ «РАСИЗМ»

Нам не раз случалось наблюдать провозвестников «абсолютных» истин, свысока третирующих неизменный научный опыт и в своей проповеди отвлеченных доктрин игнорирующих презренную действительность. Наука и действительность, конечно, мало теряли от этого возвышенного высокомерия и жестоко наказывали строителей икаровских полетов, самым жалким образом шлепавшихся в обыкновеннейшие житейские лужи. На этот раз, однако, нам приходится иметь дело с Икаром совершенно особого рода. В своем высоком парении они не теряют из виду действительности и, провозглашая себя защитниками абсолютной веры, не забывают взять с собой в горния выси самую обыкновенную злобу. Не сразу можно разобраться, что собственно они предпочитают: высокие истины или тот житейский груз, который они проводят под своим идейным флагом. Но наступают моменты, когда и им приходится сделать выбор между тем и другим. По тому, куда склонится этот выбор, можно уже безошибочно заключить, кто они такие.

Эти размышления невольно приходят в голову, когда читаешь маленькую книжку в оранжевой обложке (цвет Чингисхана) под заглавием: «Евразийство — опыт систематического изложения»¹ — и сопоставляешь с недавними выступлениями г. Карсавина по понедельникам. Книжка эта представляет попытку создать полную евразийскую «идеологию». Идеология евразийцев не удовлетворяется относительными истинами: она хочет вывести евразийскую программу деятельности из «абсолютной истины» — и находит эту абсолютную истину в религии и в церкви. Но, выводя читателя на эту высоту, идеологи евразийства не хотят оставить его в пустоте абстракции. Как уже указано, они на ту же высоту возносят с собой и «науку», не противопоставляемую вере, и «конкретную действительность», не противопоставляемую отвлеченной абстракции. По-видимому, все обстоит очень хорошо и правильно: впечатление, которое много раз вводит читателя в заблуждение на протяжении изложения. Евразийцы в самом деле забирают с собой немало научного и конкретного. Но горе читателю, который поверит в это культурное обличье книжки! Всмотревшись пристальнее, он должен будет заметить, что, несмотря на все оговорки, цель которых показать, что евразийцы берут в свою систему всю науку и всю действительность, они, в сущности, делают весьма строгий отбор того, что им нужно для их собственной системы, и, забронировавшись, тотчас отметают ненужное. Чтобы в двух словах определить, что получается в результате, мы можем воспользоваться их же сравнением себя со старыми славянофилами, близость к которым они вполне признают. Это указание на близость к славянофильству совершенно правильно: можно сказать, что все кажущиеся оригинальными мысли евразийства заимствованы оттуда. Но надо сделать одну оговорку: они заимствованы не столько у старых славянофилов, сколько у их эпигонов. У старых славянофилов было слишком много гуманного и общечеловеческого в их доктрине. Эпигоны внесли в отвлеченные формулы «конкретность» и «науку». Наука и конкретность в славянофильстве — это Константин Леонтьев и Данилевский: это учение о неизменных, врожденных народам культурно-исторических типах и о гибели цивилизаций не восточным, а западным путем. Это самоутверждение в русском типе всего, сколько-нибудь напоминающего Запад.

Таков тот вариант славянофильства, который стараются реставрировать в наши дни евразийцы — настоящие русские расисты.

¹ «Евразийство — опыт систематического изложения» (Париж, 1926) — программный документ евразийства.

«Наука», которой они пользуются, иногда — но очень редко — есть настоящая наука. Большой же частью, это специальный подбор для загаданной цели учений, давно потерявших право гражданства в науке. А «конкретность», вводимая в доктрину, — это вполне определенный исторический материал, взятый по большей части из далекого прошлого России или более или менее смутные гадания о ее великом будущем. Это есть в то же время последовательное отрицание — и обсуждение — всего исторического процесса, приведшего к русскому настоящему... Впрочем, к этому настоящему, — разумея под ним советскую действительность, — евразийцы относятся положительно: в советской победе они торжествуют гибель западнического идеала и освобождение масс для построения идеала евразийского. Между Чингисханом и Лениным проводится, таким образом, во всемирно-историческом масштабе прямая связь: оба утверждают в России («Московском улусе») стихию Востока, восстанавливают победу «степи» с Востока над западной стихией рек, ведущих цивилизацию с Запада или с Севера, наперерез степи.

Невозможно в этой передовой статье проследить детально, как «абсолютная истина» в системе евразийства сводится к господству наследников Чингисхана. Но это сведение готовится с первых страниц книжки и последовательно проводится в последних. Если евразийству суждено иметь идеологию, то это, несомненно, должна быть эта идеология, именно такая идеология, приводящая систему в абсурд. Начинается с того, что отрицается всякое «внеконфессиональное» или мнимо над-конфессиональное христианство, не говоря уже об «универсальной» религии. Единственно ценна — православная форма христианства. Надо затем приспособить «евразийство» к так понятому христианству. Это оказывается не трудно. «Язычество» объявляется не более, не менее как «потенциальным христианством», притом, более близким к православию, чем католическое и протестантское «инословие». Отсюда поспешный вывод: «русское и среднеазиатское язычество в христианизации своей создает формы, более близкие русским, чем европейским. Еще легче устраняется вопрос о разнице рас. Конечно, мы «туранцы», а не иранцы. Маленькое затруднение возникает попутно: как быть с нашим родством со славянами и с католицизмом славян? И это затруднение не останавливает «идеолога». Он готов и «иранство», и западную форму веры части славян признать доказательством, что славянского родства вообще не существует, — и тем спокойнее обратиться за поисками родственников в Среднюю Азию. При переходе к «культуре» опять маленькое затруднение; ведь «православная русская церковь эмпирически и есть русская культура», становящаяся церковью. Ничего

не значит: «чтобы устранить эмпирически упрощающие толкования», назовите только Россию не Россией, а «каким-нибудь новым именем» — СССР или Евразией. Тогда «культурное единство скажется, как единство этнологическое; этнология же культурного целого соответствует его географии»; а в географии территория Российской империи вполне соответствует понятию Евразия. Посмотрите в самом деле на иностранцев: разве они не воспринимают русскую культуру, «Москву, русский быт, русское искусство, русский психический склад как Азию?» Ну, конечно, русская культура не всецело «азиатская!»; она «средняя азиатская»; но «мы должны осознать себя евразийцами, чтобы осознать себя русскими». Идеолог признает, что собственно и понятие «туранцы» он употребляет, главным образом, в этом «полемическом порядке». Если ему скажут, что в русском складе есть и то и другое начало, он тотчас спрячется за одно из своих прикрытий; ну да, разумеется, ведь русская личность есть «симфоническая личность». Но все же мы в этой «симфонии» представляем «культурно-политическое наследие монголов»...

Далее евразийская идеология устанавливает в противоположность Западу примат церкви над государством, что даст ей возможность, освободив церковь от государства, оставить государству чистую «сферу силы и принуждения». При этом основная функция государства на Востоке определяется так: «чем здоровее культура или народ, тем большей властью и жестокостью отличается их государственность».

С этим выводом идеолог подходит к объяснению советской революции. Для него революция не случайна, а есть «глубокий и существенный процесс». И мы готовы бы были приветствовать это «понимание», если бы не знали, как он к нему пришел.

Революция для евразийца есть «новая индивидуализация Евразии». Народ «со времени Петра не хотел европейской культуры», а «правлящий слой» вместе с интеллигенцией насильственно насаждал ее, затемняя национальный тип.

Теперь с тем и другим покончено, и национальный тип уже успел проявить себя в особой форме государственности, превзошедшей европейскую демократию. Нужно сохранять и европейские формы собственности, более близкие к заведенным большевиками, чем к не привившемуся в России римскому праву. Идеолог рисует тут нечто вроде византийско-турецких прав сюзерена на землю, практиковавшихся в допетровской Руси. Остается заметить — или точнее пополнить — новый правящий слой, сложившийся в России, евразийскими руководителями, и все будет в порядке.

Книжка подходит, таким образом, вплотную к практической программе, но окончательно той программы не устанавливает, набрасывая лишь упомянутые общие штрихи. Можно себе представить, что выйдет, когда с «мужеством» Константина Леонтьева и «жестокостью», свойственной русской государственности, эта программа будет выяснять ее у евразийцев в деталях. Вероятно, это выяснение не замедлит: тогда мы увидим окончательно, к чему велись некоторые хорошие старые слова, которыми от времени до времени евразийцы продолжают прикрывать неумолимый «расизм» своей «идеологии».

Последние новости. 1926, 16 декабря

САМОЧИННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (1917–1927)

Читатель прочтет сегодня ряд статей, посвященных воспоминаниям о первых днях февральской революции в ее десятилетнюю годовщину. Одни из этих статей рисуют начало революции сверху, другие снизу — или сбоку; одни наблюдали ее из центра, другие из периферии. Но через все эти наблюдения, сделанные с разных позиций и даже с разных точек зрения, проходит красной нитью одна черта. Этой революции *никто не ждал*. В этом отношении февральская революция есть полная противоположность октябрьской. Эта впоследствии открыто готовилась, на глазах у всех, и была разыграна как по нотам. По точному расписанию, заранее составленному, каждый из ее участников знал свое место — и в это место направлял свой удар. Ее программа была элементарна и неокончательна, но эта программа была объявлена сразу и фактически осуществлена в первые же дни этой революции. В противоположность всему этому февральская революция произошла как-то сама собой. Ее все ждали и все предсказывали; но даже и те, кто к ней готовился, не предполагали сделать ее, а только, в случае если она произойдет, хотели занять по отношению к ней то или другое положение. У этой революции было много слуг, но не было хозяина. Точнее говоря, если смотреть на процесс революции в целом, она до сих пор еще и не нашла своего настоящего хозяина. Но все же этот хозяин где-то был и не мешал другим, непризнанным, стать хозяевами революции. Программа февральской революции тоже казалась готовой, — давно

обдуманной и заготовленной в умах нескольких поколений интеллигенции, в программах политических партий. Но, когда революция началась, все эти программы как-то потонули в злобах дня и сохранились только в бумажных декларациях.

И те, кто фактически делал февральскую революцию, делал ее как-то невольно, нехотя, вопреки собственному желанию. Государственная Дума, — именем которой революция была возглавлена, — и фирме, которой так много обязана своим успехом, — как учреждение вовсе в ней не участвовала и была неспособна участвовать. Она свалила революцию на плечи своих отдельных членов. Вожди армии, без участия — или пассивного содействия — которых успех революции был невозможен, оказали это содействие только потому, что поверили в фирму Государственной Думы. Наличие власти капитулировали, не попытавшись оказать никакого серьезного сопротивления. Они сдавались перед чем-то незримым. Царь отказался от власти, а назначенный им преемник отказался подхватить эту власть — перед легендой, а не перед фактом. Мало того, и те, кто хотели стать настоящими хозяевами революции, те, кто водворились в Таврическом дворце рядом с его вчерашними хозяевами, в свою очередь, не знали, что делать. Настоящие герои февральского дня — солдаты — прибежали во дворец, более напуганные тем, что они сделали, чем кто-либо другой. Они прибежали, ища здесь защиты, а не готовясь к нападению. А нападающие в это самое время — слагали оружие. Левые вожди революции не верили думе и вообще цензовым элементам, но прятались за их спиной от немедленного расстрела. А рабочие уже не верили своим вождям и готовили триумф не тем, кто вел их к февралю методической пропагандой, а тем, кто пришли в последнюю минуту вместе с ними — и на глазах их приобрели авторитет. Та пружина, которая быстро развевывалась, смела сперва умеренных, а потом и радикальных вождей революции, закручивалась уже 27 февраля в Таврических залах. Вся восьмимесячная история февральской революции — этого пролога к завершившемуся сегодня десятилетию — была здесь налицо, в ракурсе.

И все-таки эта самочинная и бесхозяйная революция победила. В этом был первый признак, что это была — *настоящая*, не сделанная и не выдуманная революция. Она не сразу показала свое лицо, но она победила потому, что это настоящее лицо было уже тут за завесой. Это был тот Великий Неизвестный, перед которым слагали власть одни, слагали оружие другие. Победила легенда революции, но эта легенда была в ней вначале — единственной реальностью. Потом она приняла и реальные очертания — не те, которых ожидали те, кто к

ней готовились. В этом смысле и в планомерной октябрьской победе — русская революция продолжала быть самочинной. И эти хозяева замыслили одно, а сделали другое, не то, что хотели, а то, что пожрет их подобно сфинксу. В промежутке и сфинкс этот принял весьма реальные очертания.

Что можно вывести из всего сказанного, — из всей этой картины хаоса с каким-то невидимым стержнем, придававшим хаосу весьма определенное направление и могущественно сбрасывавшим с его стихийного пути те политические группы, которые хотели направлять его по своей дороге? Прежде всего, то, что русская революция принадлежит к числу явлений такого калибра и такого содержания, при которых она является роковой исторической неизбежностью. Суть этого явления заключается в выступлении на историческую сцену народных масс. Эти массы выступали у нас в России — как, впрочем, и везде — неподготовленными к этой роли, выполнить которую в состоянии только организованная и сознающая себя народная воля. Но все же стихийно, полусознательно, но упорно русские массы проявили решительное нежелание, чтобы воля их выражалась кем-то другим и чтобы эти другие говорили от их имени. Определенным выражением этого нежелания было непобедимое недоверие масс ко всяким готовым, уже сложившимся до их выступления политическим группировкам, — и не только им враждебным, но даже и дружественным. А неизбежным последствием этого недоверия было то, что в доверие демоса, как в бессмертной пьесе Аристофана, вкрались те, кто ему наиболее льстил, раздувая в нем это недоверие. Лыстецы, как всегда, для того, чтобы руководить демосом, стали ему прислуживать, потакая его страстям и инстинктам, удовлетворяя его непосредственные желания — единственные, которые он мог осознать в своей неорганизованности и неподготовленности. Конечно, такие руководители демоса, не вечно слепого, были и суть только халифы на час, — хотя бы этот час и длился целое десятилетие. На часах истории разметка времени — иная, чем в биографии отдельной личности. И мы видим, что демос уже отвернулся от своих вчерашних опекунов, севших ему на шею. Можно сколько угодно злословить, что демос только ищет себе нового господина. Мы предпочитаем думать, что, сбросив стольких господ, демос найдет способы членораздельно выразить собственную волю.

Только тогда, когда он этой цели достигнет, — только тогда выяснится окончательно исторический смысл февральской революции.

ТЕРМИДОР¹ И БОНАПАРТИЗМ²

Р. Абрамович поместил в «Социалистическом Вестнике»³ статью о политических перспективах в России — статью, проникнутую чрезвычайным пессимизмом. По словам автора, понятия «термидор» и «бонапартизм», которыми «еще несколько лет назад оперировала по отношению к большевистской революции» только «социал-демократическая литература» — эти словечки теперь «запестрили решительно во всей русской печати, начиная с листков оппозиционных коммунистических групп и кончая эмигрантской печатью самого правого толка». Мы не беремся судить, насколько Троцкий, употребив понятие «термидор», совершил плагиат из той эмигрантской с. д. литературы, которая, без особого основания, считает себя менее эмигрантской, чем вся остальная зарубежная печать. Во всяком случае, факт тот, что ввел в моду это «словечко» не кто иной как Троцкий. А для тех, кому не было надобности в особо сложных и обычно не оправдывающихся анализах «перегруппировок классовых сил», для того чтобы иметь представление об известных общих элементах, свойственных в известном общем смысле всякому революционному процессу, для них возможность применения, между прочим, и понятия «термидор» к развитию советской России не представляла и не представляет сомнений. Под условием, однако, что это и подобные понятия применяются на основе совершенно конкретной исторической обстановки. Несколько странным образом военно-марксистский анализ «перегруппировок классовых сил» приводил и приводит как раз к чисто механическому приложению подобных понятий к русской действительности.

Рассматривая с необычной высоты «Колумбов термидора из белого лагеря»*, Р. Абрамович приходит в результате к выводам, которые могли бы как раз порадовать мечтателей о фашистской диктатуре. «Бонапартистский финал русской революции», который Абрамович

* Так в тексте.

¹ Термидорианский переворот — переворот 27/28 июля 1794 г., свергший яacobинскую диктатуру. В переносном смысле — контрреволюция, откат от революции.

² Бонапартизм — движение, ставящее своей задачей ликвидацию революции посредством провозглашения диктатуры популярного, как правило, военного вождя (от имени Наполеона Бонапарта).

³ «Социалистический вестник» — орган заграничной делегации РСДРП при участии Р. Абрамовича и Л. Мартова, выходивший в Берлине в 1921–1956 гг.

отожествляет с такой диктатурой, является в настоящее время хоть и не «необходимым и неизбежным», но «в высокой степени вероятным». Причина этого заключается в крестьянстве. Метод рассуждения Абрамовича в этом вопросе отличается известной невыдержанностью. С одной стороны, как будто дело идет о старой марксистской схеме «измены мелкой буржуазии», т.е. крестьянства, которое «после революции, уничтожающей остатки феодализма и открывающей простор свободному крестьянскому хозяйству, становится обычно силой консервативной, а при известных условиях даже реакционной». Но тут же, в примечании, Абрамович ликвидирует эту схему, вспоминая, что европейские «социалистические партии во многих отношениях» должны были «пересмотреть и видоизменить свою программу и тактику по отношению к крестьянству», отказавшись от взгляда на него, как на силу, «враждебную рабочему классу и социализму».

Оказывается, что Абрамович рассматривает «не общую проблему о взаимоотношениях между пролетариатом и крестьянством, а лишь частный вопрос о той особой политической ситуации, которая создастся к моменту ликвидации большевистской диктатуры». Эта же особая ситуация характеризуется как раз тем, «что свободное крестьянское хозяйство» пока не получило «простора вследствие политики, которая, «с одной стороны, сознательно подмораживала и тормозила развитие всего крестьянского хозяйства для ослабления всего кулацкого крыла, а с другой стороны, превращала его в единственный резервуар, из которого в непосильных для крестьян размерах почерпались средства и на поддержание и развитие города и городской промышленности». На этой почве «антиправительственные и антисоветские настроения в крестьянстве, проявляющиеся со все большей силой и напряженностью, принимают чем дальше, тем больше характер, направленный и против города, и против городских рабочих, и против социализма, и против революции». Правда, интересы крестьян, как экономического класса, могут быть удовлетворены и на основе демократии, но и на основе диктатуры, если последняя обеими ногами встанет на почву капиталистических отношений.

Нельзя не констатировать, что меньшевистский прогноз здесь весьма близко подходит к правому прогнозу, — с той только разницей, что Абрамович ожидает появления «теоретиков и вождей термидора и фашистского бонапартизма» из коммунистического аппарата, «из ВКП, а может быть, из деморализованной диктатуры групп рабочих». Единственное спасение заключается в возникновении «внутри диктатуры внушительной силы, готовой и способной в той или иной форме добровольно провести процесс самоликвидации диктатуры и создания возможностей для честного соглашения на демократиче-

ской основе между рабочим классом и крестьянством». Роль самих «рабочих и крестьян» может заключаться лишь в «давлении» с целью вызвать на сцену эту внутреннюю силу. Тут единственный «шанс демократического финала русской революции», и этот шанс «в настоящих условиях чрезвычайно невелик».

Нужно заметить, что этот «демократический финал» был бы не чем иным, как торжеством меньшевистской тактики. И если автор сказал бы, что «шанс» торжества этой тактики его партии весьма невелик, то с этим «посторонние» не стали бы спорить. Иначе, однако, обстоит вопрос, если говорить о шансах такого демократического финала, который никоим образом не должен быть меньшевистским финалом. Прежде всего, представление о неизбежной противоположности между «термидором» и «демократическим финалом» вытекает из чисто механического перенесения той схемы, по которой за «термидором» следует «бонапартизм». Если понимать «термидор» в единственно применимом здесь весьма общем смысле, т.е. в смысле ликвидации революционного режима силами, из него же выходящими, на основе интересов, созданных самой революцией, и с целью обеспечения спокойствия и «простора» для этих интересов, то «термидор» может привести к «демократическому финалу».

Напротив, бонапартистский финал в современных русских условиях не требует «термидора» и не представлял бы собою обеспечения «простора» для крестьянского хозяйства. Во Франции после термидора пришла военная диктатура, имевшая собственную мощную опору и орудие в военной силе, проводившей победоносную войну. На этой собственной «базе» возник режим личной диктатуры, которая, действительно, сумела закрепить и гарантировать интересы, созданные революцией, и потому они оказались приемлемы и для всей страны, в частности и для крестьянства. Сейчас же в советской России есть только один элемент «бонапартистского» самодержавия. И этот элемент — не что иное, как существующая диктатура Сталина. При механическом применении таких общих понятий оказывается, что в личном режиме Сталина есть сразу элементы «Робеспьера» и «Бонапарта», но как раз «Бонапарта», никоим образом не опирающегося на крестьянскую «базу». Потому мы и считаем подлинно «бонапартистский» финал весьма маловероятным. С другой стороны, возмущение крестьянства против эксплуатации со стороны представленного этой диктатурой «пролетариата» и «социализма» — несомненный факт. Но отсюда вовсе не вытекает малая вероятность «демократического финала», а вытекает лишь то, что этот финал, — наступит ли он в порядке «эволюции» или «революции», — вероятно, будет весьма мало походить на ту идиллическую картину самоликвидации «раска-

явшейся» диктатуры, создающей «соглашение рабочих и крестьян», которую Абрамович правильно признает, в сущности, утопической и на которой, однако, основаны все его надежды и его тактика.

Последние новости. 1929, 17 апреля

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

Пятнадцатилетие добровольческой армии и ледяного похода вызывает у меня в памяти рой воспоминаний, которые так непохожи на все позднейшее и которые тем не менее составляют связующее звено между прошлым и настоящим. «Идея» того времени отошла в историю: в этом несходство прошлого с настоящим — и невозможность оживить это прошлое. Но факта, созданного той идеей, из истории не вычеркнешь; от него тянется живая нить к настоящему, он связан со всем нашим здешним бытием органически. И мысль, что и мы там были, и делали то, чего требовало то время, доставляет душевное удовлетворение. Ибо время требовало национального подвига, перед которым отступали все личные и партийные соображения. Можно сказать, конечно, что национальный подвиг есть дело всей жизни, а не отдельного момента и что личные соображения всегда должны отступать перед высшими требованиями. Это, разумеется, верно, но бывают исторические моменты, когда голос родины говорит особенно громко и когда отклик на этот голос становится не делом сложных рассуждений, а делом чуткой совести и глубоко внедренного инстинкта.

Теперь был момент, когда, после неудачной борьбы с большевиками в Петербурге и Москве, казалось возможным решить судьбу родины на юге России. Далеко не все откликнулись на этот зов, но те, кто откликнулись, поодиночке и целыми группами пробирались в Ростов и Новочеркасск, где призывным кличем звучало благородное имя ген. Михаила Васильевича Алексеева. Приехав в Ростов из Москвы в начале ноября 1917 года, я застал ген. Алексеева в хлопотах о создании ядра добровольческой армии, способной противостоять победителям 25 октября. Во все подробности приходилось входить бывшему главнокомандующему, располагавшему еще так недавно целыми армиями. И нельзя было не умилиться, видя, как самая последняя мелочь, нужная для первого обзаведения приезжающих, заносилась его бисерным почерком в записную книжку и служила

предметом его забот. У меня сохранился от тех дней первоначальный расчет ген. Алексеева, что будет стоить содержание добровольческой армии, — скромный расчет, но только, чтобы не испугать английского представителя, с которым должен был говорить по этому поводу, но и потому, что приходилось создавать из ничего, — и бюджеты широко-го размаха были делом еще неблизкого будущего.

Потом восстают в памяти заседания совета общественных деятелей с генералами в Новочеркасске, куда приходилось ездить из Ростова. Я туда вошел «персонально», не будучи никем уполномочен и не принося с собой никаких надежд вроде тех, о которых с такой горечью говорит А.И. Деникин по поводу деятельности «московской делегации». Я мог служить политикой и литературой, а не капиталами, на которые оказались так скупы те, кто ими располагали... Когда, много позднее, я получил письмо ген. Алексеева с упреком, что ничего не извлек для Корнилова из карманов петербургских капиталистов, я с чистой совестью мог сказать, что упрек этот был не по адресу.

Помню, в порядке выполнения более для меня подходивших функций, как М.М. Федоров спешно вызвал меня в Новочеркасск, узнав, что нашему совету грозит пополнение новым членом — Борисом Савинковым. Разницы у нас во взглядах на это пополнение не было, и мы усердно старались убедить Алексеева, насколько эта кандидатура не подходит. Помню взволнованный тон Алексеева, которым он отвечал нам, что дело решено и поправить его нельзя. Только в «Очерках» ген. Деникина я прочел, что так решил триумвират генералов, чтобы не лишиться зарождавшейся армии сотрудничества «демократии», именем которой злоупотреблял Савинков. Скоро новый сочлен и сам увидел, что в совете ему не место, и сочинил себе миссию в Москву от имени тут же образованного на бумаге «союза защиты родины и революции». Моя роль свелась тут лишь к переделке крикливого названия, которое Савинков собирался распространять от имени генералов в Москве, на нечто более приемлемое.

Вспоминаю, как в Новочеркасск пришли тремя путями разрезанные на три полоски документы (иностранный разведки), свидетельствовавшие о субсидировании большевиков германцами через стокгольмский банк. Впоследствии напечатанные документы Сиссона, перемешанные с подделками, бросили тень и на эти данные разведки. Но я продолжаю думать и теперь, что эта часть документов, перепечатанная Сиссоном мелким шрифтом в приложении, не фальсифицирована, а подлинна. Я написал подробный комментарий на эти доказательства связи большевиков с германцами, — и брошюра была уже напечатана в ростовской типографии, когда пришли большевики, и издание погибло.

Есть у меня и более тяжелые воспоминания о заседаниях нашего совета. У меня хранится раздраженная записочка Алексеева, переданная мне через стол в разгар его полемики с ген. Корниловым. Теперь эти столкновения не секрет: о них говорит и А.И. Деникин в «Очерках смуты». Он упоминает, кажется, и о том самом заседании, которое так врезалось в мою память, — главным образом, потому, что я не выдержал и не свойственным мне голосом стал упрекать обоих вождей, что они за личными распрями забывают общее дело. Не мне, по счастью, пришлось мирить руководителей, одинаково необходимых для армии. Должен только признаться, что мои личные симпатии в этом споре были целиком на стороне ген. Алексеева. Странно мне было и то, что, как видно из воспоминаний Деникина, Корнилов считался среди офицерства республиканцем, а Алексеев монархистом. У меня, быть может ошибочно, сложилось прямо противоположное представление. Конечно, Алексеев — был очень осторожен и сдержан, решаюсь прибавить, и очень гибок и отзывчив на требования момента. Но у меня сохраняется проект воззвания — отнюдь не республиканского характера, написанный, вероятно, Добринским от имени Корнилова и вызвавший недоумение ген. Алексеева. Он передал мне этот документ с просьбой сказать о нем мое мнение, — очевидно, понимая, что оно может быть только отрицательное. И мне кажется, что, когда А.И. Деникин внес в свое первое воззвание понятия «учредительное собрание» и «народоправство», он был ближе к Алексееву, чем к Корнилову.

Мне пришлось при переселении генералов из Новочеркасска в Ростов ехать в одном вагоне с ген. Алексеевым; в другом «инкогнито» ехал Корнилов, предупреждая попытки посредников развести обоих вождей по разным местам. Перед Ростовом поезд вдруг остановился. Это были общие враги — и генералов, и добровольцев, — которые насыпали песку на рельсы, очевидно, не с добрыми намерениями. Предзнаменование было плохое.

Всего тяжелее было впечатление еще от одного заседания совета, о котором мне теперь совестно вспоминать. В заседание пригласили атамана Каледина, и готовился общий натиск на него, чтобы он изменил свою тактику поблажек левым течениям в казачестве. Я приготовил целый обвинительный акт и с жаром критиковал поведение атамана. Каледин, вскоре после того застрелившийся, слушал с грустным видом о фактах, прекрасно ему известных, помолчал немного, а потом вместо возражений произнес всего только одну фразу: снявши голову, по волосам не плачут... Очевидно, мы еще не понимали тогда, насколько положение было безнадежно.

Не буду вспоминать о боях под Ростовом, где с очевидностью выяснилась слабость сил добровольцев и возрастающая сила больше-

виков, двусмысленное поведение казачьего населения, равнодушие городского обывателя, укрывательство большинства офицеров и открытая вражда рабочих кварталов города. «Мы были одни», — писал потом Деникин в своих «Очерках». Действительно, одни — с зеленой молодежью и юнкерами, беззаветно переносившими зимнюю стужу и жертвовавшими жизнями в неравной борьбе. Отмечалось тогда же и то, что откровенно признал Деникин: непропорциональность между громоздким верхним этажом искушенного мировой войной командования — и неизбежностью мелких партизанских приемов борьбы. И «печать классового отбора», которая невольно легла на армию, несмотря на все идеалистические побуждения и на демократический характер ее состава. Писал я тогда немало воззваний, чтобы открыть глаза населению, а студент А. печатал эти воззвания и расклеивал плакаты на ростовских заборах. Все было напрасно. «Мы были одни»...

Помню печальный день 10(23) февраля 1918 года, когда потянулась по улицам Ростова в ледяной поход малочисленная армия добровольцев. Я еще застал у ворот Парамоновского дома, где навещал каждый день ген. Алексеева в его скромной каморке, куда он был оттеснен господствующей властью, маленькую таратайку с знаменитым чемоданом, приготовленную для отъезда полуопального генерала. За отрядом я не пошел и провел месяцы ледяного похода в Ростове, скрываясь под чужим именем от внимания большевиков. Смутные слухи доходили до нас о судьбах геройского предприятия, пока, наконец, не начало меняться настроение в казачьих станицах, испытавших прелести большевизма, появился Дроздовский с его отрядом, пришли баварцы, — и горько было смотреть за те цветы, которыми местные дамы украшали отверстия их ружей. Чувствовалось что-то страшно унижительное для национального достоинства в этом пришествии. Ген. Деникин сурово отнесся к этому моему «страшному огорчению», сопоставив его с «крутым переломом» моей тактики две недели спустя — между 3-м и 19-м мая. Что делать? Цитаты взяты из моих подлинных писем к ген. Алексееву, напечатанных почему-то в укор мне в эмигрантской Суворинской газете. И все же я от ощущения «огорчения» не отказываюсь, а относительно «перелома», по поводу которого мне не раз приходилось давать длинные объяснения, ограничусь на этот раз только одним соображением. Моя поездка в Киев, как я тогда полагал, не только не стояла в противоречии с моим отношением к добровольческой армии, но, напротив, вытекала из этих отношений. Ген. Деникин повторил укор, что я не захотел ответить на двойное приглашение приехать и «приобщиться хоть немного к их жизни, уяснить себе психологию добровольчества и его вождей». Я объяснился по поводу этого недоразумения с ген. Романовским в Екатеринодаре и, кажется, говорил об этом и печатно.

Дело в том, что я поехал по призыву Алексеева, но не в Мечетинскую, куда он в тот день выехал, а в Новочеркасск, где ждал его целый день и ночь. Второго приглашения я не помню, но, если я, уже не дожидаясь встречи, выехал в Киев, то именно потому, что уже запоздал с этой разведкой, — как я понимал цель своей поездки в интересах добровольческой армии. Что запоздал я — на целый месяц, — это стало очевидным по результатам. В.В. Шульгин говорил мне в Киеве: «...да, вот месяц тому назад мы тоже думали, как вы». То же повторяли и другие. Правда, ген. Деникин признал вообще мою разведку «беспочвенной и, в смысле государственном, бесполезной». Это — верно: она действительно такой и оказалась, — в прямой зависимости от образа мыслей самой добровольческой армии, без участия которой, разумеется, все попытки, аналогичные предпринятой мною, теряли всякую почву. Именно это и показывает, что моя разведка никак не могла иметь независимого от поведения добровольческой армии значения: она и рухнула, как только это поведение стало общеизвестно.

Но все это выяснилось уже тогда, когда я был в Киеве. Я позволю себе процитировать одно место моего ответа ген. Алексееву на его письмо, полученное мною в Киеве 21 июня — 5 июля. «Дорогой Михаил Максимович, спасибо Вам за Ваше прямое и искреннее письмо от 18 июня. Я вижу, что перемена тактики добровольческой армии, о которой я мечтал, как об одной из краеугольных основ немедленного поворота к объединению России, для Вас и для всей армии в целом психологически невозможна. В том акте освобождения Москвы от большевиков, который я считаю возможным и необходимым теперь, добровольческая армия не будет участвовать. Не будет поэтому и самого акта восстановления национального русского правительства русскими руками. На этом теперь надо поставить крест, — и не только потому, что перемена ориентации добровольческой армии оказывается невозможной, но и потому, что если бы она совершилась теперь, то она бы уже запоздала. Германцы придут в Москву, но придут не как освободители Москвы от большевистского засилья, — о чем они подумывали раньше, и для чего могла бы пригодиться им добровольческая армия. Они придут как союзники большевиков и их защитники от нападения союзников».

Позволю себе сопоставить с этим одно место из «Очерков смуты» А.И. Деникина. «Меньше всего иллюзий, — пишет он, — возбуждало образование Восточного фронта в командовании добровольческой армии. И ген. Алексеев, и я относился скептически к серьезности и искренности желания союзников помочь нам живой силой... В конце июня Алексеев писал мне о своих сомнениях». Мне тогда — до конца июня — казалось, что эти «сомнения» существенно сближают наши точки зрения...

На этом сегодня закончу. Мои воспоминания вышли не очень праздничны, но ведь сегодня не праздник, а день поминовения. Достаточно прочесть честный и откровенный рассказ ген. Деникина о ледяном походе, чтобы проникнуться этим ощущением трагедии, соединенным с преклонением перед добровольческой жертвой. Нет надобности и тут рисовать все в розовых красках. «Подвиг — и грязь», — сокрушенно говорит в своем изложении А.И. Деникин. Что же делать? Всякая война деформирует человеческую психику, а война междоусобная — самая злая из всех, да к тому же ведомая на малокультурной окраине, и подавно. Но сегодня мы будем говорить только о подвиге и согласимся с А.И. Деникиным, что «грязью» нельзя характеризовать величайшего подъема, на который способно человеческое самоотвержение.

Последние новости. 1933, 26 февраля

СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЕСТЬЯН

Освобождение крестьян есть, несомненно, величайшее событие русской истории. Прекращение рабства человека у человека есть, прежде всего, незаменимая предпосылка здоровой гражданственности. Это есть в то же время уничтожение непреодолимого препятствия для экономического и культурного развития страны, на которой лежит ярмо крепостного права. Но еще знаменательный момент освобождения крестьян в России для общей схемы русского исторического процесса, в которой он является решающим поворотным пунктом. Речь идет о переходе России из стадии средневекового вотчинного государства к стадии современной общественности и государственности, — переходе, прерванном сейчас насильственной, но не случайной русской революцией. Сравнить факт освобождения крестьян можно только с реформой Петра Великого. То и другое знаменовало окончательное вступление России на путь европеизации. Петр покончил для этой цели с вотчинным, теократическим государственным строем. Монарх с его времени стал принципиально слугой народа, а не представителем власти, освященной «Божьей милостью». Это понятие развивали потом Екатерина II и Александр I. Александр II сделал второй шаг к европеизации: он покончил с вотчинным социальным строем, со старым привилегированным служилым сословием. Так был открыт путь к окончательному, мирному преобразованию

России в современное демократическое государство, начатому «великими реформами» Александра II.

Оба акта — Петра Великого и Александра-освободителя — имели горячих друзей и столь же горячих врагов. Одни осуждали их как первые шаги к революции; другие признавали, что не революционные сами по себе реформы Петра и Александра II повели к революционному исходу лишь потому, что обломки теократической монархии и старого правящего класса — «опоры престола» — не хотели уходить из истории, не дав решительного боя. Они вступили в союз друг с другом для борьбы против новых начал политической свободы, социальной справедливости и права. Быть может даже эта борьба еще не кончилась, — и это напоминает нам, как мы еще молоды. Еще живы даже последние представители поколения, помнившие крепостное право и бывшие свидетелями его отмены. Еще в памяти у нас и то время, когда чествование праздника 19 февраля считалось если не преступлением, то явным признаком неблагонадежности.

С точки зрения борьбы за право, начавшейся до 1861 г. и продолжавшейся, вопреки реформе, до последней революции, нам и приходится рассматривать событие, 75-летие которого мы празднуем в изгнании. Возможно кратко мы рассмотрим прецеденты освобождения, самый ход реформы и, наконец, ее последствия.

Я не буду, конечно, пересказывать длинную историю бесплодных подходов власти к ликвидации крепостного права: всю эту бесконечную бумажную суетню в десятках «секретных комитетов». Напомню только, что здесь уже столкнулись два взгляда на задачу освобождения: свобода без земли или земля без свободы. Решение, предложенное революционным лозунгом: «земля и воля», никак не давалось нашим официальным освободителям. Однако же и первый путь — к так называемой «птичьей свободе» без земли — пришлось признать невозможным: было ясно, что его не допустят крестьяне, считавшие землю искони «своей». Второй путь, хотя и компромиссный, явно нарушал интересы дворянства. Отсюда — промедление крестьянского освобождения от Екатерины II до Александра II. Однако чем дальше, тем труднее становилось сохранить «право», которое даже не было правом в европейском смысле, а беспредельным произволом над лицом и имуществом человека. Против него шла вековая борьба и сверху и снизу: сверху боролось русское общественное мнение, снизу — народное нетерпение. Наш Пушкин написал эти незабвенные строки:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца;

Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея;
Здесь девы юные цветут для прихоти развратного злодея.

А темный низ отвечал разбойной песней (40-е годы, Саратовская губерния):

Как за барами житье было привольное:
Сладко попито, поедено, похожено,
Вволю корушки без хлебушка погложено,
Босиком снегу потоптано, спинушку кнутом попобито.
Нагишом за плугом спотыкалися,
До пьяну слезами напивалися.
Во солдатушках послужено,
Во острогах ведь посижено,
Что в Сибири перебивано, кандалами ноги потерты,
До мозолей душа ссажена...
А за этим следует возмездие:
А теперь за бар мы Богу молимся:
Божьи церкви — небо ясное,
Образа ведь — звезды чистые, а попами — волки серые,
Что поют про наши душеньки.
Темный лес — то наши вотчины,
Тракт проезжий — наша пашенька;
Пашню пашем мы в глухую ночь;
Собираем хлеб, не сеявши...
Куда глянешь — наша вотчина,
От Козлова до Саратова, до родимой Волги-матушки,
До родимой Волги-матушки, до широкого раздолица, —
Там нам смерти нет, ребятушки.

«Смерти нет» — в страшной песне, хранящей наследие пугачевщины. Смерти не было и реакций на крепостное право: убийством помещиков в домах и в поле, восстаниям крестьян в поисках «указа» о воле, побегам в темный лес и в степь, на «Волгу-матушку». Не было недостатка и в выражении морального протеста со стороны интеллигенции: Новиков, Радищев, Пушкин, декабристы, Тургенев — такова славная традиция этого протеста. Двойное действие морали и страха сказалось на представителях власти. Екатерина II говорила: «Если не согласимся на уменьшение жестокости и умерение человеческого роду нестерпимого наказания, то и против воли сами оную (свободу) возьмут — рано или поздно». Повторил это и имп. Николай I: «...лучше нам отдать добровольно», советовал он светскому дворянству, «чем допустить, чтобы у нас отняли». И наконец, знаменитые слова Царя-освободителя московскому дворянству: «...лучше, чтобы освобождение пришло сверху, нежели снизу».

К страху и велению совести прибавим еще третий мотив, подрывающий крепостное право: материальный интерес самих помещиков. По мере экономического развития России крепостное право становилось просто невыгодным. Нехлебородный север рано перешел к подсобным промыслам и к отходу на заработки. Помещику здесь земля была не важна; важен оброк с личности крестьянина. На хлебородном юге, где земля и хлеб для экспорта росли в цене, рабский труд уже не окупал содержание раба и приходилось предпочитать наемный вольный труд как более дешевый. То же было и на заводах, где работали крепостные.

Все вместе эти мотивы наконец подействовали. Против них был, конечно, могущественный классовый интерес, перед которым и оставались цари. Но недаром еще Строганов убеждал Александра I, что в России дворянство не представляет решающей силы; невежественное и пассивное в своем большинстве, оно подчинится царской воле. Разумный государственный расчет и страх перед волнующейся крестьянской массой оказались сильнее. Крестьянское освобождение после провала Крымской войны было поставлено на очередь — и осуществилось под знаком упорного, но бессильного дворянского сопротивления.

Неизбежное вообще, оно, конечно, не было необходимо именно в 1861 году. Чтобы оно все-таки совершилось, необходимо было, чтобы к причинам общим присоединилось благоприятное сочетание личных условий. Тут законно поставить вопрос о заслуге деятелей освобождения, и, прежде всего, о заслуге того, к кому Герцен обратился со знаменитым признанием: «Ты победил, Галилеянин». Социальной силе правящего сословия можно было противопоставить лишь волю монарха. Вот почему тогдашние наши радикалы были против ограничения царской воли конституцией, которая неизменно оказалась бы дворянской. Вспомним при этом завет Жуковского при рождении Александра II: «Жить для веков в величии народном, / Для блага всех — свое позабывать, / Лишь в голосе отечества свободном / Со смирением дела свои читать» и на высокой чреде помнить / «Святейшее из званий — человек».

Это была, однако, хотя и добрая, но слабая воля, открытая случайностям противоположных влияний. Еще в 1857 г. Александр говорил Киселеву за границей: «...я решился, но никого не имею, кто помог бы». И неизвестно, что вышло бы из затеянной реформы, если бы «помощники» не нашлись. По счастью, их оказалось достаточно, чтобы произвести нужное влияние, хотя бы и на время. Они нашлись, прежде всего, в собственной семье государя: его брат, в. к. Константин Николаевич, моряк, *l'esprit ouvert**, как характеризовал его Тьер, и

* Открытый ум (фр.).

особенно тетка, дочь вюртембергского принца и вдова в. к. Михаила Павловича, Елена Павловна, *esprit fort de la famille**, — покровительница талантов, доступная голосу сердца, образованная, находившаяся под влиянием Киселева и собиравшая около себя салон выдающихся русских людей, таких, как Милютин и Кавелин. По почину Кавелина она, собственно, и дала первый толчок реформе — проектом освобождения крестьян в своем имении Карловке.

Оба царских родственника явились незаменимыми посредниками между царем и людьми другой складки и другого лагеря — просвещенными чиновниками Я.А. Соловьевым и особенно Н.А. Милютиным, истинными творцами освободительного законодательства. Воля к освобождению здесь соединялась со знанием и бюрократическим опытом. Оба с самого начала имели ясный взгляд на задачи и способы освобождения. Но провести этот взгляд, весьма радикальный по тому времени, нельзя было, не переделав взгляды царя и его ближайших помощников. А оба они стояли далеко от двора, и их взгляды не могли возбуждать доверия в его окружении. Не только сближение, но и простое знакомство было бы невозможно, если бы новым посредником между царем и «красными» доктринерами не явился простой, честный служака, заслуживший царское доверие тем, что в молодости добросовестно «предал» декабристов Николаю I, — Я.И. Ростовцев. Это был человек, по уровню понимания и по отсутствию деловой подготовки легко находивший общий язык с царем. Вместе с Александром II он проделал, идя только на шаг вперед, всю эволюцию от правого дворянского, потом умеренного взгляда на задачи освобождения до радикального милютинского — все же, конечно, не крестьянского. Не будь Ростовцева, пропасть между лагерями «эмансипаторов» и «крепостников» осталась бы не засыпанной. С ним хотя и компромиссное освобождение прошло через все подводные камни — и осуществилось.

А подводных камней встретилось на пути много. Четыре года, с 1857 до 1861 [г.], тянулась настоящая драма, полная самых трагических перипетий. Чтобы понять психологию этой скрытой, но тем не менее очень острой борьбы, необходимо остановиться на некоторых подробностях. Под свежим впечатлением крымского поражения, обнаружившего всю «черноту» русской «неправды», началось «зондирование» дворянства по вопросу об отмене крепостного права. Однако министр внутренних дел должен был доложить царю, что этим путем не получено «никаких результатов: дворяне не хотят брать на себя инициативу». Тогда 3 января 1857 г. был создан «негласный комитет». Александр обратился к нему с наводящим вопросом: «Сле-

* Сильный дух семьи (фр.).

дует ли теперь же принять решительные меры для освобождения?» Ответ был неутешителен: «Освобождение должно быть постепенным, без резких поворотов». Такая директива и соблюдалась до конца года. 26 июля Левшин, тов[арищ] мин[истра] внутр[енних] дел, решился предложить только... выкуп одних крестьянских усадеб за повышенную цену! 16–18 августа все еще рекомендовались «постепенность и осторожность» — не уничтожение крестьянского права, а только «улучшение быта». Из этого тупика вывел, наконец, реформу известный рескрипт губернатору Назимову, в котором, с обязательной ссылкой на добрые намерения дворян трех литовских губерний относительно «расследования инвентарных правил», повелевалось открыть губернские комитеты для «улучшения быта» — на основе все того же выкупа усадеб, но с прибавкой «надлежащего количества земли», отводимого крестьянам «в пользование», без нарушения «существующего ныне хозяйственного устройства помещичьих имений». Ловкий шаг Милютина состоял в том, что этот скромный рескрипт был в одну ночь отпечатан и разослан всем губернаторам. Так секретное становилось публичным, и открытие губернских комитетов было распространено на всю Россию. Для общего руководства был учрежден, с прежним реакционным составом членов, «Главный комитет по крестьянскому делу». Программа реформы обогатилась на этот раз подозрительным «переходным периодом» в десять лет, после которого отведенные крестьянам земли оставались за помещиком, а дальнейшая судьба их должна была определяться свободными соглашениями освобожденных (без земли) крестьян с помещиками. Проект Я. Соловьева об освобождении с землей был отвергнут, а принята и разослана программа помещика Позена, растягивавшая переходные годы на три периода и сохранявшая полную неизвестность судьбы земли по истечении переходного срока. Даже и при такой урезанной постановке вопроса Соловьев должен был доложить, что «полного безусловного сочувствия и желания к освобождению крестьян на указанных правительством основаниях не обнаружилось ни в одной губернии». Губернские комитеты работали по этой крепостнической программе; дворянство выжидало, что будет дальше.

Но Ростовцев и царь за этот 1858 г. совершили значительную эволюцию. В августе и сентябре Ростовцев послал царю из своей vacationной поездки четыре знаменитых письма, в которых, познакомившись на досуге лучше с делом, переходил от формы пользования землей, с сохранением вотчинной власти помещика, к идее о выкупе надела. Царь, проехавшись по России, усвоил себе рассуждения Ростовцева. Итог этого прогресса выразился в составлении новой программы 4 декабря, которая ставила, наконец, целью освобождения поземельную собственность крестьян, а вотчинную власть помещи-

ка устраняла, поставив между ним и крестьянином самоуправление крестьянского мира. Чтобы провести такую радикальную программу, ее надо было, очевидно, насильно навязать дворянам. С этой целью было создано 17 февраля 1859 г. при Главном Комитете новое промежуточное учреждение — «редакционные комитеты». Центральной фигурой в них — на этот раз уже совершенно открыто — явился Н. Милютин, про которого председатель Ростовцев так и выражался: «наша Эгерия». Поддержанный Еленой Павловной, Милютин окружил себя единомышленниками, введенными в комитет в качестве экспертов. Такими были Юрий Самарин, кн. Черкасский и др. Сплоченное большинство легко проводило свои взгляды в этой инстанции; но спрашивалось, что же будет дальше. Александр II обещал вызвать председателей губернских комитетов в Петербург для сотрудничества при разработке окончательного проекта. Но у комиссии был уже свой проект; подвергать его опасности разгрома провинциальными дворянами не было никакого желания, и петербургские чиновники, заслужившие с этих пор свою репутацию «красных», решили поставить дворянство перед совершившимся фактом. Дворян пригласили в столицу отнюдь не для совещаний с решающим голосом, а только для опроса — каждого порознь — о применении общего центрального проекта к местным особенностям. Можно представить себе негодование дворянских депутатов, когда, прибыв в Петербург, они узнали, что правительственный проект уже выработан на основании следующих семи пунктов: 1. освобождение с землей; 2. выкуп наделов; 3. поддержка казны при выкупе; 4. сокращение переходного состояния; 5. уничтожение барщины через три года; 6. крестьянское самоуправление и 7. сохранение за крестьянами существующих наделов.

25 августа 1859 г. состоялась первая [встреча] депутатов так называемого «первого созыва» с редакционными комиссиями — каждого поодиночке. Это был сравнительно либеральный состав: преимущественно помещики нечерноземных губерний, не державшиеся особенно за сохранение крепостного права, — конечно, под условием компенсации за потерянное. Но они не хотели и уничтожения привилегированного положения дворянства. Из их среды раздались требования, как бы в награду за освобождение, введения конституции, гласного суда, сохранения вотчинной власти. Появились дворянские всеподданнейшие адреса с резкой критикой деятелей редакционных комиссий. Ответом был строгий оклик царя и выговоры петиционерам. Но это не ослабило раздражения дворян против петербургских «красных» бюрократов. Известное впечатление все же было произведено на правительство этими настроениями дворянства. Александр II и без того не доверял Милютину. Теперь поддался и Ростовцев.

Он объяснял царю: «Они правы со своей точки зрения, мы — со своей. С точки зрения права, вся зачатая реформа, с начала до конца, несправедливая, ибо есть нарушение права частной собственности. Но, как необходимость государственная, реформа законна, священна и необходима». «Комиссия иногда наклоняла весы в сторону крестьян, потому что потом, от пользы крестьян к пользе помещиков, будет много охотников и много силы, так что быт крестьян мог бы не улучшиться, а ухудшиться». Но цель комиссии — «не завязать новых социальных узлов, которые пришлось бы впоследствии или распутывать, или разрубать». «Дать мало — будет пугачевщина». Так сам Ростовцев намечал компромисс, очевидно, совпадавший с новым поворотом направлений царя. И с наступлением 1860 г. вся картина меняется: весы склоняются в сторону помещицкой «силы».

Переход был облегчен тем, что 6 февраля 1860 г. Ростовцев умер. К общему недоумению, его заместителем назначен был крепостник гр. Панин. Елену Павловну Александр утешал, что у Панина нет своих мнений и что он будет строго исполнять царские приказания. Это было не совсем верно; да и тон этих приказаний уже изменился. В конце того же февраля, принимая дворянских депутатов второго призыва, гораздо более реакционных, чем состав первого призыва, император счел нужным сказать им: «Носились нелепые слухи, будто я изменил свое доверие к дворянству. Это ложь и клевета... Без некоторых пожертвований с вашей стороны обойтись невозможно. Я желаю, чтобы эти жертвования были сколь возможно менее тягостны и обременительны для дворян». А эти дворяне — из южных губерний — крепко держались за землю, мало давали ее, дорого за нее требовали и продолжали негодовать на «бюрократов».

10 октября редакционные комиссии были закрыты. Царь предупредил в заключительной речи: «...всякий труд должен иметь свои несовершенства»; «может быть, придется многое изменить». А как изменить работу комиссии, видно было уже из того, что судить о ней должен был теперь Главный Комитет, в котором не было большинства в пользу проекта редакционных комиссий. Только благодаря в. кн. Константину Николаевичу, заменившему заболевшего председателя комитета кн. Орлова, удалось, после горячих прений по самым коренным основаниям реформы, превратить меньшинство в большинство, перетянув гр. Панина, не без серьезных уступок, на сторону проекта. Когда после всего этого проект перешел из Главного Комитета в общее собрание Государственного Совета, Александр II уже предупредил его членов: «Все, что можно было сделать для ограждения выгод помещиков, уже сделано»... «Прошу не забывать, что основанием всего дела должно быть улучшение быта крестьян не на словах и не на бумаге, а на самом деле». Это предупреждение не помешало, однако,

Государственному Совету, в свою очередь, еще раз понизить размеры подлежащих выкупу наделов и ввести так называемые «дарственные наделы» — в четверть нормальных.

После всех этих перипетий, потеряв в пути значительную долю своей ценности, проект сделался, наконец, законом. Правда, манифест 19 февраля, возвестивший о нем, по свидетельству Щербачева, вызвал «недоумение». Были и случаи сопротивления крестьян: освобождение вышло неполное и чересчур дорогое. Прав был другой современник, заявивший, что «великое значение акта будет понято не сразу». Его понял, однако, сразу поэт Некрасов и выразил в наглядном образе:

Порвалась цепь великая; порвалась, раскачалась:
Одним концом по барину, другим по мужику.

Нам остается в самых коротких словах напомнить, в чем состоял этот двойной удар порванной цепи. Она, действительно, сильно ударило «по барину». По «Положению» дворяне сохранили из 105 миллионов десятин, которыми владели до освобождения, около 78 миллионов — три четверти всего своего земельного достояния. Но они не сумели удержать этой цифры. К 1905 г. — году первой революции с сильным аграрным оттенком — за ними оставалось уже только 52 миллиона, т.е. половина дореформенных владений. К следующему же (1906 [г.]) они сохранили только 44 миллиона, из которых только 33,6 % действительно обрабатывались помещиками, т.е. только каждое третье семейство усидело на земле. Но и те сдавали часть земли в аренду крестьянам или посредникам. К началу XX века уже только одна пятая часть земельной площади (21 %) обрабатывалась самими дворянами. Так быстро шло дворянское «оскудение» (заглавие романа Атавы-Терпегорева). Едва расплатившись с долгами при помощи выкупных свидетельств, дворяне быстро вошли снова в долги. В 1903 году, так же, как и перед освобождением, половина всех частных имений была в залоге. «Вишневые сады» один за другим шли под топоры «чумазого» (Салтыков и Чехов).

Но цепь ударила и «по мужику». Конечно, личность крестьянина была освобождена; и притом это была не «птичья» свобода, а с землей. Но земли было мало — всего по три с половиной десятины в среднем, стоил выкуп дорого, налоги были высоки, а за приарендованные клочки приходилось платить непомерные цены. Уже к концу XIX века наступил кризис. За сорок лет с 1861 г. количество населения увеличилось на 90 %: 85 миллионов вместо 45. Надел составлял уже половину прежнего (54 %), а в черноземной полосе даже треть (35,5 %). В то же время главный продукт — хлеб — подешевел на мировом рынке к концу века, а урожай и количество скота в хозяйстве упало.

Какой же исход предвиделся из такого критического положения? Тут начался бесконечный спор о причинах кризиса. Левые, исходя из факта крестьянского малоземелья, настаивали на увеличении крестьянской площади. Правые, отводя это требование, искали причины в отсталой технике русского земледелия и рекомендовали в качестве лекарства увеличение производительности сельского хозяйства. Что мешало этому? Правые находили главное препятствие в существовании сельской общины, приводившей крестьянство к круговой нищете. Левые видели в плане правых стремление облагодетельствовать «кулака» за счет крестьянской массы.

Это приводило к критике другой стороны освобождения: свобода, полученная крестьянами, была, конечно, неполная. Права помещика на крестьянина не были уничтожены вполне, а переданы общине; крестьянин не крепок помещику, но крепок миру. Таким образом, крестьянство не было приравнено к свободным сословиям; оно осталось податным. Следовательно, говорили правые, надо дать крестьянину свободу выхода из общины, свободу купли и продажи земли и обращения надела в частную собственность. На это левые возражали: нельзя уничтожать общины, потому что она сохраняет землю в крестьянских руках и дифференциацию на богатых и бедных. Разрушить общину — значит вернуться к свободе «без земли» — к птичьей свободе.

Так «либерализм» и крепостничество поменялись местами. Старые крепостники распинались за свободу личности, а «либералы» (точнее? радикалы) — за ограничение свободы и за сохранение неравенства. В этом виде перешел крестьянский вопрос и в Государственную Думу. Перед правительством стояла дилемма: или расширение площади крестьянского землепользования путем принудительного отчуждения частновладельческих земель в пользу крестьянства, или же, не трогая помещиков, выделение из крестьянской массы зажиточных хозяйств с высокой культурой за счет всех остальных.

Как известно, на этом вопросе оборвалось первое народное представительство, и был выдвинут проект Столыпина о создании новой «смены» оскудевшему сословию путем создания «хуторов» и выделения «отрубов» из общины. Община насильственно разрушалась и создавался, по прусскому образцу, слой сильного консервативного крестьянства — *der feste Bauernstand**. Хозяйственный коллективизм должен был уступить место укрепившемуся чувству частной собственности. Удался ли этот план, явно носивший политический характер? Ответить на этот вопрос трудно уже потому, что револю-

* Консервативное крестьянство (нем.).

ция смела все плоды едва начавшейся работы. Но что представляли из себя итоги Столыпинской реформы до начала революции?

В течение пяти лет — 1907—1911 — была, несомненно, проделана огромная работа — или произведена огромная ломка. Правительство поддерживало насильственное выделение «сильных» из общины, отдавая им лучшие земли и снабжая их кредитом в размере более 90 %. Беспредельные (в течение 24 лет) общины разрушались по закону автоматически. Каков же получился результат всех этих, весьма энергических усилий? К 1 января 1915 г. заявили об укреплении участков в частную собственность 2719 миллиона крестьян; из них укреплены 1979 миллиона. По отношению ко всей площади надельной крестьянской земли — около одной седьмой (13,9 %). Но кто были эти выделявшиеся и укреплявшиеся? Как оказывается, это были не «сильные» мужики, а средние, и притом преимущественно из северных, а не южных губерний. Выход на закрепленные участки тут (на севере) шел параллельно с переселением. Затем 53 % прошений имели целью приобрести участки не в отдельную собственность, а группами, с сохранением старой формы хозяйства. «Хуторов» (т.е. домов с округленным около них участком) было в этом числе гораздо меньше, нежели «отрубов» (т.е. домов в деревне с отдельным округленным участком в поле). До 1 июня 1912 г. было укреплено 130—140 тысяч отрубов (по 60—70 дворов в каждом) и только 50—60 тысяч хуторов. То же было и с получением денег через банк: покупали больше мало-земельные. Словом, по правильному заключению германского исследователя Прейера — вовсе не противника реформы, «собственная цель реформы не была достигнута».

Как известно, вместе с неудачей аграрной реформы Столыпина потонуло в революционной пропасти и самодержавие и дворянство. После победы большевиков аграрный вопрос, вопреки первоначальному намерению разрешить его по-народнически, сочетавши «землю» с «волей», приобретает старую форму нового рабства у государства-помещика: это «земля без свободы». Аграрный коллективизм оживает в неожиданной форме колхоза. Недаром колхоз привился легче именно на севере, где община была более живуча, тогда как на юге, на территории частной собственности, введение колхозов встретило наибольшее сопротивление. Народники оказались правы в том смысле, что община допускала более легкий переход к коллективной форме хозяйства — через разные формы кооперации. И последние сведения из России свидетельствуют о том, что в колхозе главный протест возбуждает его принудительность, а не та или иная форма кооперативного сотрудничества. И очередным требованием является, по-видимому, свободный выход из колхозов со свободным же выбором формы землепользования в дальнейшем.

Как видим, поставленный в упор перед Россией в 1861 г. аграрный вопрос не сходит с очереди. Освобожденное крестьянство, даже с точки зрения теоретиков диктатуры пролетариата, продолжает считаться и быть главным фактором социальной жизни России. Его разрешение не укладывается в рамки господствующей доктрины, а потребность этого разрешения, снова обострившаяся в последнее время, все более становится главным фактором, направляющим государственную политику на уступки. Недаром революционный период русской истории начался с постановки на очередь именно крестьянского вопроса. Он не кончится, пока для этого вопроса не будет найдено, наконец, правильное разрешение. Крестьянская реформа 1861 г. и все ее последствия дают в руки современного законодателя весьма ценный материал, который, во всяком случае, показывает, чего не следует делать. В этом смысле великое событие 19 февраля 1861 г. далеко не отошло еще в историю. Традиция освобождения и раскрепощения, идущая от этого дня, до сих пор остается такой традицией, которую ее противникам не удалось ни оборвать, ни закончить. Праздник крестьянского освобождения остается, таким образом, по праву и по требованию жизни нашим главным гражданским праздником.

Современные Записки. 1936, № 61

ВЕЛИЧИЕ И ПАДЕНИЕ ПОКРОВСКОГО (эпизод из истории науки в СССР)

I

Возможен ли социализм в такой стране, как Россия? Под «такой» страной разумелась при этом отсталая земледельческая Россия, не прошедшая через горнило «капитализма» и доступная, по степени своей социально-политической эволюции, самое большее, для какой-нибудь «буржуазной революции» с соответственной «республикой» в результате. Этот вопрос задавали себе деятели коммунистического переворота накануне 25 октября. Некоторые из них, как Каменев и Зиновьев, отвечали на него отрицательно: нет, социализм в России невозможен. Люди, так думавшие, теперь расстреляны; но вопрос о том, введен ли в России социализм в результате революции, остается и до сих пор спорным, несмотря на строгий приказ Сталина, раз навсегда решившего: социализм в России введен, и больше об этом говорить не нужно. Это — в порядке практическом.

А в порядке теоретическом, где все-таки приходилось несколько церемониться с логикой фактов, щекотливый вопрос, тревоживший совесть Каменева, давно был заменен другим, менее откровенным: возможно ли ввести социализм в России хотя бы после того, как его введут у себя более прогрессивные страны, поощренные к этому русской революцией? Так ставил вопрос давно уже Троцкий (1905): на необходимости этой отсрочки была основана его теория «перманентной революции». Но после того, как отсрочка, принятая и Лениным — для введения социализма в других странах, затянулась до бесконечности, а русская революция была все-таки произведена, так сказать, в кредит, возник снова вопрос о том, каков же смысл этой революции.

У Маркса на этот раз нельзя было искать ответа; приходилось рубить с плеча. И Сталин, уже совсем не считаясь ни с фактами, ни с официальной доктриной, просто-напросто декретировал: возможно, значит, и введение социализма в одной стране (т.е. не дожидаясь других). Формула стыдливо умалчивала, что этой «одной» страной была все-таки отсталая Россия, т.е. вопрос возвращался к исходной точке. Но то было время, когда рассуждать вслух о подобных вопросах было уже строго запрещено. Оставалось только заменить осторожное «возможно» циническим «уже существует», и цикл теоретических рассуждений о смысле русской революции можно было объявить официально законченным.

Однако же оставалась инстанция, к которой поневоле приходилось апеллировать: русская история. Нельзя же было объявить русскую историю небывшей и запретить всякое знакомство с нею. Оставался один выход: переделать историю на свой лад в угоду официальной доктрине. Доктрина учила, что в царство социализма переходят через вполне развитый капитализм. Но разве в России не было капитализма? Было, правда, старое течение старых русских народников, которые в наступление социализма верили, а капитализм в России отрицали. По этому учению социализм мог — и даже должен был — водвориться в России и помимо капитализма. Но для нового поколения русских марксистов этот исход был неприемлем. Им нетрудно было доказать — это и не отрицалось исторической наукой, что капитализм в России все-таки был. Невозможно было доказать, что он дорос до той степени, какая требовалась по Марксу для безболезненного перехода в социализм.

Но вопрос о степени капиталистического развития все же оставался спорным. Русским марксистам представлялась возможность доказывать, что прежняя («буржуазная») наука игнорировала существование капитализма в русском прошлом или, во всяком

случае, преуменьшала его значение. Они даже получали поддержку у историков-«западников»: те ведь признавали, что Россия развивается тем же путем, как и европейский Запад, а следовательно, она должна пройти через стадию капитализма. В споре о сходстве или несходстве русского исторического процесса с западным историки-западники стояли на одной стороне с марксистами — против народников и их предшественников-славянофилов, утверждавших, что у России «особенная статья». Конечно, историки-западники все же не хотели, подобно марксистам, выводить политический строй прямо из современного ему состояния производительных сил; не хотели и признавать государственную власть всецело находящейся в руках господствующего в данное время класса. Но, как увидим, и среди самих марксистов не все было благополучно.

Как бы то ни было, марксистам не хватало такого — совсем своего — специалиста-историка, который бы подвел фактическую основу под официальную формулу «диалектического материализма». Надо было доказать, что социализм водворился в России при Сталине не каким-то чудесным, сверхъестественным путем, а по всем правилам исторической закономерности, какой требовало учение Маркса. Задача была нелегкая — в сущности, даже невыполнимая. Тем более заслуги были за человеком, который за нее взялся. Это был русский историк М.Н. Покровский: тот самый Покровский, которого его неблагодарные сотоварищи теперь стараются — к счастью, после его смерти, последовавшей до сталинских ссылок и расстрелов, — так же спешно развенчать, как они спешили его канонизировать.

II

М.Н. Покровский — мой младший современник. Он девятью годами моложе меня — по рождению и по окончанию Московского университета (1891). Он, вероятно, слушал мои первые лекции; но ближе мы с ним встретились на семинарии проф. Виноградова по всеобщей истории, где участники работали серьезно и научались строго научному методу работ. Покровский, один из самых младших участников, обычно угрюмо молчал и всегда имел какой-то вид заранее обиженного и не оцененного по заслугам. Я думаю, здесь было заложено начало той мстительной вражды к товарищам-историкам, которую он потом проявил, очутившись у власти. У нас он считался «подающим надежды», но тогдашних работ его я не знаю. Еще в 1900 г. он просил у меня работы в академическом стиле, и я не без удивления прочел, что «к 1905 г. М.Н. окончательно определился как теоретик-марксист и практик-революционер» и что, «вступив в ряды большевистской

партии, он принял активное участие в организации вооруженного восстания в качестве пропагандиста-агитатора и публициста»¹. Очевидно, я опоздал, считая его «кадетом».

В той же биографической справке говорится, что Покровский «после Лондонского съезда 1907 г. перешел на нелегальное положение и эмигрировал за границу. К этому времени относятся его крупнейшие работы “Русская история с древнейших времен” и первая часть “Очерков истории русской культуры”». Вернувшись в 1917 г. в Россию, Покровский быстро движется по линии партийных назначений. Он участник всех партийных съездов и конференций, член Совнаркома и ВЦИКа, организатор научных учреждений и учебных заведений, руководитель архивных изданий, редактор научных журналов, — и везде и всегда «непримиримый боец за марксистско-ленинскую теорию, за большевистскую партийность в науке против «право»- и «лево»оппортунистических извращений марксизма-ленинизма, против контрреволюционного троцкизма и буржуазных теорий»². Словом, Покровский становится большим сановником по служебной карьере и строгим блюстителем марксистского правоверия в своей науке. Мог ли он ожидать, что по смерти сам попадет в еретики?

Займемся немного правоверием Покровского. Как таковой, он должен был стоять на страже против всяких «буржуазных» пережитков и увлечений в исторической науке; от него должны были ожидать, по его положению, и заполнения того пробела в науке, который мешал ответить на коренной вопрос, поставленный выше: созрела ли Россия для социализма? Тут он должен был проявить некоторое творчество. Вопрос не был научно изучен; материалы для ответа не были подготовлены; недостаточно было знать, что сделано до сих пор; нужно было поработать самому над первоисточниками. Метод работы был Покровскому известен: он все-таки был человеком нашей выучки. Его выводы были для всех нас особенно интересны, так как у нас с ним были общие сходные точки. Мы вместе пережили полосу увлечения «экономическим материализмом», жаждали его применения к русской истории — и не сразу узнали, что Покровский обскакал нас, перейдя от модной теории в ее общем виде к тому специальному употреблению, какое сделано из нее в учении Маркса и Энгельса.

Надо признать, что его шаги в этом направлении были постепенны. Его «четырёхтомник», написанный за границей в 1910–1912 годах («по тому в год», совсем, как «История России с древнейших

¹ Милоков ссылается на краткую биографию Покровского, предпосланную «Русской истории в самом сжатом очерке» (М., 1932).

² Там же.

времен» Соловьева, у которой он заимствовал заглавие), держится в рамках «университетской науки», хотя он и относится уже к ней свысока и презрительно. Нового он тут не дает, хотя работы своих предшественников и товарищей хорошо знает и пользуется ими широко, стараясь, однако, на всяком шагу уязвить их и подчеркнуть свое превосходство. Его «История» идет, конечно, дальше курса Ключевского — на все то расстояние, которое прошло от составления этого курса до появления новых работ нашего поколения, следовавшего за Ключевским.

Главный талисман Покровского, с помощью которого он всех обгоняет, прост: он заключается в том, что к добытым до него знаниям он применяет новую терминологию. Правящий класс у него называется «феодалами», а торговый и промышленный — «буржуазией» — и так на протяжении всей «Истории от древнейших времен». Более самоуверенно, чем все мы в те годы, он развенчивает «героев» в пользу господствующего класса, а этот класс делает автоматом экономических условий и состояния «производства». Никакой, конечно, «великой державы» не было на заре истории. Преимущество киевской «городской» Руси над владими́ро-суздальской «сельской», особенно ярко подчеркнутое Ключевским, уступает место единому «эволюционному процессу», вытягивающему ту и другую главу истории в один, медленно восходящий ряд. Никакого и «юридического» признака договоренности не полагается в древнерусском «феодализме»: «Этот последний гораздо более есть известная система хозяйства, чем система права»¹.

Покровский даже жертвует эффектной ролью «торговли» при возникновении русского государства: «Какое может иметь значение торговля при сплошном господстве натурального хозяйства на протяжении целого ряда веков?» А это даже не «меновая торговля», а «просто разбойничья». «Собирателей» московской Руси автор трактует не менее иронически. «Рассыпаться было нечему; стало быть, нечего и собирать... оставим старым официальным учебникам подвиги собирателей». На «реформах Грозного», на «публицистике» его времени и на личности самого царя Покровский останавливается со апатом; но «изображать эти “реформы” как продукт государственной мудрости самого царя и тесного кружка его советников уже давно стало невозможным».

¹ Здесь и далее Милюков ссылается на: Покровский М.Н. История с древнейших времен. Т. I–III. 5-е изд. М., 1923. В приводимых цитатах имеются незначительные неточности (перефразировка, не указаны страницы начала или продолжения цитаты и др.), не меняющие содержания передаваемого текста.

Дело тут, как полагается для «материалиста», в экономике: в переходе к «среднему землевладению, успешно сживавшемуся с условиями нового менового хозяйства» и с подъемом «исстари сильной в Москве буржуазии». И даже «акт династической и личной самообороны царя [опричина]... диктовался объективно экономическими условиями». «Во всем перевороте, совершенном Грозным, речь шла об установлении нового классового режима, для которого личная власть царя была лишь орудием». Что и требуется доказать «марксисту». «Воскресение старого политического режима» после Смуты объясняется опять «возрождением старых экономических форм, которые веком раньше казались отжившими». «Новый подъем начался не ранее конца XVII столетия».

Наконец, Петр Великий и «знаменитый вопрос Милокова» — что сделало неизбежным появление России в кругу европейских государств того времени? «Ученики Соловьева демонстрировали необходимость переворота как необходимость военно-финансовую». Конечно, они ничего не понимали. «Шесть лет после диссертации Милокова впервые было указано (Туган-Барановским) на торговый капитал как экономическую основу петровской реформы». И глава о петровской реформе сопровождается подзаголовком: «Торговый капитализм XVII века». Правда, это капитализм европейский, рассматривающий Россию как «колонию». «В России конца XVII века были налицо необходимые условия для развития крупного производства: были капиталы — хотя отчасти и иностранные, был внутренний рынок, были свободные рабочие руки. Всего этого слишком достаточно, чтобы не сравнивать петровских фабрик с искусственно-выгнанными тепличными растениями» (полемика против меня. — П.М.). Но... «самодержавие Петра и здесь... создать ничего не сумело. История петровских мануфактур в этом отношении дает полную параллель к картине того административного разгрома, которую так хорошо изобразил в своей книге г. Милоков».

Чтобы оправдать экономику, автор готов на этот раз сойтись со мной в применении, хотя бы и отрицательном, «индивидуального метода», обычно им высмеиваемого. Виноват Петр: он неминуемо «пытался учить капитал, загнав его дубиной в промышленность», хотя тот «опять просился в торговлю». Так и не вытанцовался промышленный капитал при Петре; Россия осталась при торговом; да и то: «завоевание России торговым капиталом было временным и непрочным». Но, разумеется, в этой «отсталости» не было ничего своеобразного — никакой «национальной особенности русского народа». Просто произошло запоздание общего повсюду процесса. По существу же, сходство того, что происходило в России начала XVIII века, с тем, что знакомо западноевропейской истории XVI в. — иногда фотографическое.

Несколько словесных изворотов, — и теория опять спасена ценой признания запоздания России на сто лет с лишком.

«Набег торгового капитала», как бы то ни было, «не изменил дворянской природы Московского государства». Глава о Елизавете так и озаглавлена: «Новый феодализм». «Шляхетство, наконец, добилось своего». «Буржуазные наслоения первых лет XVIII века были смыты теперь основательно, — и старый социальный материк должен был выступить наружу». «Государь-помещик» окончательно превратил свою вотчину в «маленькое государство». «Новый феодализм» принял и «свой политический аспект»: теорию сословной монархии. Это, конечно, должно быть переходом к Екатерине II. Покровский тут возражает против тех исследователей, которые, в пику мне, «перегнули палку в противоположную сторону и стали рисовать екатерининскую Русь чуть не капиталистической страной». Действительно, это противоречило бы всему предыдущему изложению Покровского. При Екатерине социальное принуждение не экономическое, а «внеэкономическое»: это не «так называемое освобождение крестьян», а полный расцвет крепостного права. «Идею освобождения крестьян в XVIII веке убили [высокие] хлебные цены». Итак, запоздание России еще на сто лет, да еще с «внеэкономическим» давлением власти!

Не будем продолжать этих сопоставлений. Повторяю, во всем этом много верного, такого, что в большей или меньшей степени было общего у всех нас. Покровский только в своей жажде самовозвеличения утрировал это общее, доведя местами почти до карикатуры, но не имея еще смелости отойти от наших общих достижений.

И все же — он отстал от событий. Перепечатаывая в 1922 году свой «четырёхтомник», он уже должен был извиниться, что курс его «мало удовлетворителен с точки зрения теперешнего марксиста». Но... «нет другого курса русской истории, более марксистского», и «для первоначального ознакомления с тем, как понимают русскую историю историки-материалисты, приблизительно достаточно и существующего текста»¹. Покровский не предвидел, что в дальнейшем от извинений ему придется перейти к покаяниям — и притом неоднократно. Но он — за страх или за совесть — старался быть на высоте и не отставать от века. Он избрал для этого легчайший способ — изобличать других в недостатке марксизма или суждениях о русской истории. Сам он начал еще более упрощать свои прежние взгляды в том направлении, которое считал ортодоксальным. Сейчас увидим, как в этом процессе упрощений и приспособлений он запутался, нарвавшись не на безгласных своих последователей и слушателей, а... на самого Троцкого.

¹ См.: Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен. Т. 1. Л., 1924. С. 3. (Предисловие к 4-му изданию).

III

Пока все шло благополучно. Вернувшись в Россию накануне октябрьского переворота, Покровский показал себя, как мы видели, «непримиримым борцом за марксистско-ленинскую теорию и за большевистскую партийность в науке». Его четырехтомник был перепечатан Госиздатом в 1922 г. и достиг в два года шестого и седьмого издания, тогда как курс Ключевского застрял на втором и третьем. Начался головокружительный партийный взлет Покровского. В качестве носителя ортодоксии в «науке» он стал монополистом и принялся усердно обличать «право»- и «лево»оппортунистических извратителей «официальной доктрины». В 1923 г. таким уже проявил себя Троцкий в борьбе против Сталина за власть. Это был достойный объект для нападения. Но я позволю себе привести здесь длинную цитату из Покровского, которая покажет, как он ввязался в эту роковую для него драку.

«Года три тому назад студенчество наших коммунистических университетов было в большом волнении. Оно привыкло читать в марксистских руководствах по русской истории, что социально-политическое развитие России шло таким же путем, как и развитие стран Западной Европы; что русское самодержавие было таким же исполнительным комитетом крупных земельных собственников и крупного коммерческого капитала, как и западноевропейский абсолютизм XVI–XVII вв., что судьбы этого самодержавия определялись в конечном счете развитием русского капитализма и, стало быть, зависели от общественного развития России».

И вот — вышла книжка Троцкого «1905», где студенты увидели написанным черным по белому, что в России абсолютизм существовал «наперекор общественному развитию», что он превратился у нас в «самодовлеющую организацию, стоящую над обществом»; что он возник вовсе не на основе раннего капитализма эпохи «первоначального накопления», а «на примитивной экономической основе» (которая дальше поясняется как натуральное хозяйство «самодовлеющего» характера), и для создания его русское государство «должно было обгонять развитие своих собственных экономических отношений». Словом, все было совсем наоборот тому, что рассказывали русские историки-марксисты. А на естественно возникший у коммунистических студентов вопрос, на чем же выросло самодержавие, если оно не зависело от общественного развития и обгоняло экономические отношения, на первой же странице можно было прочесть ответ: «При слабом сравнительно развитии международной торговли решающую роль играли межгосударственные военные отношения. Социальное влияние Европы в первую очередь сказывалось через посредство

военной техники». Не капитализм толкал вперед развитие русского государства, а наоборот, русский абсолютизм ревностно насаждал капитализм для своих военно-политических целей. «Чтобы удержаться против лучше вооруженных врагов, русское государство было вынуждено заводить у себя промышленность и технику».

Словом, первая и основная особенность исторического развития России состояла в том, что всюду в мире экономика командовала над политикой, а у нас наоборот. Согласитесь, что коммунистическим студентам было чему удивляться. Естественно, что они не без гнева (авторитет Троцкого в 1922 г. был еще велик) обратились к своим профессорам истории. «Что же вы нам рассказываете? Почитайте, что пишет Троцкий: дело совсем не так было!»¹

Положение стало еще серьезнее, когда Троцкий на первую же обличительную статью Покровского² ответил, что его взгляд вовсе не случаен, а сложился у него в тюрьме в 1905–1906 г. и напечатан в «Нашей Революции» в Петербурге в 1907 г. как способ «исторически обосновать и теоретически оправдать лозунг завоевания власти пролетариатом, противопоставленный как лозунгу буржуазно-демократической республики, так и лозунгу демократического правительства пролетариата и крестьянства». Это и была теория «перманентной революции» Троцкого. Без этой теории «нельзя и сейчас понять октябрьскую революцию» (опередившую экономическую эволюцию капитализма. — П.М.). И Троцкий развил свой взгляд в статье «Об особенностях исторического развития России». У нас не было европейского города, и наш торговый капитализм «объясняется именно чрезвычайной примитивностью и отсталостью русского хозяйства». Пришлось русской государственной власти «стать историческим орудием в деле капитализирования экономических отношений России» «с помощью европейской техники и европейского капитала»³.

Не будем входить в специальный спор Покровского с Троцким. Но дело в том, что главным противником Покровского в этом споре оказался не Троцкий, а вся историческая наука предшественников

¹ Покровский М.Н. Троцкизм и особенности исторического развития России // Коммунистический Интернационал. 1925. № 3 (40). С. 21–22.

² Против концепции Троцкого Покровским были опубликованы статьи, см.: Правда ли, что в России абсолютизм существовал наперекор общественному развитию? // Красная новь. 1922. Кн. 7; Своеобразие русского исторического процесса и первая буква марксизма. (Нечто вроде ответа т. Троцкому) // Правда. 1922, 5, 13 июля; Троцкизм и особенности исторического развития России.

³ См.: Троцкий Л. Об особенностях исторического развития России. (Ответ М.Н. Покровскому). В кн.: Троцкий Л. 1905. 4-е изд. М. С. 296.

Покровского. Троцкий обошел его, так сказать, с тыла. И спорить ему приходилось не столько с Троцким, сколько с Ключевским и... Милоковым. «Что это такое, как не теория внеклассового государства, которую развивал Милоков?.. Пусть Троцкий отмежевывается от Милокова. Все же, стоя на своей позиции, он не может сказать о кадетском историке больше, чем что схема того есть “страшное преувеличение”». Преувеличение чего? — допрашивал Покровский. Ошибки или правильного в основе понимания русского исторического процесса? Ясно, что последнего...¹ Но Милоков повторяет Ключевского, а Ключевский Чичерина, и все они стоят на почве «преувеличения» роли государства... Карамзиным. Вот где завяз Троцкий...

Что касается меня, я уже во введении к первому тому нового издания «Очерков» признал долю своего «преувеличения» при попытке синтеза двух противоположных конструкций русской истории: одной, которая строится на «своеобразии», и другой, которая строится на «сходстве» русского исторического процесса с западным. Я всегда признавал неправильным доводить «своеобразие» до «исключительности», а сходство до «тождества»². Да и сам Покровский, пока он стоял еще на почве предыдущих научных работ в своей «Истории», в сущности, не мог бы возражать Троцкому. Мы только что видели, что «отсталость» русского исторического процесса он признавал и причиной его тоже считал запоздалость экономического развития. Следуя строгой доктрине экономического материализма, он должен был бы отнести на счет слабости экономического фундамента и характер политической «надстройки», т.е. другой несомненный факт русского прошлого: политическое господство «государства» над «классами». Чтобы избежать этого вывода, Покровский отрицает самый факт господства государства и, наоборот, старается доказать тезис господства «классов» над «государством».

Но тут начинаются его собственные «преувеличения», стоящие в очевидном противоречии с его же утверждениями относительно хотя бы отрицательного влияния «государства» в лице его представителей на ход экономического развития. Он наблюдает, например, в развитии экономики перерывы «реакций», вызванные «реформами» таких личностей, как Иван Грозный или Петр Великий. Он признает и влияние войн, и внешней политики на экономику. Личную историю государей он рассказывает с большим вкусом, продолжая в то же время отрицать их историческую роль. Словом, Покровский подпадал

¹ Покровский М.Н. Правда ли, что в России абсолютизм существовал наперекор общественному развитию? С. 145–146.

² Эти тезисы изложены Милоковым в «Очерках по истории русской культуры». (Т. 1. Париж, 1937. С. 29).

обвинению, которое и было против него позднее выставлено, что он сам «складывался как историк не в рядах большевистской партии, а в среде левых демократических историков»; что он «был демократическим историком, не имеющим понятия о марксизме, а затем примкнул к легальному марксизму».

Не могло быть ничего невыносимее этого обвинения для Покровского, и он принялся очищаться от обвинения в своей зависимости от «буржуазных» историков, трудами которых так широко воспользовался в своей «Истории». Он перебрасывал, напротив, то же обвинение на Троцкого и занялся розысками, откуда произошла та теория о «внеклассовом государстве» на «примитивной экономической основе», в усвоении которой он обвинил Троцкого. Ряд его полемических статей посвящается с этого времени обличениям русских историков. Мало того, он организовал двухтомное расследование о «Русской исторической литературе в классовом освещении»¹, в котором его ученики представили ряд подробных критических разборов учений тех историков, которых Покровский избрал мишенью своих нападений. Мы сейчас увидим, что он пересолит в этих обличениях, а Троцкий, опираясь на раскритикованных им историков, оказался более сильным противником, нежели он предполагал.

IV

Общая цель русских историков до Покровского, по его мнению, ясна. Находясь на службе у буржуазии, они всячески стараются скрыть ту классовую борьбу, которая на основе того или другого экономического строя ведет к созданию того или другого политического режима. Обличить этот «классовый» трюк и значит — найти ключ к «расшифровке» и пониманию «буржуазных» построений русской истории. Поднадзорные Покровского, повинные в подобных уловках, строятся им в следующий хронологический ряд: Карамзин, Чичерин, Соловьев, Ключевский, Милюков, а из «левых», поддавшихся их тлетворному влиянию, Плеханов и Рожков. Первые три внесли для маскировки классовой борьбы каждый свою фальшивую идею: Карамзин — голую идею «государства», Чичерин — всемогущую роль этого государства в ходе социального процесса: сперва в «закрепле-

¹ Сборник «Русская историческая литература в классовом освещении»: в 2 т., вышел с предисловием и под редакцией Покровского (М., 1927–1930). В нем рассматривались взгляды Г. Эверса, А.П. Щапова, С.М. Соловьева, Б.Н. Чичерина, славянофилов, В.О. Ключевского, П.Н. Милюкова, Н.А. Рожкова и др. В предисловии Покровский подчеркивал, что изучать историю можно, только основываясь на «классовом принципе».

нии» созданных государством сословий, а потом в их «раскрепощении» — все время в интересах правящего класса. Соловьев прибавил к этому указания на пружину, двигавшую усилением государства, — «борьбу со степью» и необходимость вооружаться для этой цели европейской техникой. Остальные так или иначе комбинировали эти основные идеи, оставаясь, однако, под гипнозом якобы «внеклассового государства».

О Карамзине, конечно, нечего и говорить: его панегирик государству развенчан уже самими буржуазными историками. Чичерин, тамбовской помещик и гегельянец, — другое дело. Это он строит схему закрепощения и раскрепощения, господствовавшую с 1858 г. вплоть до Ключевского и Плеханова. Ключ к ней, конечно, дается предстоящим тогда освобождением крестьян согласно интересам помещиков, продиктованным переходом (только тогда. — *П.М.*) к товарному хозяйству от натурального. Соловьев — сын столичного протопопа и «самый образованный из русских историков» — пустил в ход идею борьбы с хищниками степи явно в связи с восточными войнами Николая I и Александра II. Его «ключ» — бессознательная работа на пользу расширения внешнего рынка в интересах «промышленного капитализма» (наконец. — *П.М.*) на смену «торгового». Его слабая сторона — маскировка «борьбой со степью» завоевательной внешней политики самодержавия.

Ключевского классифицировать по этому способу труднее. Он — эклектик, соединивший «прикрепление и раскрепощение сословий» Чичерина с «борьбой со степью» Соловьева и прибавивший от себя национальный момент — Великороссию. Соединение, однако, вышло не «химическое», а только «механическое», замаскированное «гениальной» стилистикой профессора и писателя. Сын дьячка, Ключевский, конечно, «не может считаться выразителем какой-нибудь определенной классовой психологии»; но он «типичный представитель интеллигенции, т.е. того междуклассового строя, который, с одной стороны, связан с капиталом, с другой стороны, эксплуатируется этим капиталом, поэтому он против буржуазии». Милюков — ну, что же говорить о Милюкове. Поскольку он не следует Ключевскому, он, начав с попытки примирить абсолютно непримиримое — «государственную» схему русской истории со Щаповым, идеологом крестьянского класса в 60-е годы, возвращается в наши дни почти к чистой «щаповщине». Это — «почти замкнутая кривая: домарксистский исторический материализм».

Гораздо важнее, что «теория внеклассового государства, которую развивал Милюков без помощи марксистской терминологии» и которую «почти слово в слово повторил Троцкий», «держит в плену» и такого представителя «технической интеллигенции», как Плеха-

нов, и такого идеолога «дотехнической интеллигенции», как Рожков. Вопреки истинному марксизму Плеханов делает «несомненную попытку сколь возможно эмансипировать политический момент из-под влияния производительных сил: отодвинуть его подальше от них». Став на этот путь, Плеханов «со ступеньки на ступеньку» восстанавливает и соловьевского «кочевника», и чичеринское «закрепощение»...

В своем прокурорском усердии Покровский отнесся с кондачка к замечательному труду Плеханова. Мысль Плеханова гораздо глубже и сложнее «марксистских» упрощений Покровского. Полемизирует Плеханов не со мной, а с Ключевским, ставя на очередь общую нам задачу: найти синтез «сходства» и «своеобразия» русского исторического процесса. Отрицая «полное» своеобразие, Плеханов признает «относительное» и усердно ищет его причин — между прочим, в условиях географической среды. Отрицая приоритет «политического момента» над экономическим, он, однако, намечает приемлемый компромисс. «В действительности, — говорит он, — “политический момент” никогда и нигде не идет впереди экономического; он всегда обуславливается этим последним, что нисколько не мешает ему, впрочем, оказывать на него обратное влияние».

Отворачиваясь от этого пути синтеза и сворачивая все дальше на путь квазимарксистского правоверия, Покровский сильно перегнул палку и испортил свое положение. Пока он разъяснял своих «буржуазных» предшественников, он оставался в пределах своей монополии, и дело шло благополучно. Но когда он набросился с обличениями на чуждый ему по идейному развитию лагерь марксистов, хотя бы и «еретиков»¹, положение изменилось. Если в начале 20-х годов студенты обращались к нему с недоуменными вопросами по поводу его полемики с Троцким, то в семинарах 1930–1931 гг. они уже перешли в наступление и сами начали обличать своего профессора в «безграмотностях». Мы имеем признания Покровского, что эти семинары «чрезвычайно помогли» ему в исправлении этих «безграмотностей». Но были между ними и такие, которые исправить было трудно.

Покровский обличал русских историков-«государственников» тогда, когда советское государство достигло небывалых пределов «политического» вмешательства в «экономический» строй страны и когда оно напрягло экономические силы сверх всякой меры — именно ввиду их «отсталости». Оно поступило совершенно так, как поступали его предшественники в Московском государстве XVII века,

¹ См.: Покровский М.Н. Борьба классов и русская историческая литература. Лекции, читанные в Коммунистическом университете имени тов. Зиновьева 3–7 мая 1923 г. Л., 1926. 2-е изд.; Покровский М.Н. Марксизм и особенности исторического развития России. Л., 1925.

как поступал и Петр Великий... Покровский доказывал быстроту экономического роста России перед октябрьским переворотом, тогда как деятели этого переворота подчеркивали резкий разрыв с прошлым. Это и вызывало в идейных противниках сомнение в подготовленности к нему русского капитализма. Он, наконец, настаивал на сходстве русского и западноевропейского развития, когда Сталин уже утвердил догмат о национальном происхождении русской революции и переходил к реставрации национального взгляда на «своеобразие» русского прошлого. Наконец, Покровский отрицал роль личности — даже Петра Великого — в истории, когда сравнение с Петром уже становилось ходячим приемом лести «великому, гениальному вождю народов». Словом, ослепленный важностью принятой на себя миссии, Покровский задевал самые деликатные темы и танцевал на чувствительных мозолях. Недовольство накаплилось; должен был последовать и взрыв.

V

По счастью для Покровского, настоящая реакция против его «школы» последовала уже после его смерти¹. Но прежде чем перейти к ней, надо отметить его прижизненные уступки и признания. «Совершенно ясно, — писал он в 1931 г., за год до смерти, — что в ряде отдельных формулировок, иногда очень важных, старые изложения моей концепции звучали весьма не по-ленински, а иногда были попросту теоретически малограмотны. Так, например, безграмотным является выражение “торговый капитализм”; капитализм есть система производства, а торговый капитал ничего не производит»... И он цитирует Маркса: «Самостоятельное развитие купеческого капитала стоит в обратном отношении к общему экономическому развитию общества... Денежное и товарное обращение может обслуживать сферу производства самых разнообразных организаций, которые по своей внутренней структуре все еще имеют главной целью производство потребительной стоимости»².

Куда же после этого девается объяснение происхождения русского государства из «торгового капитала» или ссылка, по Ключевскому, на хлебную торговлю Москвы и на обилие тамошних лавок с товарами в XVII столетии в доказательство сравнительной высоты ее эконо-

¹ См.: Против исторической концепции Покровского. Сб. Ч. I–II. М.; Л., 1939–1940.

² Имеется в виду статья: Покровский М.Н. О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России // Борьба классов. 1931. № 2.

мического развития? Торговый капитал «ни при чем», — продолжает Покровский, — и в «усилении феодальной эксплуатации крестьян в конце XVI века» (т.е. в происхождении крепостного права). «Наконец (и это главное. — П.М.), не приходится скрывать, что в первых редакциях моей схемы был недостаточно учтен и факт относительной независимости политической надстройки от экономического базиса». Позабыты были слова Энгельса: «к чему же мы тогда бьемся за политическую диктатуру пролетариата, если политическая власть бессильна? Сила есть точно так же экономическое могущество». Ничего другого не говорил и Плеханов. «Экономический материализм (уже теперь в смысле осуждения. — П.М.) не был еще мною изжит на все сто процентов, когда я писал и “Русскую историю”, и “Очерк истории культуры”, и даже “Сжатый очерк”!»

Покровский обещал теперь представить «окончательную схему», которая примет во внимание и Энгельса, и Ленина; но при этом он оговаривался: «Свободна ли эта окончательная схема от ошибок? Никак не могу обещать»... Представить эту схему после приведенного покаяния Покровскому помешала смерть. Но она же послужила сигналом к окончательному разгрому его приемов и его «школы»; Покровский был даже обвинен в том, что искусственно и злобно задерживал эту реакцию.

В первой половине 1936 года против Покровского выступили такие тузы, как Радек и Бухарин. К этому времени воспоминание о его личных «заслугах» и о его влиянии на молодежь уже настолько успело изгладиться, что оба критика не церемонились с покойником. Радек прямо отчислил его от категории марксистских историков и вернул на принадлежащее ему исторически место. «М.Н. Покровский складывался как историк не в рядах большевиков, а в среде левых демократических историков... Он был демократическим историком, не имеющим понятия о марксизме, а затем примкнул к “легальному марксизму”... Маркса они воспринимали через схему Богданова, а не через диалектику Ленина. Поэтому место диалектического материализма у них занял так наз[ываемый] экономический материализм».

Это было верно; но верно было и то, что, поскольку Покровский опирался на своих предшественников, на которых опирались и Троцкий, и Плеханов, — он стоял на твердой почве. Все, в чем его теперь стали обвинять подлинные марксисты, явилось результатом его усилий раскритиковать это свое прошлое и заменить его квазимарксистским подходом с соответствующими упрощениями, которые с течением времени становились все более и более смелыми. Сюда, прежде всего, относится его тезис о зависимости политической надстройки от производственной и экономической базы. Радек приходит в полное негодование от этой измены Энгельсу. Позвольте: как же

утверждать, что «политический момент есть второстепенный», когда пролетариат борется за диктатуру, а победители 25 октября разгоняют Учредительное собрание? «Вопрос, в чьих руках власть, оказался отнюдь не второстепенным. И, признав эту ошибку, Покровский впал в другую крайность». Он нашел, что, совершая переворот, большевики «прорвались к социализму сквозь всякие законы, наперекор узкоэкономическим законам»¹. То есть, значит, он присоединился к тезису Каменева и Зиновьева о несвоевременности переворота...

Нет, несмотря на «отказ от ряда формулировок», «все исторические работы Покровского пронизаны не марксистскими экономическими понятиями; его работы чужды ленинизму». Бухарин избрал для критики Покровского другой, более практический подход, на который указал отчасти сам Ленин. Получив две первые части «Русской истории в самом сжатом очерке», очевидно, предназначенные служить учебником, Ленин поздравил Покровского с успехом, но осторожно заметил ему, что для того, «чтобы книга была учебником, надо дополнить ее хронологическим указателем... чтобы не было верхоглядства, чтобы знали факты»². На самом деле, изложенная на 180 страницах до Александра III включительно, книга была явно неудобоварима для преподавания. Излагались не столько «факты», сколько «схемы», нам уже известные и трудно усваиваемые учащимися средней школы.

Бухарин нашел для этого объяснение — тоже в прошлом Покровского. «В прежней историографии, которая имеет свои корни еще в придворных хрониках царей, эти последние рассматривались как единственные божественные творцы исторического процесса, чудотворные делатели истории, лепившие ее по своему произволу и усмотрению. Этой историографии Покровский противопоставил попытку общедоступного рассмотрения исторического процесса, т.е. рассмотрения общественно-исторических формаций. Но он оторвал общество от его агентов, абстрактное от конкретного, социологию от истории, “законы” от “фактов”... Как потом он ни старался говорить о “конкретном”, ничего конкретного не получалось, и многие его воспитанники тонули в схоластических словопрениях и в том “верхоглядстве”, которого так опасался Ленин. Вина опять — в отсутствии “диалектики”. Диалектика возвращает схемам живые краски и личные образы». Что особенно возмутило Бухарина у Покровского, это

¹ Летопись газетных и журнальных статей за 1936 г. не содержит ссылки на указанную статью К. Радека. В «Правде» (27.1.1936) напечатана его статья «Значение истории для пролетариата», в которой осуждается Покровский и его школа.

² Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 52. С. 24.

применение «классовой точки» зрения к истории пролетарской. Она тоже должна быть классовой, а следовательно, объективной быть не может, учил Покровский. История есть «политика, опрокинутая в прошлое». Бухарин утверждал, конечно, что пролетарская история составляет единственное исключение из этого правила и что, будучи правдивой, она непременно будет не засушенной в «схемы», а красочной, как сама жизнь¹.

Итак, вопрос сводился к плоскости педагогической. Но тут он сразу приобрел иной политический смысл и иную постановку. Для недоучившегося семинариста Сталина теоретические споры и высшие достижения русской историографии были недоступны. Но политическое значение преподавания русской истории он понимал прекрасно. И задача вернуть жизнь схемам совпала с его собственной тенденцией — одеть теоретическую и спорную «генеральную линию» в живой национальный костюм. Сам он был не прочь занять в этой бутафории роль «единственного божественного творца и чудотворца», чье имя жило бы в веках... ну хоть по образцу Петра Великого, с которым Покровский не знал, что делать. Для этого нужно было вернуть школьную историю ко временам гораздо более отдаленным, чем времена непосредственных предшественников и современников Покровского.

VI

Совершить сразу этот переход, однако, оказалось нелегко. Слишком влезась в умы интеллигентская обработка истории. 16 мая 1934 г. Совнарком и ЦК партии «констатировали, что преподавание истории в школах СССР поставлено неудовлетворительно. Учебники и само преподавание носят отвлеченный схематический характер. Вместо преподавания *гражданской* (подчеркнуто) истории в живой занимательной форме с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности, с характеристикой исторических деятелей, — учащимся преподносят абстрактные определения общественно-экономических формаций, подменяя таким образом связанное изложение гражданской истории отвлеченными социологическими схемами». Этими отрицательными указаниями восстанавливался традиционный тип учебника: «доступное, наглядное и конкретное» изложение фактов в хронологической

¹ Милоков цитирует статью: Бухарин Н.И. Нужна ли нам марксистская историческая наука? (О некоторых существенно важных, но несостоятельных взглядах тов. М.Н. Покровского) // Известия. 27.1.1936.

последовательности, «с обязательным закреплением в памяти учащихся важных исторических явлений, исторических деятелей, хронологических дат».

К июню 1935 г. постановлено было приготовить новые учебники, и для истории СССР назначена комиссия в составе профессоров Грекова, Панкратовой и Пионтковского под руководством проф. Ванага. На первую очередь было поставлено составление элементарных учебников для начальной и неполной средней школы¹. Конспекты были представлены названной группой и жестоко раскритикованы в «Замечаниях», подписанных 8 августа того же года Сталиным, Кировым и Ждановым². Дело в том, что в комиссию попали все те же «ученики Покровского», которые «не поняли задания» и вместо конспекта учебника представили «журнальную статью, где можно болтать обо всем». Вместо «истории народов СССР» они предложили составить «русскую историю», забыв о лозунгах «царизм — тюрьма народов» и «царизм — международный жандарм». Вместо «марксистских научно-обоснованных определений» скопированы «затасканные и совершенно ненаучные определения всякого рода буржуазных историков», вроде: «пугачевщина», «первые шаги царизма в борьбе с революцией» и т.д. Не учтена зависимость «полуколониальной» России от европейского капитала и кризис европейской демократии и парламентаризма, чем ослаблена роль октябрьской революции и «не мотивирована роль советов как носителей пролетарской демократии». «Вообще, конспект не совсем грамотен с точки зрения марксизма»...

Тон этой критики усилился, когда группа проф. Ванага представила самый текст учебника, другие группы — Минца и Лозинского — учебник для начальной школы. «Авторы продолжают настаивать на неоднократно вскрытых партией установках, имеющих в своей основе известные ошибки Покровского». Ввиду такой оценки Совнарком и ЦК переходят в наступление. Они «подчеркивают, что эти вредные тенденции и попытки ликвидации истории, как науки, связаны в первую очередь с распространением среди некоторых наших историков ошибочных исторических взглядов». «Для дела нашего государства, нашей партии и для обучения подрастающего поколения» эти «вредные взгляды должны быть преодолены»³. Так «ошибки» уже становились своего рода «государственным преступлением».

¹ Собрание законов СССР. 1934. № 26. Ст. 206.

² Замечания о конспекте учебника по новой истории 8–9 августа 1934 г. Сталина И., Жданова А. и Кирова С. // Известия. 27.1.1936.

³ Замечания по поводу конспекта учебника см.: История СССР // Историк-марксист. 1936. № 1. С. 5–6.

Бедный Покровский! Большая часть этих «ошибок» ведь была сделана именно для того, чтобы подладиться под требования «настоящего марксизма». Сколько раз он каялся, отказывался от своих прежних взглядов, осуждал свой «экономический материализм», отрясал прах от своих предшественников, — даже от самой науки, доказывая, что не может быть вообще «объективной» исторической науки, напрасно он отдал свою науку на служение коммунистической партии, признал даже, что «настоящий марксизм допускает очень сильное вмешательство политического момента во всех стадиях развития». Все это было поздно.

А его «школа»? Еще в 1929 году А. Шестаков в «Новом мире» восторгается председательством «воинствующего историка» на многочленном съезде «всесоюзной конференции историков-марксистов»¹, в противоположность съезду буржуазных историков в Осло². Здесь наперерыв углубляют грань между «ними» и «нами» и объявляют «борьбу с чуждыми марксизму и классово-враждебными пролетариату идеологиями и их пережитками, в чем бы они ни состояли и кто бы их ни распространял». А немедленно по смерти Покровского становятся жертвами этой широкой формулы сами участники марксистского съезда — «ученики Покровского» вместе со своим учителем. Некий П. Дроздов в «Правде» (27 марта 1937 г.) объявляет их уже прямо «двурушниками, взаимно покрывающими и поддерживающими друг друга и проводившими подлую вредительскую работу, широко пользуясь слепотой, ротозейством и идиотской болезнью — беспечностью некоторых историков-коммунистов».

Забыта и полемика Покровского с Троцким: его ученики, оказывается, «протаскивают» троцкистскую пропаганду!

От этих обличений критика скоро переходит в самую неприличную брань! Эти «участники троцкистско-бандитских шаяк, Фридлянд, Зайдель, Ванаг, Невский, Пионтковский, Далин и др.» — суть «подлые враги народа», «мерзавцы». Словом, на них переносится весь ходячий арсенал обвинений, ведущих к «высшей мере» наказания... («Правда», 20 марта)³.

26 января 1936 г. Совнарком и ЦК постановляют организовать комиссию для переделки представленных учебников и для объявления конкурса на составление новых. Задача — нелегкая после всего ска-

¹ Шестаков А. На историческом фланге // Новый мир. 1929. № 2.

² На VI Международном конгрессе исторических наук (14–18 августа 1928 г.) в Осло историки СССР впервые приняли участие в качестве официальной делегации в составе 11 человек. Ее возглавлял Покровский.

³ Речь идет о статье, см.: Федоров И. Политическая слепота и беспечность // Правда. 20.11.1936.

занного — оказывается на этот раз приблизительно достигнутой. «Ряд учебников из числа представленных 46, — констатирует жюри, — отошел от прежнего типа». «Вместо отвлеченных социологических схем в этих учебниках, при всех их недостатках, соблюдается историко-хронологическая последовательность, дается описание важнейших исторических явлений, перечень основных хронологических дат и характеристика исторических деятелей». К числу недостатков относятся: «идеализация дохристианского язычества», «игнорирование прогрессивной роли монастырей»; авторы рассматривают переход Украины и Грузии под власть России «как абсолютное зло», «преувеличивают организованность и сознательность крестьянских волнений до XX столетия» («вне руководства рабочего класса»), «идеализируют стрелецкий мятеж, не оценивают победы Александра Невского на Чудском озере» и т.д.

Очевидно, «патриотические» указания Сталина все еще не приняты целиком во внимание. Поэтому первой премии не получает никто. Вторая выдается учебнику под редакцией А.В. Шестакова¹ (того самого). 24 августа «Известия» празднуют этот великий успех, как «событие огромного государственного значения»². «Социалистическая культура обогатилась еще одним большим достижением». «Советских школьников можно поздравить с замечательным подарком Сталина»...

VII

Перед нами этот пресловутый учебник для начальной школы, возведенный на степень «огромного государственного события». Как низко должна была пасть «советская культура», чтобы прийти в восторг от подобного «достижения», якобы освобожденного, наконец, от всех следов влияния «буржуазной науки». Подумать только: наконец появился на свет элементарный учебник с самой настоящей хронологией, «фактами» и «характеристиками деятелей»! До водворения сталинского «социализма» в России, очевидно, ничего подобного не было: ни дат, ни фактов, ни деятелей. Присмотримся, в каком виде все это, хорошо забытое, вводится вновь в советскую школу.

Конечно, никаких «завиральных идей» — и вообще никаких идей — в учебнике не имеется. Опасные слова «феодализм», «торговый капитал», «промышленный капитал» и всякие там «формации»

¹ Краткий курс истории СССР / под ред. А.В. Шестакова. М., 1937.

² Фоменко В. Сталинский подарок советским школьникам // Известия. 24.8.1937.

совершенно выведены из употребления. Никаких «отвлеченных схем». Все распоряжения Сталина, разумеется, приняты во внимание. Из 217 страниц учебника половина посвящена революционному периоду, начиная с Николая II, и из этой половины большая часть (67 страниц) излагает «Великую октябрьскую социалистическую революцию». Этой части мы касаться не будем, а остановимся на первых 117 страницах.

Сталину, вероятно, было приятно узнать на первых же страницах, что он родился на территории «древнейшего» народа Урарту, который (по сведениям автора) создал «государство родоначальников нынешней Грузии». Кстати, этим сразу осуществлялось требование — писать не «русскую историю», а историю «народов СССР». По существу темы и по характеру элементарного учебника это требование, конечно, оставалось номинальным, и автор вспоминал о нем лишь от времени до времени — когда происходило завоевание этих народов. В основе это все-таки была русская история, и Сталин опять мог испытывать удовольствие, вспоминая свой семинарский учебник.

Вместо неудобопонятных «формаций» здесь честно рассказывались милые предания начальной летописи о Рюрике и Олеге, о том, как древляне разорвали Игоря на части и как Ольга в отместку послала на их город голубей и воробьев с пучками зажженной пакли на хвостах. Следует где-то подслушанный политический разговор Святослава с матерью: сын не верит, что «греческая вера» может «укрепить власть князей», и отвергает относительный пацифизм Ольги, «считая, что объединить славян и создать сильное государство можно только оружием». Все же он поступал по-рыцарски и, «будучи неустрашимым, предупреждал неприятеля о своем нападении, посылая сказать: “иду на вы” (в скобках пояснено: иду на вас)». Но печенегі оказались не такими рыцарями: устроили Святославу засаду и его убили. Это вышло очень кстати потому, что он уже «задумал перенести на Дунай свою столицу из Киева». Тогда не было бы ни его сына Владимира на киевском престоле, ни, быть может, вообще русского государства. А при Владимире оно, напротив, «усиливалось и крепло». Владимир, наконец, поверил, что «принятие греческой веры укрепит его власть». Он «загнал киевлян в воду, а привезенные из Царьграда попы читали над стоящим в воде народом свои молитвы. Это называлось крещением». Народ, правда, «не раз бунтовал против новой веры», но христианство было в то время шагом вперед в развитии России. Так «распространялась и греческая культура, и образованность», хотя не забывались и «рассказы об удали славянских богатырей».

Я боюсь, однако, что мой рассказ заинтересует читателя более, нежели отрывочные фразы учебника, изложенные корявым языком, точно по скучной обязанности, и лишённые всякой теплоты и патристического энтузиазма. Предписанное Сталиным «чувство нацио-

нальной гордости» тут, во всяком случае, не достигается. Дальше идут «стихийные восстания», которые князья подавляли без особых усилий, так как восстания эти были «бессознательными». Автор еще не решается здесь уже прибавить приказанный аргумент: «потому что тогда еще не было рабочего класса». Но затем он регулярно его повторяет, касается ли дело Болотникова, Разина или Пугачева. Только относительно стрелецкого мятежа против Петра дана обязательная директива: считать это восстание «реакционным». Средневековое вече так же, как и земские соборы царя Алексея, не вызывают никакого сочувствия автора: все это ведь делали «бояре, помещики и купцы».

Однако и московских князей учебник не решается хвалить за их «собирачество» России. О «царе-самодержце» Иване IV, «уничтожившем боярские преимущества», говорится тоже очень спокойно. Личность Алексея Михайловича проходит у автора совсем незаметно. С «умным и деятельным» Петром Великим дело обстоит труднее. «Борьба с отсталостью России» уравнивается с «укреплением власти дворян» и «разбогатением купцов и заводчиков». «При Петре Россия значительно продвинулась вперед, но оставалась страной, где все держалось на крепостном угнетении и царском произволе». Так что и тут радоваться нечему: живого образа не выходит. Пожалуй, с большей симпатией автор говорит о Булавине. Екатерина II ступает перед Пугачевым и Радищевым; о ее законодательстве не сказано ничего. Ни одной черты характеристики Александра I, кроме того, что он возглавил реакционный союз, не находим.

Декабристы? Конечно, они «мечтали о культурной жизни у себя на родине»; но «их было немного, и они не были связаны с народом». Полстранички о Николае I и о его «царстве жандармов и чиновников» (вся глава озаглавлена, как приказано: «Царская Россия — жандарм Европы»), и автор переходит к 48-му году, к «великим русским писателям и к Марксу и Энгельсу». Глава о «росте капитализма в России» кончает перелистанную нами половину учебника. Из реформ Александра II тут говорится только о крестьянском освобождении — со всеми необходимыми оговорками. Зато подробнее рассказывается о Парижской коммуне и о рабочем движении; глава кончается появлением Ленина на рабочих сходках.

Пробелы в изложении внутренних событий обильно восполняются историей войн и приобретений России. Мы уже заметили, что только в связи с покорением народов перечисляются их имена; при этом автор, видимо, колеблется: хвалить ли народы за их сопротивление или хвалить царское правительство за победы? Как и в других сомнительных случаях, учебник выходит из I затруднения, принимая нейтральную позу «объективного» исторического изложения.

VIII

От элементарного учебника истории, конечно, нельзя требовать ответа на спорные построения русского исторического процесса. Высказанные в учебнике оценки «царизма», «купцов и дворян», в общем, не выходят за пределы того, что считалось общими местами в либеральных кругах конца прошлого века. Отделы о революционном периоде, конечно, ставят более специальные, чисто советские требования. Большая часть четвертого тома (с. 140–331) «Истории» Покровского, написанная еще в 1912 г., но тогда не прошедшая через цензуру, явилась очень неполным ответом на эти требования. Обширная часть третья «Краткого очерка»¹ (с. 223–527) его же останавливалась на 1906 г., т.е. далеко не доходила до переворота. Учебник Шестакова доводит рассказ до 1937 г., но он чересчур краток. Разбор всех этих частей потребовал бы особого подхода и не дал бы достаточного материала для суждения об общей схеме, которой посвящена эта статья.

«Событием огромного государственного значения» было бы, действительно, если бы учебник для высшей школы поступил так же радикально с приемами советской историографии, как поступил учебник Шестакова, вернувшись к педагогическим приемам времен учебников Иловайского. Но тут травля Покровского поставила сочинителя этого будущего учебника в очень трудное положение. Осуждение «ошибок» Покровского ведь было равносильно возвращению к Плеханову и Троцкому, а через них к Ключевскому и Милюкову, не говоря уже о дальнейшем возвращении к Соловьеву и Чичерину. Пришлось бы, таким образом, строить на основе лучших достижений «буржуазной» исторической науки — и признать слабость идеологии октябрьского переворота как раз в том, в чем большевики принуждены видеть его силу: в его внезапности и несоответствии действительному экономическому развитию России.

Если в своей беспорядочной тактике ликвидации собственного прошлого Сталин дойдет и до этого признания, то, конечно, это будет «событием огромного государственного значения». Но надеяться на такой исход в настоящее время было бы чересчур опрометчиво. Неизбежный вывод из этого — тот, что учебник русской истории для высшей школы или вовсе не будет написан, или будет написан... по Покровскому той поры, когда он еще стоял на плечах своих учителей.

*Современные записки. 1937, № 65
Вопросы истории. 1993, № 4*

¹ Имеется в виду «Русская история в самом сжатом очерке (от древнейших времен до конца XIX столетия)» М.Н. Покровского. Ч. 1–2. М., 1920–1923.

ПАДЕНИЕ РУССКОЙ МОНАРХИИ В ИЗОБРАЖЕНИИ ПРОФЕССОРА ПЭРСА

Профессор Ливерпульского, а потом Лондонского университетов сэр Бернард Пэрс — лучший знаток, можно даже сказать, очевидец и свидетель событий новейшей истории России. Его обширная работа в пятьсот страниц недаром носит подзаголовок: «Изучение свидетельских показаний». Он был в России во время первой революции 1905 года и написал об этом книгу «Россия и реформа», симпатизирующую русскому либеральному движению. Он был в рядах русской армии в дни ее успехов и ее поражений и вынес одно бесспорное впечатление: о превосходных качествах русского солдата.

Вторая революция очень расширила его знакомство с различными политическими деятелями той эпохи; он воспользовался им, чтобы из их собственных уст услышать подлинные рассказы об их личной роли в событиях. В результате он почувствовал как бы лежащий на нем долг, — поведать потомству о всем увиденном и услышанном за долгие годы его наблюдений. Напечатав уже после революции свою «Историю России», проф. Пэрс решил вернуться к своей любимой теме, отчасти уже использованной в изданных им «Мемуарах». Последние восемь лет он употребил на изучение многочисленных появившихся в последние годы подлинных документов и «Воспоминаний» — главнейших политических деятелей, очень внимательно ознакомился с показаниями, данными в комиссии Временного правительства, материалы которой изданы в семи томах под заглавием «Падение царского режима»¹, наконец, вновь опросил по подробностям, для него неясным, оставшихся в живых участников событий. Из всего этого получилась книга, подобной которой нет и быть может не скоро будет на русском языке.

Указав на преимущества труда проф. Пэрса, мы должны указать и на некоторые его «ограничения», вытекающие из личных свойств автора и из особенностей его наблюдений. Проф. Пэрс — чрезвычайно лояльный англичанин и человек очень умеренных взглядов. Его наблюдения гораздо больше касаются «событий» в тесном смысле, нежели породивших эти события условий внутренней русской действительности. Эти два обстоятельства наложили на книгу определенную печать.

¹ Речь идет об издании: Падение царского режима: Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной комиссии Временного правительства. М.; Л., 1924–1927. Т. I–VII.

Прежде всего, автор не пишет истории России за критические годы, а пишет историю монархии. При этом «падение монархии» он понимает не столько как падение «строя», сколько, главным образом, как падение «династии». Характерно что когда нужно характеризовать «строй» и внутреннее состояние России в описываемое время, проф. Пэрс предпочитает опираться на русские исследования. Для периода предреволюционного он пользуется предисловием к моей «Истории второй революции»¹; для конечной стадии утилизирует американскую работу М.Г. Флоринского о «Конце русской империи». Зато события излагаются им в малейших подробностях, поневоле иногда анекдотических.

С указанными ограничениями связан и определенный выбор свидетельских показаний. К ним он относится не вполне одинаково, и в выборе чувствуются предпочтения, объяснимые его собственными политическими взглядами.

Едва ли не выше всего по искренности, вдумчивости и пронизательности он ставит «Воспоминания» гр. Коковцова, которому верит безгранично. Он чувствует известную слабость также и к А.Ф. Керенскому, и рисует его роль в революционных событиях по возможности в благоприятном освещении, какое дает сам деятель в своих защитительных книгах. Напротив, графа Витте проф. Пэрс очень не любит, и к его мемуарам относится недоверчиво. Отношение проф. Пэрса ко мне, как политику, несколько двойится. С одной стороны, он дает мне как личности неумеренно высокую оценку, — и я должен принести автору искреннюю благодарность за то дружественное изображение, какое он недавно представил в своей лондонской лекции обо мне, как представителе определенного политического направления. Но в моей политике он не упускает случая подчеркивать мои «ошибки» и даже «большие, роковые ошибки, оказавшие фатальное влияние» на тот или другой ход революции.

Теперь, когда я пишу свои «Воспоминания» об этом же самом периоде, я могу себе позволить некоторые поправки, к сочетанию этих двух крайностей — личных похвал и порицаний, прошедших через определенную политическую призму. По совести и по крайнему разумению, я не могу приписывать себе *ni cet exes d'honneur, ni cette indignite**.

Перед источниками, исходящими с высокого места, проф. Пэрс преклоняется. Мягкая характеристика царя и царицы по письмам и дневнику дается почти в лирических выражениях. Но проф. Пэрс

* Ни этого избытка чести, ни этого недостойного поведения (фр.).

¹ См.: Милюков П.Н. История второй революции. София, 1921–1923. Т. I. Вып. I.

справедлив и объективен: он помнит о том, что императрица «должна отвечать перед судом истории» и что «отражение ее деятельности оказалось источником гибели миллионов человеческих существ». Последние строки его «послесловия» посвящены настроению, испытанному посетителем царскосельского дворца двадцать лет спустя после царской трагедии. Этот посетитель (нетрудно догадаться, что это был сам проф. Пэрс) ушел отсюда с впечатлением, что «все это случилось когда-то очень давно, в средние века, когда еще считалось возможным смотреть на шестую часть света, как на домашнее хозяйство, и управлять ста семьюдесятью миллионами человеческих существ из женского будуара». И заблудившийся в сопоставлении прежних своих впечатлений с теперешними, посетитель Царского «принужден сказать себе, в виде общего итога, что все это ушло далеко-далеко, и никогда назад не вернется».

Все это так — и делает честь автору «Падения монархии», что все это он почувствовал. Но из контраста прежних и нынешних впечатлений неизбежно получается несоответствие, если не желать пожертвовать одними из этих впечатлений — другим. Несоответствие не могло не сказаться и в исследовании проф. Пэрса. При всей полноте и обстоятельности работы именно соответствия между началом и концом и не хватает в книге, чтобы признать ее последним словом истории. Сужение задачи — выяснить «падение монархии» до выяснения «падения династии» — сказалось в том, что благие намерения и трагический конец самой династии, как и работавших на династию политических, административных и общественных факторов, оказались не примиренными между собой.

Самое распределение материала в книге объясняет происхождение этого несоответствия. Книга начинается с описания трогательных отношений между женихом и невестой, Николаем и Алисой¹, с момента их первой встречи до обручения перед смертным одром Александра III. Эпилог книги посвящен подробному рассказу о судьбе царской семьи после отречения государя и об усилиях Керенского спасти ее от насилия победителей. Несколько иронических фраз о «сверхдемократизме либерального» Временного правительства резюмируют суждение историка о февральской революции (минус Керенский).

Внутри самой истории царствования распределение материала не менее характерно. Проф. Пэрс сам предупреждает читателя, что о первых годах существования Николая II ему нечего рассказать читателю не только потому, что нет такого богатства источников, как впоследствии, но и потому, что «глубоко расстраивающие силы, которые

¹ Николай II и Александра Федоровна.

вмешались потом, еще не начинали действовать». Правда, «начало» их действия налицо: тут случилась революция 1905 года. Но... буря промчалась, монархия была «спасена, и поступательный ход прогресса был в главных чертах восстановлен, хотя медленно, но верно». В этой одной фразе содержится даже вся схема будущего рассказа.

«Монархия спасена» — это главное. «Разрушительные силы» еще не «действуют». Напротив, восстанавливается линия мирного прогресса. Вся социальная и политическая подпочва революции, после ее «генеральной репетиции» в 1905 году, как выразился Ленин, устранена со сцены, значит, устранена и из-за кулис. На сцене — радужная картина преуспевания. Что «монархия» обманывала себя этой видимостью мира, бывшего только перемирием, и притом вынужденным — это понятно. Но что той же иллюзией может тешить себя историк, это непростительно. Мы увидим, что тут и коренится источник отмеченного выше несоответствия между началом и концом авторского рассказа.

Итак, «первые шаги: Японская война!»¹ Проф. Пэрс, как я заметил, не симпатизирует Витте, и упорная борьба Витте против рокового шага, начавшего царствование, остается недостаточно оцененной. Тем слабее отмечена личная ответственность государя. «Гений интриги» — таково суждение проф. Пэрса о Витте, поддержанное отзывами Сазонова и самого императора. Свет и тени распределяются автором довольно своеобразно, когда доходит речь до освещения Манифеста 17 октября². Проф. Пэрс приводит выдержки из писем царя в момент его благоприятного отношения к Витте и к акту, вынужденному упорством Витте. Он особенно выделяет фразу царя: «...это, конечно, была бы конституция». А относительно самого Витте, он приводит цитату из позднейшего личного разговора с ним: «Конституция у меня в голове, а в сердце...» — и тут автор Манифеста 17 октября «плюнул на пол». Проф. Пэрс, конечно, не хотел бы сделать отсюда вывода, что император искренне относился к конституции, нежели его министр. Но тут же приведены выдержки из писем царской четы между 19 октября 1905 г. и 12 января 1906 г., в которых Витте из нужного своего человека очень быстро превращается в «хамелеона». Вот прекрасный материал для психологических наблюдений, — но отнюдь не для исторических выводов.

¹Русско-японская война (1904–1905 гг.) завершилась Портсмутским миром.

²Манифест 17 октября «Об усовершенствовании государственного порядка» обещал ввести гражданские свободы, слова, печати, неприкосновенности личности, а Государственную думу признать законодательным учреждением.

В истории «падения монархии» обращение монарха с первой Думой, кажется, имело некоторое значение. От проф. Пэrsa это значение ускользает. Занятый борьбой между министрами и кандидатами в министры, автор книги заявляет, что «на короткой жизни первой Думы¹ нет надобности долго останавливаться». Остается неизвестным читателю, почему монарх так же быстро от «абсолютно необходимого для него» (в дни борьбы против Витте) Трепова, перешел к (временно) необходимому Столыпину. Тут, кстати, отмечается одна из «роковых ошибок в карьере» Милокова: он «сам признается, что поставил Трепову “очень суровые условия” для создания “кадетского министерства”». Впрочем, и сами кадеты, — что они такое? Конечно, это «сливки русской интеллигенции»; но «без базиса в стране», а «стране опротивела революция». Это говорится о той «стране», которая тотчас после «кадетов» и после разгона их Думы дала во второй Думе² преобладание социалистам.

«Лучшим актом» кадетов в первой Думе была, по мнению проф. Пэrsa, подача известного адреса монарху³, — совсем «по английскому образцу». Надо думать, было бы хорошо, если бы монарх согласился принять его. Но... вышло иначе, и суждение историка меняется. Единственно «способным защищаться» от требований Думы (взвесил ли их автор?) оказался... Столыпин.

Противоречие продолжается и в дальнейшей оценке. Дума, распущенная Столыпиным, совершила «неконституционный политический блеф», издав в Выборге Манифест, — и тем лишь «повредив финляндским вольностям». А сам Столыпин объяснил позднее автору, что «он хотел показать стране, что она навсегда рассталась со старым полицейским режимом», а это было невозможно без поддержки Думы. Положение было, по тому же заявлению Столыпина проф. Пэрсу, «сверхчеловеческое». Историк Пэрс, одобряющий последующие мероприятия Столыпина, по-видимому, принял его за нормальное.

Как видим, политический критерий занял тут место исторического. Раз вступив на эту почву, проф. Пэрс уже идет по ней дальше, переходя к характеристике «благоприятного» для режима периода третьей Думы. С революцией правительство сладило, «падение монархии» избегнуто. Историк как бы не подозревает, что оно только отложено. Посмотрим же, как он относится к этой призрачной идиллии.

¹ Первая Государственная дума действовала с 27 апреля по 8 июля 1906 г.

² Вторая Государственная дума действовала с начала 1907 г. до 3 июня 1907 г.

³ Речь идет об ответе кадетов на тронную речь царя 27 апреля 1906 г., во многом совпадающем с программой кадетской партии.

Период деятельности третьей Государственной Думы¹ проф. Пэрс изображает в самых радужных красках. Он здесь чувствует себя, так сказать, в своей сфере. Во главе министерства стоит Столыпин. С ним сотрудничает, в качестве председателя Думы А.И. Гучков. Финансами управляет В.Н. Коковцов. Бюджетная комиссия Думы дружно работает с ним под председательством харьковского проф. Алексеенко. Вообще, работа в согласии с правительством энергично ведется в комиссиях Думы, где «большинство председателей и докладчиков — октябристы». Все они — «прекрасные эксперты». По сообщению Гучкова автору, «Столыпин не раз предлагал им занять высокие посты в правительстве; но каждый раз об этом сообщалось Гучкову, — и предложение не принималось». Проф. Пэрс не упоминает о том, что другим методом сотрудничества с правительством были казенные субсидии в дополнение к депутатскому содержанию. Он мог бы прочесть об этом подробности в воспоминаниях Кржижановского. В результате «около семидесяти человек образовали ядро в наиболее важных комиссиях и научились подробному пониманию задач и трудностей администрации — пониманию друг друга и правительства. Можно было видеть, как с каждым днем растет политическая компетентность Думы». Коковцов радовался «своим успехам на трибуне» — и скучал по критике «Александра» (Андрея) Шингарева. Его знаменитая фраза: «Слава богу, у нас нет парламента», была самым лучшим доказательством его «конституционализма». Столыпину царь говорил: «...эту Думу нельзя обвинять в желании захватить власть и вовсе нет нужды с ней ссориться». И самому проф. Пэрсу в 1912 г. царь удостоил сказать: «Дума начала слишком стремительно; теперь она тише, но лучше», а на его «слишком смелый» дополнительный вопрос, добавил: «...и прочнее». Николай II умел очаровывать собеседника, говоря то, что было нужно, — и ничем себя не связывая. Со своей стороны, проф. Пэрс почувствовал полное удовлетворение. «Да будет мне позволено, — пишет он, — как англичанину, воспитанному в традиции Гладстона, — для которого Дума была почти своим домом со множеством друзей из всех партий, вспомнить про это исчезнувшее прошлое. В основе лежало чувство возобновленной уверенности; опираясь на него, можно было наблюдать рост бодрости и почина, взаимного понимания и доброжелательности».

Проф. Пэрс не мог понимать, что у этой светлой картины были темные стороны. Сблизившись с правительством, Дума не сблизилась с страной, а сама от нее отделилась. Проф. Пэрс упоминает об этом как-то скользя, мимоходом. Он признает, что третья Дума была

¹Третья Государственная дума действовала с 1 ноября 1907 г. до 9 июня 1912 г.

созвана путем некоего «государственного переворота», что выборы были произведены с насилием — даже на почве нового избирательного положения, нарушившего основные законы, изданные так недавно самим же правительством. Но... «полная фальсификация выборного начала» не тревожит автора, так как «те, кто знали Россию того времени, могли быть уверены, что на деле всякое национальное собрание будет в оппозиции к правительству, хотя бы оно даже состояло из бывших министров». Фраза рискованная, резко нарушающая благодушие автора...

А вот и проверка. Столыпин хотел ввести в свое «либеральное» правительство Гучкова, Н.Н. Львова и проф. П.Г. Виноградова. Все они отказались, по объяснению самого проф. Пэrsa, «потому, что не могли получить хотя бы минимальной гарантии в соблюдении представляемых ими принципов, так что в них можно было бы видеть только отдельных пленников реакции». Это опять очень ценное признание, которое переворачивает всю авторскую перспективу событий. Проф. Пэрсу, по-видимому, не приходит в голову, что по этой же самой причине Милюков поставил Трепову «суровые условия». Если там была тактическая ошибка, то она должна разделяться всеми несговорчивыми кандидатами. В «пленники» никому идти не хотелось.

Таким образом, картины полного благополучия проф. Пэрсу нарисовать при всем желании не удастся. И больше всего нарушают ее его главные герои, Гучков и Столыпин. Обоим им автор выдает блестящие аттестации. Но... события разворачиваются, и в аттестаты обоих «пленников» приходится внести поправки. «Недостатком Гучкова была его неугомонность»; он «любил спокойно стоять под огнем, когда хотел сделать вызов». Опираясь на «растущий авторитет» Думы, он решился «сделать вызов великим князьям», занимавшим синекуры в учреждениях государственной обороны. Жест был очень патриотичен и сразу привлек внимание страны. Великие князья не ушли; но Дума этим «высказала то, что все думали». Каков же результат жеста? «Атмосфера сотрудничества была нарушена». «Кризис Гучкова закончился уже в конце первой сессии, в июне 1908 года», а с ним прошел и «лучший год третьей Думы». «Реакционеры напугали императора тем, что он выпускает из рук свою прерогативу». Последовало то, чего и надо было ожидать. «Столыпина предостерегли от чересчур большой интимности с октябристами; его сотрудничество с Гучковым ослабело». Но автор судит не Столыпина за отступничество, а... Гучкова. Авторские краски в характеристике Гучкова сгущаются. «В нем была большая доза авантюризма; его политическим недостатком было, что он часто преувеличивал

свою ловкость и чересчур на многое пускался». Соответствующий поворот Столыпина от «конституционализма» проф. Пэрс отмечает совсем спокойно и без критики. «Он стал особенно полагаться на вновь образованную группу националистов». Чтобы сохранить равновесие, автор их реабилитирует. Это были «независимые тори»¹, которые, подобно Шульгину, под влиянием парламентской жизни все более отходили от широко субсидируемой секции чистых реакционеров, вроде Пуришкевича и Маркова II». Отходили, но недалеко, и от «реакции», и от «субсидии».

Столыпин повернулся, но не вывернулся. Он сам и вместе с ним проф. Пэрс говорят о его «многочисленных врагах в столице» и об «интригах» против него: надо прибавить «при дворе». Он окончательно поскользнулся на проведении «своей узко-понятой политики Великой России», выдвинув вопросы о привилегиях Финляндии и о поляках в Юго-Западном крае. Пока Столыпин занимался проведением во внедумском порядке своих аграрных законов и применением исключительных положений в духе правительственного террора, проф. Пэрс или одобрял его восторженно («Россия ждала этого со времени крестьянского освобождения»), или смущенно извинял правительственный террор «энергией» Столыпина — и тем, что все-таки число правительственных казней было «меньше числа революционных убийств»! Теперь положение изменилось. Столыпин так же «драстически»* поступил с Думой, с Государственным Советом и с самим императором, проводя в исключительном порядке свои «спорные» проекты. Он забыл, что «пленнику» нельзя декларировать независимости. И Гучков с ним окончательно разошелся, отказавшись от председательства в Думе: это значило — разрыв молчаливого договора о сотрудничестве. Проф. Пэрсу он потом говорил, что никакого договора и не было. Император подчинился, но и затаил раздражение: «пленники» так не поступают. Между прочим, и я тут опять провинился в глазах проф. Пэрса. «В лучшей, может быть, речи в моей жизни (автор любит этого рода обобщения) я “прекрасно” защищал финляндцев в Думе»; но «сделал большую тактическую ошибку, побудив партию (к.-д.) отказаться от голосования, тогда как октябристы одни не могла изменить законопроект». О, эти опальные теперь октябристы: если бы они тогда вспомнили про свою мнимую принципиальность! Но конкурируя в послушании с националистами, они предпочли продемонстрировать особый вид

* решительно.

¹ Тори — политическая партия Англии консервативного толка, возникла в 70–80-е гг. XVII в.

«великороссийского» патриотизма («узко-понятого») — и не оставили нам никакого выбора.

По свидетельству Гучкова, Столыпин высказал Шульгину уверенность в том, что «будет убит полицейским агентом». Помня случаи с Герценштейном и Иоллосом, а также и эпопею Азефа, он, вероятно, знал, что говорил. Так и случилось: он был убит темным субъектом в киевском театре, в присутствии императора, которого, умирая, благословил. Все, не исключая Коковцова, отметили демонстративную нечувствительность царя перед лицом этой смерти. Когда Коковцов, занявший место Столыпина, намекнул императрице о верной службе покойного, она оборвала его (я цитирую русский текст): «Не надо жалеть тех, кого не стало... Он уже окончил свою роль и должен был ступешаться, так как ему нечего было больше исполнять... И вы не должны слепо продолжать то, что делал ваш предшественник... Опирайтесь на доверие государя». Мавр сделал свое дело... Не знаю, предал ли проф. Пэрс Коковцова, напечатав в книге его слова: «С другой женой, которая не интересовалась бы политикой, Николай был бы отличным конституционным монархом».

Как видим, вся конструкция автора «Падения монархии» и падает вместе с его неудачей — найти для нее опору в деятельности третьей Думы. Вынужденный хотя бы упомянуть, по возможности кратко, теневую сторону этого четырехлетнего эпизода, он поневоле наткнулся на факты, назойливо указывавшие не на период благополучия после усмирения революционеров, а на подземные раскаты новой грядущей революции, грозившей окончательной развязкой. Эта развязка уже потому должна была стать окончательной, что именно на примере третьей Думы окончательно выяснилось, что о примирении династии с любым народным представительством не может быть и речи. Эту Думу — особенно вначале, называли «лакейской»; октябристы старались, но не могли придать ей «оттенок благородства». Чиновники, ставшие депутатами и «образовавшие ядро», проявляли полное послушание. Деловая часть была поставлена образцово. В пределах того, что в Думе привыкли называть «вермишелью», отведенная ей доля сотрудничества с властью могла продолжаться бесконечно, вызывая те же одобрения свыше. Но дело в том, что при всем желании «вермишелью» любое народное представительство (в этом проф. Пэрс совершенно прав) никак не могло ограничиться. За этими пределами сразу начиналась «политика», хотя бы самая корректная, лояльная. Но и в рамках корректности и лояльности оказалось невозможным остаться. Выйти за эти пределы выпало на долю двум свежим людям, непривычным к петербургскому сановному этикету. Культурный наследник

замоскворечных Тит Титычей¹ и провинциальный губернатор, пере-саженный в душную атмосферу Петербурга с «букетом деревенско-го здоровья, простоты и прямоты», по характеристике проф. Пэrsa, проявили в своем служении нетерпимую для власти независимость. Один за другим, они были отброшены легким дуновением сверху. И конфликт снова вспыхнул во всей своей яркости и глубине — в самом очаге несостоявшегося примирения.

Для историка «падения монархии» тут, в сущности, не было бы ничего неожиданного. Но историк «падения династии» связан более тесным кругом наблюдения. Для него благополучие начинается и кончается около трона. И характерно, что, недовольный концом Сто-лыпина, но воздерживающийся от прямого осуждения, автор проры-вается такой фразой: «Большой человек (Столыпин) сделал больше, чем служить своему государю. Он спас его престол».

Если «спасти престол» можно было одному человеку, то «один человек» мог и погубить его. И следующая глава книги называется: «Распутин». Ярче нельзя подчеркнуть, что автор продолжает сохра-нять свой кругозор. Но дальше картины благополучия в третьей Думе он все же идти не может. Деятельность четвертой Думы² слишком резко осложняется новыми факторами. Подземного рокота историк в них продолжает не слышать. Для него дело сводится прежде всего к выступлению новых личностей. «Роль» Столыпина и Гучкова, как выразилась императрица, отныне была «окончена». На сцену высту-пала роль самой императрицы и Распутина. Как раз с этого момента усиливается интерес проф. Пэrsa к событиям, ибо он «может точнее следить за тем, что случилось».

Это опять отражается и на распределении материала в книге. То, что произошло до этого момента, изложено автором всего в четвер-той части книги — 125 стр. из 500. Из остальных 375 стр. — 77 за-няты рассказом об участии России в мировой войне. На остающихся трехстах имя Распутина почти не сходит со страниц книги. История Думы и смены министерств переплетаются с личной жизнью семьи. О стране просто некогда вспоминать в этой связи, и отдельные до-носящиеся оттуда отклики являются неожиданностями среди сплет-ней неподвижных династических принципов с мелкими интересами проходимцев, постепенно заполняющих сцену. Для истории падения «династии» этого кругозора достаточно.

¹Тит Титыч Брусков — действующее лицо комедии А. Островского «В чужом пиру похмелье», тип самодовольного купца, человека диких прихотей и поступков.

²Четвертая Государственная дума действовала с 15 ноября 1912 г. до 25 февраля 1917 г.

После убийства П.А. Столыпина и созыва четвертой Думы, задача профессора Пэрса значительно облегчается. Он уже не принужден иметь дело с разногласиями своих политических друзей. Правые под влиянием хода событий постепенно влевеют, и «левые» взгляды на приближение революции становятся общими. Одинаково признается всеми и основная причина грозящей катастрофы: падение династии; точнее, политика императрицы. Все труднее становится уйти от вывода, что здесь — ключ положения. Из остальных факторов самый важный — война. Но война не создает катастрофы сама по себе. Она ее только ускоряет, обостряя противоречие между страной и властью.

Не все в этой связи причин с последствиями ясно для профессора Пэрса. Войну он описывает преимущественно с точки зрения военного наблюдателя. Династию — с точки зрения внутренних отношений в царской семье. Получаются две картины: одна — светлая, другая — все более мрачная. Эта трудность осложняется тем, что автор, приступая к изложению «величайшего кризиса в русской истории», не может забыть и своей прежней характеристики благополучия России в годы третьей Думы. Царь «понял, что в 1905 году он создал конституцию». Он передал власть «от крайнего реакционера — конституционалисту Столыпину». «Оппозиция правительству, практически общая всей стране, была вполне лояльной». «Крестьяне чувствовали себя лучше, чем прежде; только им стало труднее получать необходимое из городов». «Пищи было сколько угодно; вопрос был только, как ее доставить». «Конечно, было и недовольство, но не выраженное и не принявшее еще политической формы».

А с другой стороны, «ошибочно думать, что все, что случилось, было неизбежно». «Те, кто видел тогдашние возможности и понимали, как легко можно было направить дело, — и оно действительно было направлено — совершенно в обратном направлении, держатся другого взгляда». Итак, остается искать виноватого. «Центральный ключ ко всему, что должно было случиться позднее, находим мы в письмах императрицы — и только там». Проф. Пэрс разрабатывает материал этих писем так тщательно и полно, как никто раньше. Можно сказать, что эта черта — одно из положительных достоинств книги. Конечно, опираясь на этот источник, автор с негодованием отвергает все «нечистые подозрения» против императрицы, все «городские толки» о ее германофильстве, о ее отношениях к Распутину. Она сама относилась к этим толкам «распущенной верхушки петербургского общества с заслуженным презрением». Переносила эти толки «глухая» Анна Вырубова.

Императрица замкнулась от всех в кругу семейной жизни. Ее уверенность в особом свойстве русской монархии ставила ее над всеми и выше всех. «Мы — помазанники Божии», часто повторяет она

в письмах. Первоначально она и ограничивается в этих письмах выражениями супружеских чувств и сведениями о маленьких событиях в семье, не думая вмешиваться в войну и политику. Потом, замечая, что царь слишком мягок и слаб для несения своего царственного долга, она «по-матерински» стремится его поддержать всей своей волей.

Но около императрицы стоит Распутин. Он лечит ее ребенка от неизлечимой болезни — своего рода гипнозом. Он обещает «царям», если будут слушаться его приказаний, внушаемых самим Богом, победу над врагами и наступление благополучной эры царствования. Императрица религиозна и суеверна. Она ему подчиняется тем охотнее, чем Распутин усваивает ее основную монархическую идею. Отныне, веления Распутина — веления Бога: непослушному грозят всякие бедствия. Царь, натура более прозаическая, пытается изредка напомнить, что, собственно, он — монарх и что у него есть тоже своя воля. Но тогда напоминания в письмах становятся особенно настойчивы, повторяются дважды и трижды, императрица напоминает о Божьих карах, и Николай II подчиняется. Никаким слухам о распутной жизни Распутина, о злоупотреблениях влиянием, им приобретенным и т.д., императрица просто не верит.

Все это — клевета его врагов, а, следовательно, и врагов царственной четы. Отношение к «нашему Другу» становится, таким образом, критерием государственной пригодности того или другого политического деятеля.

Все это, конечно, было известно и до книги проф. Пэrsa. Но ему принадлежит заслуга исчерпывающего подбора всех такого рода случаев. На основании их он с ужасающей отчетливостью изображает картину растущей изоляции царской четы: от великих князей и двора, от министров, от бывших друзей, от Думы, от всяких общественных кругов и, наконец, от целой страны. Началось с того, что Распутин хотел сам «гипнотизировать» более влиятельных политических деятелей: Коковцова, Родзянко, вел. кн. Николая Николаевича. Это удалось, Николай Николаевич отвечал: «...пусть приедет (в главную квартиру), я его повешу». И Николай Николаевич давно попал в разряд «врагов». С Коковцовым она не хотела кланяться. Дальше других пошел Родзянко, заставив царя выслушать доклад о письмах царицы к Распутину. Продолжение доклада было отменено, и Родзянко тоже попал в опалу. Его с Гучковым надо повесить. Тов. министра внутренних дел честный Джунковский составил доклад о разгульном поведении Распутина. Джунковский был отставлен и т.д., и т.д. Затем от отставок дело перешло к назначениям — с разрешения или по ходатайству Распутина. «Русский император», так резюмирует проф. Пэрс суть этого перехода, «был, таким образом, вынужден своей женой насмеяться над всей мыслящей Россией, над

министрами, Думой, органами местного управления и общественным мнением, — и отправиться на фронт (вместо вел. кн. Николая Николаевича) выиграть войну без их помощи, оставив императрицу управлять вместо себя тылом». «С течением времени, — прибавляет автор, — ее руководство и даже контроль становится все более абсолютными». Результат — укрепление «идеи собственности на государство; традиционно унаследованной от московских великих князей». «Мы не должны забывать, — прибавляет автор тут же, — что мы пишем историю русского правительства в XX веке, во время Мировой войны в союзе с Францией и Англией». «Но материал для рассказа — слишком убедителен». Впечатления честных людей от сложившегося положения подтверждаются признаниями или «показаниями» негодаев, вроде Белецкого или Протопопова, перед следственной комиссией. Сомневаться — невозможно.

И вот следуют вереницей в этих показаниях через распутинскую «переднюю» на министерские места люди, все более мелкие, все более невежественные в поручаемых им делах, все более бессовестные. А за ними еще более мелкая сошка: посредники между Распутиным и его кандидатами: некий Андроников, Манасевич-Мануйлов, «пустоголовая» Анна Вырубова. Даже угодливый «старик» Горемыкин оказывается как-то не к месту среди этой хищной стаи. «Хвостов — вот, наконец, человек, о котором я мечтала», пишет императрица, выдвигая его на пост министра внутренних дел. «Абсолютно неопытный человек, с совершенно непригодным характером», — характеризует его одноименный министр, его дядя. Но императрица в восторге, — и настойчиво требует назначения своего «честного Хвоста», как она его ласково называет. И Хвостов назначен. Он потом покусится на убийство Распутина. Так министерство наполняется «своими» людьми, «которые любят нашего Друга».

Но нет возможности передать всех тех безобразий, которые историк «падения монархии» честно собирает в свою книгу. Даже люди, знакомые с этим грязным прошлым, не могут не поразиться мозаикой, когда мелкие кусочки собраны в одну яркую картину. Сам автор как бы извиняется перед читателем. Он «не дал бы ни одной из этих подробностей, если бы не нужно было охарактеризовать фон в жизни человека, который сделался арбитром судеб России среди Мировой войны». И проф. Пэрс приводит в дополнение целую страницу цитат из писем императрицы к царю, где «наш Друг» руководит политикой государства, вмешиваясь и в мелочи, и в главное. «Остановить на три дня пассажирское движение». 8 ноября Распутин сообщает план выступления русских в Константинополь и хлопочет, «молясь и крестясь», о проходе войск через Румынию и Грецию. 15 ноября «под влиянием ночного сна требует наступления на Ригу», 12 декабря он

«...не может вспомнить точно» одного своего распоряжения, но императрица прибавляет: «мы должны всегда делать то, что он говорит». 1 ноября она пишет: «Наш Друг был всегда против войны, считая, что не стоило воевать из-за Балкан». 8 августа: «Наш Друг надеется, что мы не будем переходить через Карпаты». 8 октября: «О, прикажите Брусилову прекратить эту бесполезную резню» и т.д.

Проф. Пэрс приводит и отклик Брусилова: на просьбу императрицы сообщить ей дату своего наступления, он ответил отказом. Приводится и известная жалоба ген. Алексеева, что секретная карта военных операций, которая хранилась у него в главной квартире и единственная копия которой была вручена Николаю II, оказалась в кабинете императрицы, куда вход для Распутина был свободен. Конечно, проф. Пэрс совершенно правильно утверждает, что все слухи об «измене» самой императрицы вздорны, и цитирует ряд ее отзывов, резко враждебных имп. Вильгельму и свидетельствующих об ее патриотизме по отношению к новой родине. Но отношения императрицы с германскими родственниками ставили ее иногда в деликатное положение, а настояния Распутина на скорейшем заключении мира подвергали испытанию ее безусловное повиновение советам «Друга». Николай II не допускал до себя никаких влияний этого рода.

Наконец, и старый Горемыкин был смещен — без предупреждения — кандидатом Распутина и его друга, митрополита Питирима, — печальной памяти Штюмером. «Ограниченная и нечестная креатура», — характеризует его проф. Пэрс — слишком еще мягко. Это был один из тех вредных ничтожеств, которым суждено было стать могильщиками династии. Но... «он любит указания императрицы», и Николай II отсылает к нему через нее (и, следовательно, к Распутину) всех министров, которые «неприменно хотят являться сюда (в главную квартиру) и отнимают все мое время». «Императрица при таком положении не удержалась от рискованного сравнения себя в одном письме с великой Екатериной II...»

Таково было положение, при котором начинались не «заговоры», а скорее, разговоры о заговорах. Первый заговор — против Распутина — принадлежал, как сказано, тому самому Хвостову (младшему), которого он поставил в министры. Но этот заговор провалился и только повредил его инициаторам. Потом стали говорить об аресте императрицы во время ее приезда в главную квартиру, об аресте царя, об его отречении и о регентстве Михаила, о привлечении вел. кн. Николая Николаевича к наследованию трона. Родзянко сообщил о своем разговоре с вел. кн. Марьей Павловной, наводившей мысль председателя на то, чтобы «Дума» устроила покушение на императора. Имелась и попытка военного заговора с участием Гучкова и ген. Крымова, поведенная слишком вяло и предупрежденная революци-

ей. Проф. Пэрс знает обо всем этом и приводит соответствующие сведения и слухи. Посыпались и предупреждения царю — от великих князей, от английского посла Бьюкенена, от Родзянко и т.д. Царь относился к ним безучастно, как завороченный. Наступил, по выражению проф. Пэрса, «хаос», и события продолжали разворачиваться автоматически. На Распутина пал первый удар. Проф. Пэрс излагает эту отвратительную историю со всеми мрачными подробностями. Он внимательно останавливается на жалкой фигуре другого могильщика — Протопопова.

Рекомендованный Распутиным Протопопов обещал императрице «расправиться с ними». Обоим было понятно, с кем именно. Как раз тут Николай II пробует огрызнуться, но после троекратного приказа императрицы Протопопов назначен. «Самое важное из всех назначений», — говорит «глупая» Вырубова...» С отчаянием в душе императрица узнает, что Протопопову грозит отставка. Она спешит в главную квартиру и внушает царю поколебленную уверенность. «Голова идет кругом... Не отнимайте подставок, на которых я смогла бы отдохнуть... Они прогонят всех друзей, а потом и нас самих... Вы были один с нами двумя (она и Распутин)... Я ведь бьюсь за ваше царствование и за будущность бэби» (наследника). «Здесь слышатся последние вопли... И Николай II извиняется за минуту нерешительности: “Я буду жесток и резок”».

Около 60 страниц остаются автору, чтобы рассказать историю двух революций. Из них половина посвящена дальнейшей судьбе царской семьи после отречения государя. Конечно, рассказ автора о революции чересчур краток и по необходимости, неточен. Своим руководителем в этой части книги проф. Пэрс избирает А.Ф. Керенского, книги которого имеются на английском языке. Как это ни странно, но, в сущности, это соответствует благодушию автора, всегда чувствующего влечение к предрержащей власти. С моей «Историей второй революции», за исключением предисловия, он не проявляет знакомства, считая ее «преждевременной». Меня лично затрагивает лишь умолчание автора о моей роли в вопросе о выезде царя за границу — хотя именно на меня сыпались главные обвинения правых, а также объяснение проф. Пэрсом моего ухода из Временного правительства «фатальным недостатком политической перспективы», выразившимся в напоминании о союзной уступке России проливов. Автор забывает, что эти напоминания повторялись и моим преемником. По Керенскому же, победа большевиков объясняется выступлением ген. Корнилова. Других объяснений нет на полустраничке, описывающей большевистский переворот.

Значительно подробнее изложены последние месяцы жизни царской семьи в изгнании и трагедия убийства. Даже в этом пересказе

она производит сильное и тяжелое впечатление. Автор тщательно собрал все слухи о попытках освобождения пленников; но отделить здесь слухи от действительности представляется невозможным.

Каково же общее суждение о книге проф. Пэрса? Это, прежде всего, честная книга, и этим объясняется отчасти сужение ее горизонта. Автор хочет говорить только о том, что знает. Известные ему данные изложены очень полно, но он слишком доверчиво относится к своим источникам, ценя их свежесть, но не критикуя степени их достоверности. Он хочет быть беспристрастным, но невольно руководится своей средней оценкой, не скрывая сочувствия политике Столыпина и Гучкова перед правыми и левыми в царский период — и политике Керенского перед соответствующими политическими оценками при революции. Но совет Феба Икару: «Серединой пройдешь безопасней» (*medio tutissimus ibis*), как раз в данных двух случаях не соответствует динамике исторического процесса. Стержень событий проходит по другим линиям. Отсюда — и отмеченные выше несоответствия между изображением автора и действительностью.

Последние новости. 1939, 25 июня, 2, 9 июля

В.А. МАКЛАКОВ О КНИГЕ ПРОФ. ПЭРСА

К моим статьям о «Падении монархии» проф. Пэрса мне приходится прибавить постскрипtum. В только что полученной книжке «*Slavonic Review*»¹ я прочел подробную рецензию В.А. Маклакова на ту же тему, но с другой точки зрения, ему свойственной. Мы оба отметили, что проф. Пэрс находится под влиянием своих политических друзей. Но я разумел под этим влияние октябристов (к которым В.А. Маклаков политически близок), а В.А. Маклаков обвиняет проф. Пэрса в подчинении взглядам «кадетов» и, в частности, моим. Мы оба, в конце концов, сходимся в том, что автору разбираемой книги не удалось примирить противоположные взгляды его русских друзей, и, следуя тем и другим сразу, он впал в неизбежные противоречия. Но все же основной его взгляд на события — октябристский (и маклаковский), а не «кадетский». И мне бы не было надобности писать этой статьи, если бы одобрением этого октябристского осве-

¹ Речь идет о журнале «*Slavonic and East European review*» (University of London, School of Slavonic and East European studies. London).

щения событий В.А. Маклаков и ограничился. Но он идет дальше — и преследует проф. Пэрса за его верность «либеральной легенде», которую «мы сами и выдумали». Ее надо всячески разрушить, чтобы понять ход событий. И В.А. Маклаков, как известно, давно этим занимается. А проф. Пэрс «повторяет старые либеральные лозунги, восхищается талантами первой Думы, ее “адресом” и другими грехами тех дней». Автор книги «позволил овладеть собой той версии, которую либералы внушили Европе. Эта версия нуждается в общем пересмотре, но проф. Пэрс не решился его произвести». Со своей стороны В.А. Маклаков снова старается — в глазах Европы — искоренить «либеральную легенду». Поэтому от разбора книги Пэрса он переходит к своей любимой теме, критике кадетских провинностей. Правда, на этот раз он оговаривается, что «несправедливо порицать отдельные личности» за то, что было «общим явлением». Но тут же продолжает «порицать к.-д. за тот факт, что наиболее ответственные между ними не захотели стать выше толпы и попытаться руководить ею». Это сводится к тому же «порицанию личностей».

Я не собираюсь переубеждать В.А. Маклакова. Если он не исправил своего прежнего взгляда на мою личную роль и после моих воспоминаний в «Русских записках»¹, на которые ссылается, то, очевидно, спорить с ним бесполезно. Он остается во власти своих старых впечатлений, которые мне уже приходилось характеризовать печатно. Но в данной статье есть утверждения, которые сформулированы отчетливее, чем прежде, — и тем ярче подчеркивают собственные ошибки В.А. Маклакова в оценке событий. Книга проф. Пэрса принесла ту добавочную пользу, что вновь вскрыла разницу — и даже противоположность — тех точек зрения его политических друзей, которые чересчур сближены и сглажены в его мозаическом рассказе о внешнем ходе событий.

В.А. Маклаков соглашается с самоограничением автора избранной им темой. Мало того: он вместе с проф. Пэрсом выбирает и в этом ограниченном сюжете еще более тесный круг вопросов — о личной ответственности за катастрофу главных руководителей событий. Он признает, что при такой постановке отпадает даже его «прежний» взгляд на решающее значение войны. Он соглашается с признанием примиряющей роли цензовой Государственной Думы и с картиной растущего благосостояния при старом режиме. Отведя главных лиц драмы от общего исторического фона, так сказать, на первый

¹ «Русские записки» — общественно-политический и литературный журнал, издавался при непосредственном участии Н.Д. Авксентьева, И.И. Бунакова, М.В. Вишняка, В.В. Руднева в Париже в 1937–1939; в 1938 г. № 4 вышел под редакцией П.Н. Милюкова.

план исторической рампы, он получает возможность свести свои объяснения к поведению двух элементов: кадетов и императора. В его упрощенной схеме оба фактора поочередно впадают в одну и ту же психологическую ошибку. Вначале «кадеты» не верят императору. В конце император не верит «кадетам». Отсюда происходят все бедствия. Но в нарушении этой основной предпосылки «доверия» виноваты в конце концов все-таки кадеты. *La confiance est une plante qui ne gerousse pas**, цитирует В.А. Маклаков Бисмарка. На суженых таким образом подмостках император играет отраженную и второстепенную роль. Главные «злодеи» маклаковской фабулы — все же кадеты.

Повторяю, спорить против такой степени предвзятости — бесполезно. Но позволительно еще и еще раз подчеркнуть некоторые факты, которые нельзя оспаривать, и которые в корне разрушают концепцию В.А. Маклакова.

Начнем с конца: с этого «недоверия» императора, которое справедливо заслужено «кадетами». Одним ли «кадетам» не доверял Николай II? И только ли с опыта первой Думы началось его недоверие? Ведь он не доверял и Витте, не доверял Столыпину, не доверял Гучкову, Родзянке, Шипову и т.д. Кому доверял он? По конструкции В.А. Маклакова выходит, что он отдался в полную власть императрицы и Распутина только тогда, когда все другие его «обманули». Но ведь были другие имена, перед которыми давно уже пасовала его слабая воля. В.А. Маклаков забыл Победоносцева, кн. Мещерского... Случаен ли был этот выбор?

Ответив на этот вопрос, В.А. Маклаков, может быть, пришел бы и к правильному выводу, почему императору «не доверяли»... не только кадеты. У Николая II была своя идея, основная идея его царствования, «лучшая мечта всей его жизни», как он выразился Коковцову, в решительный момент, когда приходилось выбирать между доверием и недоверием к кадетам. Этой «лучшей мечте» отвечали Победоносцев и Мещерский, Союз русского народа, даже «истинно русские извозчики», но не отвечали Витте и Столыпин, — потому что то была «мечта» всех последних самодержцев — сохранить во что бы то ни стало свою неограниченную власть: «...передать сыну то, что получил от отца». Императрица получила власть потому, что она отдала всю свою волю осуществлению этой «мечты». «Мы помазаны Богом».

Но царь дал «конституцию», возражает Маклаков. Тут его другая ошибка, столь же непростительная, как первая. Царь никогда не думал, что он дал конституцию. Манифест 17 октября? Это «была бы конституция», — писал царь жене в условной форме, оправдываясь в своей вынужденной обстоятельствами подписи. В сознании царя его

* Доверие — это растение, которое нельзя вырастить дважды (фр.).

уступка «конституцией» не была. Правда, в минуту опасности и одиночества он подписал документ с «законодательной властью» Думы. Но достаточно вспомнить, как он упирался, как Витте вынудил подпись, и как, в конце концов, Николай II понимал эту власть. «Разве я, монарх, не вправе делать то, что хочу?», — спросил он как бы с наивным удивлением своих советников. Он и «сделал, что хотел» — 3 июня 1907 года¹. С тех пор вопрос о возвращении к «совещательной» Думе стал на очередь и сделался лишь вопросом времени.

Царь не дал и не хотел дать конституции: это кадеты понимали тогда; этого В.А. Маклаков не хочет понять и теперь. Отсюда их дальнейшая борьба; отсюда и царское недоверие авансом, смешение их с революционерами, республиканцами и т.д. В.А. Маклакову хотелось бы, чтобы кадеты как-то исхитрились, сделали хотя бы вид, что поверили в «конституцию», и тем — понемножку, помаленьку — втащили бы конституцию в жизнь. Увы, этой тактики держались, но не могли провести ни Гучков, ни Столыпин. Гр. Коковцев проводил ее автоматически, потому что был аполитичен; но скоро и он потерял доверие... императрицы.

Есть, однако, точка на этом пути, дойдя до которой В.А. Маклаков начинает, к моему удивлению, хвалить кадетов! Это их поведение в третьей и четвертой Думе. Тут В.А. Маклаков сходится с проф. Пэрсом. Но только с другой стороны. Я уже отметил, что в четвертой Думе проф. Пэрсу стало легче согласовать свои дружеские симпатии с реальностью, потому что все его друзья полевели. А Маклаков одобряет кадетов за то, что они... поправили. И тут уже мне приходится защищать проф. Пэрса от его критика. Проф. Пэрс все-таки «гладстонианец», и есть вещи, которых он перенести не может, хотя бы и пришлось впасть в противоречия. В.А. Маклаков все гнет под свою предвзятую точку зрения — и потому последователен до полного извращения истины.

Четвертая Дума вся в целом составе постепенно радикализуется. Именно поэтому она становится «популярной». В.А. Маклаков всячески доказывает ее «лояльность». Пусть, вместе со всей страной, она критиковала военные порядки и мероприятия. Но ведь она и помогала войне. В стране «было недовольство»? Но «правитель-

¹Закон 3(16) июня 1907 г. означал третьеиюньский переворот, разгон II Государственной думы и изменение избирательного закона о выборах в Думу. Изменение по закону представительства в Думе помещиков и торгово-промышленной буржуазии и сокращение числа представителей крестьян и рабочих нарушало Манифест 17 октября 1905 г. и Основные законы 1906 г., по которым законы не могли издаваться без одобрения Государственного совета.

ство взяло новый курс и несколько министров (каких!) получили отставку». «Сотрудничество между властями и публикой расширилось». Но «Дума откликнулась на это, создав Прогрессивный блок»¹. В.А. Маклаков одобряет создание этого блока, не видя, что оно значит и к чему приведет. «Кадеты в первый раз заключили соглашение с умеренными конституционными партиями, с октябристами и даже с националистами». Дошло даже до того, что царь посетил Думу. В.А. Маклаков торжествует, перенося идиллию третьей Думы проф. Пэrsa в четвертую. Этой ошибки даже проф. Пэрс уже не делает. Он знает, что при сложившемся положении, «всякая Дума кончает оппозицией». Но В.А. Маклаков выступает на защиту «умеренности» думского «блока» от проф. Пэrsa. Блок выступил с несвоевременной программой реформ, — замечает Пэрс. Нет, — отвечает В.А., — «это не верно. Многие реформы были осуществимы. Другие не спешны; блок не просил о реформе конституции, а довольствовался “министерством доверия, то есть условием sine qua non* здоровой политической жизни”». Неосторожно сказано это «sine qua non»: это ведь и есть источник оппозиции. Правда, блок не просил «министерства, ответственного перед Думой», но ведь «доверие» министерству требовалось не от императора, а от страны, безусловно не доверявшей монарху. Осуществима ли была при этом «безусловная предпосылка» здоровой политической жизни? В.А. Маклаков забывает про удивление монарха, когда Бьюкенен напомнил ему про этого рода «доверие». Не страна должна «доверять» ему, а сама должна «заслужить» его доверие.., — оборвал он гордо посланника.

Но «блок был лоялен к власти», — настаивает Маклаков. К какой власти? Ведь министры, сторонники «блока», только что получили отставку и были заменены распутинскими креатурами. А сам В.А. отмечает, что «блок» объявил им войну. Использование Распутина германцами он считает вероятным. Всю картину хаоса последних месяцев он также разделяет. Только роль «блока» он хочет выгородить от участия в борьбе против распутинцев и хаоса. И тут опять сказывается его основная ошибка. Проф. Пэрс, конечно, не прав, приписывая «блоку» в целом один из планов свержения императора. Но он ближе к истине, нежели его критик. Я припоминаю совещание руководителей «блока» в помещении торгово-промышленного съезда, где обсуждался вопрос о престолонаследии после низложения Николая II. О самой процедуре низложения там

* без чего нет (лат.).

¹ Прогрессивный блок был образован в 1915 г., объединял умеренно-правые и либеральные фракции IV Государственной думы и группы Государственного совета.

не говорилось, а только о его последствиях. Но об этом не говорилось потому, что мы считали Гучкова и Некрасова посвященными в секретную часть «плана». Это и подтверждает Гучков в своем показании и в сообщениях Пэрсу. «Блок», конечно, не хотел оставаться позади надвигавшихся событий. Он сыграл главную роль в составлении кабинета февральской революции, а я заявил об этом решении «блока» в известной речи в Екатерининском зале. Все это, по конструкции В.А. Маклакова, должно было бы считаться каким-то срывом «лояльного» «блока» в революцию. У проф. Пэрса — это только естественное последствие занятой «блоком» политической позиции. И это правильно.

Подводя итог, В.А. Маклаков обвиняет проф. Пэрса в том, что он чересчур начался Милокова. Вот его слова с моими замечаниями в скобках. «Книга Пэрса многое изображает лучше и вернее (очевидно то, что больше соответствует взгляду самого В.А.). Но в своем понимании нашего прошлого он не мог отрешиться от версии тех, кому симпатизировал. (Это верно относительно друзей Маклакова). Сам, будучи либералом, «гладстонианцем», он был близок к партии, которая представляла этот либерализм, то есть к кадетам (это уже не совсем верно). Он знал и ценил их лидера Милокова, читал его книги и из них получил кадетскую версию (он получил ее из своих личных наблюдений, а книги мои читал недостаточно внимательно). Он даже не отказался от этой версии, когда заметил многие ее ошибки (сместив, как и В.А. Маклаков, Милокова с партией). Подчинение этой версии сказалось в изображении либерального движения (оно все же изложено у Пэрса жизненное и ближе к правде, нежели последовательная система его осуждения у В.А. Маклакова)».

Говорить ли об обвинении нас В.А. Маклаковым в нашей «связи с революцией»? Тут В.А. прав. Я согласен с ним, что мы «не остались нейтральными»: если не действиями, то моральной поддержкой (мы) были на стороне революции (как, впрочем, был тогда и сам В.А. Маклаков). Это правда. Вместе мы добыли этот манифест, который В.А. Маклаков упорно считает «конституционным». Вместе мы боролись и дальше, не считая этой уступки достаточной, и не желая идти в плен к исполнителям непреклонной императорской воли. История, к несчастью, оправдала нас, а не В.А. Маклакова. Мы ставили условия, необходимые для избежания революционного исхода. Они не были приняты, — и не мы виновны, что революция последовала. В последнюю минуту большинство четвертой Думы присоединились к нам. Но новые, сильно смягченные условия, по той же причине, были отброшены вместе с последними министрами, еще понимавшими положение. И этот печальный исход, даже с точ-

ки зрения Маклакова, одобрявшего наше поведение в «блоке», хотя и понявшего его по-своему, вполне отвечал нашей первоначальной оценке непоправимого вреда упрямой тактики падавшей династии. В.А. Маклаков видит мою (запоздалую) заслугу в попытке спасти монархию уже при начавшейся революции. Но вся наша политика преследовала ту же цель, — если бы она была понята правильно. К сожалению, спасти монарха против его воли от последствий его поведения, — ни мы, ни кто-либо другой, включая и друзей Маклакова, — не имели возможности.

Последние новости. 1919, 16 июля

БОЛЬШЕВИЗМ, СОЦИАЛИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ

Мы заметили вчера, что спор между социалистами и «социалистоедами» обыкновенно не доходит до существа вопроса. Прежде всего, кто хочет доказать слишком много, ничего не доказывает. Нападая на «социализм» вообще, нельзя доказать ничего просто потому, что «социализм» — слишком широкое понятие, вмещающее в себе самые различные и даже противоположные оттенки. Так наши предки нападали на «красных», «либералистов» или «фармазонов». Затем, нападение не может быть доказательным, если, оставляя в стороне существо учения, оно принимается доказывать, например, что социалисты не признают заповеди «не укради». Подобного рода нападки больше характеризуют тех, кто нападает, чем тех, на кого нападают.

С другой стороны, и защита социалистических позиций недостаточна, если она ограничивается бранчивыми ответами на фельетонную полемику, или принимает бой на тактических позициях, оставляя в стороне принципы, осуществлению которых призвана служить та или другая тактика. Так, например, недостаточно ответить на указание близости большевизма к социализму тем соображением, что большевизм контрреволюционен, а следовательно, социалистичен.

Принципиальная критика социализма как такового, — всякого социализма, — лицом, не исповедующим социалистических доктрин, конечно, представляет мало публицистического интереса. Тактическая же и практическая критика социализма с точки зрения его

«трагического опыта», как ставит вопрос «Руль»¹, не может быть критикой всякого социализма. С точки зрения буржуазной демократии публицистическая критика социализма может основываться на одном критерии: может ли социализм данного типа быть полезен развитию демократии или, напротив, он вреден для демократии?

Никто, конечно, не сомневается, что большевизм вреден для демократии, как и демократия вредна для большевизма. В этом признании заключается основная сущность самого большевизма. Сам большевизм отрицает демократию — как организованное господство большинства, ибо большевизм сводится к попытке осуществить социализм путем захвата государственной власти представителями — действительными или самозваными — пролетарского меньшинства.

Вопрос, следовательно, сводится к тому, в какой степени остальные течения социализма тоже отрицают демократию — и что они под ней разумеют: демократию ли вообще или только ту часть демократии, которая разделяет социалистические воззрения? Поскольку эти течения отрицают демократию или подразумевают под нею только пролетарские классы, поскольку, очевидно, их тактика (не предвешая вопроса об их доктрине) сродни тактике большевизма и принципиального различия между ними проведено быть не может.

Что такие течения есть, доказывается простой фактической справкой. Разверните последний номер «Социалистического вестника»² и прочтите статью Мартова. Мартов отвечает своим критикам, г.г. Кучину и Аронсону, пытавшимся свести «тактические расхождения среди русских социал-демократов» к различному пониманию степени близости мировой революции. Нет, отвечает Мартов — и отвечает правильно — различие существовало гораздо раньше, чем неудача германской революции пролила свет на этот вопрос. Уже на партийном съезде в декабре 1917 года тактическое расхождение между правым и левым крылом партии оказалось очень глубоким. «Политике соглашательства — т.е. борьбе за восстановление единого (с большевиками) революционного фронта рабочих и крестьян правое крыло противопоставило политику союза с буржуазией в целях восстановления попорченной большевиками демократии... В этот именно период — до германской революции — разыгралась наиболее ожесточенная борьба внутри партии: вступление

¹ «Руль» — эмигрантская газета демократической ориентации, выходила в 1920–1931 гг., основана Н. Гессеном, А. Каминкой и В. Набоковым.

² Социалистический вестник — журнал, издававшийся Делегацией Российской социал-демократической партии в 1921–1965 гг.

Майского в правительство Комуча¹, бурный протест правых против исключения его из партии Центральным Комитетом, протесты против исключения из партии участников Ярославского восстания², Дюшена и Савинкова, участие в Симферопольском земско-городском совещании³, раскол петербургской организации и т.д., и т.д. Процесс разделения партии на два крыла уже закончился, когда наступила германская революция». Далее следует указание, что левое крыло, с одной стороны, не стало принципиально на почву «власти советов», но с другой — не соглашалось и с «противной фракцией — восстановить коалицию с буржуазией на том простом основании, что ежели мы признали революцию буржуазной, то во главе ее должны стоять буржуа». Так как, однако, осталось неясным, каким образом «во главе» буржуазной республики могут стоять социалисты, не приемлющие коалиции, то позиция левого крыла оказалась весьма затруднительной. С одной стороны, оно «всегда стояло на почве демократической республики», с другой — тоже всегда — выдвигало лозунг «от н-с-ов до большевиков» (т.е. с исключением несоциалистической демократии).

Здесь в среде меньшевиков повторилась та же история, которая за полтора десятка лет тому назад произошла в целой партии: разделение на левое крыло (тогда это были большевики) и правое (меньшевики). Только в то время основание для разделения было более ясно: ушли те, кто не признавал возможности дойти до социализма мимо демократии, путем насильственного захвата власти меньшинством. А как дойти до социализма иначе? Неизбежную альтернативу очень отчетливо рисует Каутский в последней книге («От демократии к государственному рабству»⁴). Это — получение власти демократическим путем — постановлением большинства парламента.

Трагедия социализма заключается в том, что для него зараз и неизбежен, и невозможен выбор между этими двумя решениями. Больше-

¹ Комуч — Комитет членов Учредительного собрания — создан как альтернатива большевистскому правительству 8 июня 1918 г. в Самаре.

² Ярославское восстание — антибольшевистское выступление 6–21 июля 1918 г. в г. Ярославле под руководством Союза защиты Родины и свободы, возглавляемого Б.В. Савинковым.

³ Симферопольское земско-городское совещание — совещание, в подавляющем большинстве состоявшее из социалистов, прошедшее в ноябре 1918 г. в г. Симферополь, на котором было принято решение о совместных действиях с Добровольческой армией.

⁴ Русское издание: Каутский К. От демократии к государственному рабству. Берлин, 1922.

визм доказал теперь наглядно, что осуществление социализма путем насилия меньшинства ведет только к бюрократической диктатуре и к разрушению самих основ того производственного процесса, на развитии которого только и основывается надежда на осуществление социализма. А демократический путь — мирного введения социализма социалистическим большинством палаты — явно маловероятен — и, во всяком случае, слишком уж длителен. Для несоциалиста ничего ужасного не представляет вывод, что, стало быть, введение социализма вообще невозможно, если оно неосуществимо ни революционным, ни мирным путем. Социалист, за редким исключением, с этим выводом примириться не может. И ему приходится колебаться между двумя полярными решениями, одинаково внутренне противоречивыми: революционным, логически ведущим к большевизму, и эволюционным, логически ведущим к сотрудничеству с буржуазией в интересах демократии, а не социализма. Попытками скрыть от себя эти внутренние противоречия полны статьи представителей обоих флангов социализма. Но, оставаясь в строгих пределах социализма, выход из противоречий найти невозможно.

Наш вывод из этих соображений, прежде всего, тот, что ни исторически, ни логически отрицать связь социализма с большевизмом — невозможно. Связь эта и отрицается преимущественно из тактических соображений. Как выражается нью-йоркский сотрудник «Зари» в последнем номере этого журнала, «своей политикой кровавой диктатуры большевики скомпрометировали самую идею социализма и надолго оттолкнули широкие массы демократии от всяких социалистических экспериментов... Для всякого, не ослепленного узкопартийными догмами, ясно, что программа, выдвигаемая, например, П.Н. Милоковым и его сторонниками, в гораздо большей степени соответствует чаяниям и надеждам современной России, чем платформа меньшевиков... Возможно, что народится в России новая крестьянско-демократическая партия, за которой пойдут массы. Но одно несомненно: новая партия по духу своему будет гораздо ближе к идеям П.Н. Милокова, Е. Кусковой или С.С. Маслова, чем к идеям Л. Мартова или В.М. Чернова».

Другой вывод, практического свойства, который можно сделать из всего сказанного, заключается в том, что часть социализма, отталкиваемая от большевизма по существу, неизбежно приближается к чисто демократической постановке не только тактики, но и доктрины. Только что приведенный автор делает этот вывод в таких словах.

Последние новости. 1923, 31 января

ПОБЕДИТ ЛИ СОЦИАЛИЗМ?

Советская печать придает исключительное значение сельскохозяйственной выставке. «Правда» называет выставку «агитатором побед социалистического земледелия», «организатором соревнования». Едва ли можно сомневаться, что на выставке собраны интересные экспонаты и что посетители могут там кое-чему научиться. Страна так велика, так богата, что для выставки можно было собрать немало ценного. Но устраивая выставку, советская власть преследовала определенную задачу — она имела в виду доказать, что настоящий прогресс советского хозяйства мыслим только в условиях его социализации по сталинским указаниям. Во всяком случае, эти статьи, появившиеся в советской печати о выставке, говорят именно об этом. Сталин пожелал продемонстрировать достижения социализма на полях.

Но если достижения в сельском хозяйстве имеются, а в этом нельзя сомневаться, — то можно ли их приписать социализму, или следует объяснить естественным стремлением крестьянства к улучшению сельского хозяйства? Сама советская печать не скрывает того факта, что достижения сельского хозяйства не имеют еще массового характера, что, в сущности, это пока дело отдельных групп и лиц и что масса колхозников должна от ударников перенять их опыт. Если бы Сталин пожелал показать на выставке не достижения социалистического хозяйства, а сельского хозяйства вообще, то несомненно мог бы найти еще более интересные экспонаты по сравнению с теми, которые имеются на выставке.

Для этого надо было бы обратиться к частному хозяйству колхозников, которые на крошечных участках сумели за самый короткий период времени создать подлинно образцовые хозяйства. Именно со времени появления этих частных хозяйств увеличилось количество сельскохозяйственных товаров на так называемом колхозном базаре. Только исключительная энергия крестьянства привела к тому, что на рынке, куда идет потребитель, товаров, привозимых колхозниками со своих участков, оказалось больше, чем колхозных товаров. А разве не вызывает удивление тот факт, что колхозники при самых неблагоприятных условиях увеличили число скота, оставив далеко позади социалистическое животноводство?

В связи с выставкой центральное управление народнохозяйственного учета выпустило сборник «Социалистическое сельское хозяйство»¹. «Правда» дает из него извлечения. Судя по этим цита-

¹ Социалистическое сельское хозяйство СССР. Статистический сборник / под ред. И.В. Саутина. М.: Госпланиздат, 1939.

там, единственная цель сборника — прославление социализма. Говоря о животноводстве, «Правда» заявляет, что по крупному скоту достигнуто превышение довоенного уровня. Но если это действительно так, то сделано это не колхозами, а колхозниками. Что же касается социалистического животноводства, то его достижения ярче всего сказываются в коневодстве, отрасли хозяйства, запрещенной для колхозников. В указанном сборнике количество лошадей в 1916 г. исчислено в 35,8 млн голов, а в 1938 г. — в 17,5 млн голов. Вот настоящая «победа» социализма...

Никто не станет отрицать того факта, что сельское хозяйство при советской власти получило большое количество машин. Советская печать всегда упирает на успехи механизации сельского хозяйства. Но никогда в советской печати никто не осмелился поставить вопрос: насколько же выгодна эта механизация? На полях с каждым годом все больше тракторов и комбайнов и других сельскохозяйственных машин. Так, по крайней мере, положение дел рисуется сталинской печатью. Но есть ли какое-либо соответствие между ростом числа машин и успехами в выполнении сельскохозяйственных работ? В Москве сейчас демонстрируются победы социализма, а на полях происходит другое. При лучшем техническом оборудовании колхозов и совхозов тракторами, комбайнами и молотилками уборка хлеба значительно отстала от прошлогодней. Отставание это настолько велико, что советская печать, не желая нарушать принятого теперь победного стиля, уклоняется от приведения в сводках о ходе уборки прошлогодних цифр. До самого последнего времени это неизменно делалось. Как же можно совместить такого рода факты: с одной стороны, считается, что социализм в деревне победил, а с другой стороны, колхозы, снабженные большим количеством машин, затянули уборку хлеба и работают хуже, чем в прошлом году? Как можно объяснить и такие факты, как тяга колхозников к собственному хозяйству, как испуг Сталина за судьбу колхозов, угрозу, которую создали колхозники на своих крошечных участках?

Выставка — дело отнюдь не плохое. Но ее значение было бы большим, если бы власть была озабочена не судьбой социализма в деревне, а подлинным прогрессом сельского хозяйства. На выставке социализм изображается победителем, но в деревне говорить о победе пока преждевременно.

Последние новости. 1939, 21 августа

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

ЕВРОПА И «МЫ»

Трудно было ожидать, что, только что претерпев моральный удар, единственный в истории, СССР тотчас же прибавит к нему, уже от себя, и другой удар, обнаруживший его физическое бессилие и заставивший вспомнить старое изречение о «колоссе на глиняных ногах». Между тем и другим не прошло и месяца: нескольких недель оказалось достаточно, чтобы создать для СССР совершенно новое положение в мире.

В сущности, оба удара были логически связаны. Там, где позор принимают с невинным видом и радуются «свободе рук» опозоренного негодяя, — там парализованы самые источники внутренней силы. Там сознательное отношение народа к защите родины заменено рабским молчанием и скрытой ненавистью к режиму. Недостаточно ввести в газетный оборот понятие патриотизма: надо, чтобы чувство патриотизма родилось в душе и объединило массы в свободном общении. Это чувство обеспечило силу финского сопротивления. И его отсутствие обессилило русскую военную силу.

Господа-товарищи! Вы опять забыли, что вышли в Европу. В своем азиатском «зазнайстве» вы надеялись навалиться всей нерассуждающей массой на финского сознательного патриота и известными вам способами превратить его вмиг в коммунистического робота. А оказалось, что у него есть и знание, и искусство, вам неизвестные, а, главное, есть любовь к своему дому, вам недоступная, и решимость умереть за него, вам понятная только как беспрекословное исполнение приказа. Вы расправами и занялись, когда убедились в просчете. Но с кем и как вы расправляетесь? Над подобными расправами в старину шутили: «виноват стрелочник». К вам эта печальная шутка неприложима — потому что только «стрелочники» и остались в вашем распоряжении. Где люди знания и искусства? Каждый такой человек вам подозрителен, как шаман для дикаря. Эти люди давно «вычищены» и отправлены в подвалы Лубянки, куда вы теперь отправляете Куусинена, но не отправляете Димитрова. Где у вас люди, способные

сказать правду в глаза «отцу народов» и предупредить его об опасности, если даже сами ее не понимают? Есть лишь льстецы и лакеи, подыгрывающиеся к казенному стилю. Стиль установил, что Красная армия лучшая в мире, что «социалистическое отечество» непобедимо, что его вождь «мудрейший из мудрых», «гений стратегии», как и всего прочего. И вот — толпы полуобученных крестьян идут в убой по приказу, которого нельзя послушаться, — идут, не зная, куда и зачем; другая полицейская армия расстреливает их с тыла в случае нежелания идти замерзшими ногами под пули. А политруки и комиссары расстреливают недоученных красных командиров, если те посмеют пожаловаться на голод и холод. И это — «победоносная» армия!

Во славу Сталина победа должна была быть «молниеносной» — и поспеть с ней было обязательно к его юбилею. Поэтому без всякой подготовки, без знания местности, игнорируя время года, снежные бури и беспросветную полярную ночь, людей гнали к сроку тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч, на непреодолимые укрепления и гранитные скалы. На трупы ложились новые трупы — без счета, и это повторялось изо дня в день с тем же неизменным результатом: «атака отбита». Очевидно, элементарный учебник забыл сказать, что «линию Маннергейма» нельзя брать в лоб, скопом, и что тут нужно время и долгая подготовка. Какая тут подготовка, если юбилей Сталина через две недели, через неделю!

А что делалось на севере, где безлюдная пустыня казалась пригодной для другого типа — «маневренной» войны? Тут борьба за главный приз: никелевую руду, океанские, незамерзающие гавани — и непосредственные границы с Норвегией и Швецией. И туда гнали новые сотни тысяч — забывая или не зная про бездорожье, про сотни километров пустыни, пересеченной лесами и озерами, где невозможна война единым фронтом, и надо биться вразброд. И опять юбилей, опять надо спешить скорее вперед, на юг, отрываясь от баз, по единственной «туристской» дороге, при тридцати градусах мороза, в темноте полярного дня, при скудном свете факелов: нужно было бороться с прекрасно застрахованным противником, замерзая от плохой обуви, в дешевой одежде: нужно стрелять, ожигая руки железом винтовок, а, главное, нужно идти и идти, не высылая разъездов, не охраняя флангов и тыла, среди непроходимых лесов, где кроется бдительный враг, готовящий на каждом шагу ловушки, отбивающий обозы с провиантом и амуницией, взрывающий лед озер, нападающий внезапно из безвестной темноты в часы остановок для еды, сна и отдыха.

Неудивительно, что такая обстановка не могла не убить не только охоту сражаться (о ней не спрашивали), но и простую физическую возможность продвигаться дальше. Холод и голод — раньше чем враг — гнали растерянные толпы назад, к потерянными базам. Кар-

тина этого отступления, при свете факелов, служивших мишенью врагу, была ужасна: она достойна кисти Верещагина. Те, кто еще мог двигаться, начинают, наконец, понимать бесцельность жертвы. Оставалось одно: сдача в плен неприятелю, побег, дезертирство. Раненые оставались на месте вперемежку с замершими трупами — и сами обращались в кучи каменных изваяний. Иностранный наблюдатель насчитал до двух тысяч таких мертвецов, после одной только ночи отступления от Сала¹. На почве общего недовольства начинались, наконец, и бунты. Характерно, что в случае, проникшем в печать, гнев солдат обратился, прежде всего, не на низшее командование, а на политруков и комиссаров, шедших за армией, очевидно, не для того, чтобы изучать «историю партии» Сталина.

Наступил и юбилей — среди ужасов поражения. Хвалиться было нечем. Зато хвалить было кого. Двенадцать страниц холопства, где профессиональные льстецы истощались в изобретении новых напыщенных хвалебных эпитетов и шесть коротких строк, посвященных военным действиям на театре войны, таков итог. В самом тупом мозгу — не говорю уже о спящей совести — должна была, наконец, пробудиться мысль, что пора остановиться. За границей уже пошли слухи, что наступление будет отложено до весны. Если финны на это согласятся, то разумные люди заговорили бы о возможности перемирия и даже о возвращении на путь переговоров с законным правительством Финляндии. Но то были бы разумные люди. А американский журналист Л. Стоу, наблюдавший на месте «полуголодные и оборванные полчища», напомнившие ему беспорядочное отступление наполеоновской армии, только что разгадал нетрудную догадку: Сталин во все не «дьявольски хитер», как про него думают, а «попросту туп и упрям». Дело, конечно, обстоит несколько сложнее, но в данном случае эти свойства «вождя», несомненно, оказались на первом плане. Давным-давно стало аксиомой, что Сталин боится войны, потому что она грозит гибелью ему и его режиму. И вот он втянулся в войну, которая из «маленькой» грозит развернуться в большую — и не только не спешит — как выбраться из лужи, в которую сам посадил себя, но по-прежнему ищет спасения в новой «чистке» армии и в наказаниях «стрелочников», т.е. прибегает к старым приемам, которые уже оказались недействительными. Конечно, русский народ не сразу узнает о том, что произошло в Финляндии. Но в Петербурге, на границе, об этом уже известно, и обитатели старой столицы уже откликнулись волнениями на финляндские гекатомбы. Из рядов пострадавшей ар-

¹ Сало — городок на юге Финляндии, где во время советско-финской войны проходили ожесточенные бои.

мии сведения об ужасных последствиях сталинского каприза не могут не распространиться в военной среде.

Но это слишком серьезная тема, чтобы коснуться ее только мимоходом: к ней придется вернуться. Здесь мы остановимся на другой стороне провала: той, которая обращена лицом во вне, в Европе. Достаточно было нескольких недель, чтобы состоялась полная переоценка положения СССР в международной среде. Отвращение к московскому давящему «прессу» и сочувствие к жертве, конечно, сказались сразу. Но вначале громче всего слышался голос бессильной жалости к героям, осужденным на верную гибель; даже военные специалисты не сомневались в окончательной и скорой победе 180 миллионов над тремя. Сочувствующие финнам не шли дальше «моральной» поддержки, а государства, воздержавшиеся в Женеве от осуждения СССР, считали даже и это опасным шагом. Прошло немного дней — и настроение изменилось. Помимо естественных союзников — гранита, снегов и морозов — обороняющиеся проявили твердую волю к борьбе, наличность крепкой организации и умение пользоваться местными условиями. Отвлеченное сочувствие стало принимать конкретные формы, которых оно не успело принять при быстром разгроме Польши. «Материальная», а за нею и военная поддержка скоро были обеспечены. Окончательная перемена последовала, когда выяснился военный провал московского набега. Падение престижа Красной армии, вместе с выводами относительно слабости внутреннего режима, вытекавшими из ее разгрома, получили резонанс далеко за пределами финляндского вопроса в тесном смысле. На международных весах роль России стала расцениваться много дешевле...

Надо сказать, что сам СССР, не сумев остановиться вовремя, дал материал для этого расширения вопроса. О роковой роли Коминтерна¹ с его нелепым правительством я уже говорил раньше. Но кроме «идеологии», не в меру раздутой, тут присоединились и совершенно конкретные опасения. Во-первых, по мере приближения к границам Норвегии и Швеции возникал вопрос о реальной угрозе всей Скандинавии — и этим подкреплялись слухи о мировых планах Гитлера и об истинном смысле неестественного союза нацизма с коммунизмом. Пусть СССР совсем не имел этого в виду: но он вел себя так, что оправдывал худшие опасения. Опасения эти подтверждались и тем, что, не ограничиваясь борьбой за господство на внутреннем море, СССР перенес свои главные усилия на закрепление своих океанских путей — и тем вызвал настороженное внимание страны, которая на

¹ Коминтерн — III коммунистический интернационал — международная организация, объединившая компартии различных стран (1919–1943).

этих путях продолжает быть владычицей мира. Когда-то, во времена Витте, русское правительство излюбило для выхода в океан Александровскую бухту. Моряки и тогда замечали, что надо было связаться каналом с Варяжским заливом, чтобы обеспечить Мурманский выход от возможного нападения. Тогда это было легче, чем теперь. Но поднять вопрос именно теперь, в сложившейся крайне неблагоприятной обстановке, значило, действительно, не соразмерить своих сил с условиями действительности. В Москве, очевидно, не ожидали и не поняли, какие силы они против себя поднимали, присоединив к осуждающему приговору мировой совести и тяжелый вес мировых реальных интересов.

Конечно, роль «врага № 1» остается за Гитлером. Но с ним как-то уже связал себя единством мировых задач также и СССР. На страницах серьезной печати уже появляются рассуждения о принятии теперь же кое-каких исполнительных мер против СССР. Финляндии уже предназначается роль защитника Европы от русского «варварства» — и этим мотивируется необходимость разделить с ней тяжесть европейской вооруженной борьбы. Так совершилась за короткий срок перестановка фигур на шахматной доске, отразив перемену в ходе борьбы, грозящей принять мировые размеры. Преступная политика Сталина сыграла в этих перестановках далеко не последнюю роль.

Последние новости. 1939, 30 декабря

ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ РУКА СССР*

I. Объединение восточного славянства

Не без колебания перехожу к тому, что я назвал отрицательной стороной советской политики. Дело тут не в том, что сведения наши об этой стороне пока еще очень скудны, и даже не в том, что картина процесса быстро меняется, повторяя в несколько дней — первые месяцы и годы советского захвата России. Дело в том непримиренном — и непримиримом — противоречии, которое лежит в основе советской политики: противоречии между ее интернационализмом и национализмом. От утопической «мировой революции» Ленина Сталин благополучно перебрался к лживой и лицемерной, но все же

* VI часть статьи отсутствует в доступных фондах библиотек и архивов Российской Федерации.

более реальной формуле «социализма в одной стране». Это дало ему возможность связать отдаленное прошлое с посулами отдаленного будущего: грядущий «коммунизм» с «христианством» Владимира Святого и «патриотизмом» Александра Невского. Теперь заполняется и пустая середка этой схемы. Петр Великий, Екатерина Вторая, Суворов, Кутузов... Тут, как говорится, «все есть, коль нет обмана». А обман налицо: надо все-таки куда-то всунуть и «мировую революцию». Получается такая амальгама, в которой нелегко разобраться постороннему наблюдателю, — особенно если он не совсем все-таки посторонний, и если самая операция сращения далеко еще не закончена и большой кричит всеми голосами.

Противоречие особенно чувствуется в той области, на которой теперь остановлюсь — и где оператор чувствует себя дома: на процессе оккупации, по Петру и Екатерине, и на быстрой инкорпорации, по принципу распространения «социалистического отечества», Западной Белоруссии и Украины. Для большей наглядности этого превращения остановлюсь на маленькой иллюстрации, которую советский официоз, «Известия»¹, на свою голову поместил 14 октября. Сфотографирован митинг в белорусской деревне Ворняны. Предательское дело — фотография; из нее ничего не выкинешь. Вот с левого края стоит пропагандист и что-то вычитывает по бумажке крестьянской толпе, которая больше глязет, чем слушает. В задних рядах этой многолюдной толпы ребят, баб и взрослых мужиков все ничего не слышно. Кто поближе, тщетно прикладывает руки к ушам, силясь понять читаемое на «родном языке». Впереди сгрудились мальчишки и девчонки, поглощенные спектаклем и работой фотографа. Но всех объединяет одна черта: у всех озабоченные, встревоженные лица. «Что-то будет, что-то будет?».

Это — подготовка к народному «плебисциту». Плебисцит начинается с подготовки к выборам в «народное собрание», а народное собрание предрешает вотум Верховного совета СССР — этого инструмента, за которым разыгрываются песни без слов и музыка без текста. Сделано в два счета. Гладко ли, не знаем. Из Львова уже идут сведения, что там «голосовало всего от 25 до 50 проц. и недовольные были устранены». Но дело сделано, постановления вынесены: тут и инкорпорация, и конфискация земель, банков, «крупных» предприятий, — все, что на первый раз требуется для приобщения к сталинскому «социализму». Как видим, создан акт величайшей важности: исторический акт воссоединения двух отраслей восточного славян-

¹ «Известия» — общественно-политическая газета, учрежденная в марте 1917 г. В советское время — официальный орган советского правительства.

ства внутри себя и с третьей — отраслью, «первой между равными», по советской терминологии. На этот раз правы советские одописцы: такого в истории еще не бывало. Но прочно ли? Ведь так и Гитлер присоединяет «мирно» покоренные области. И имеется уже протест законной Польши, которая ведь не вовсе исчезла с географической карты. Вопрос придется, вероятно, решать в международном порядке. Мы видели: решение, кажется, складывается благоприятно. По существу, дело, очевидно, выигрышное. Но зачем же было обставлять его такими дешевыми, наспех намалеванными декорациями?

Ответ международному трибуналу можно, конечно, изготовить исподволь. Но что ответят, — или уже ответили — на молчаливый вопрос вот этой встревоженной толпы новых сограждан «социалистического отчества»? Поняла ли она, за что голосует? Узнает ли она свою волю, когда прочтет бумажку, где навязаны ей ее собственные желания, требования, постановления? Ведь инкорпорированный и «единогласно» обеспеченный край имел же свой собственный облик, сложившийся исторически. Даже и эта отсталая среда, с ее совсем недавней культурой, успела самоопределиться, выделить собственную интеллигенцию, создать собственный литературный язык. Восточная Галиция привыкла считать себя «украинским» Пьемонтом: не с Днепра сюда, а отсюда на Днепр должно было прийти украинское объединение. И даже «тутейшие» белорусы имеют не только свой национальный облик, но и свою литературу, на языке, не совсем сходном с искусственно-построенной рядом советской «республикой», к которой присоединены. И вдруг все, как «корова языком слизнула». Проснувшись среди нового социального строя и новых порядков тоталитарного государства, что все эти люди почувствуют?

Им, конечно, ответят: вы же сами решили! Но кто эти «вы»? Эта бессловесная, недоумевающая толпа? Ответ уже дан: нет, вами же выбранные местные органы: городские управления и крестьянские комитеты. «Красная Звезда»¹ уверяет (14 октября), что требования шли от «временных городских управлений» Белостока и Львова. Но та же советская печать («Комсомольская Правда»², 28 сентября) рассказывает, как подбирались большевиками персонал всех этих «временных» органов представительства и власти на месте. Оккупанты обратились в участки польской полиции, и нашли там списки неблагонадежных лиц, в том числе и лиц, «заподозренных в симпатиях к советской державе». Из этих скрытых коммунистов и были подобра-

¹ «Красная звезда» — военная и общеполитическая газета, орган Министерства обороны СССР.

² «Комсомольская правда» — общеполитическая газета, выходит с 1925 г.

ны «кадры актива», организовавшего временное управление и составившего «нормальные» наказания. Этот актив в своем усердии, правда, заходил иной раз дальше прямых указаний из московского центра; да в первые дни и недели они едва ли и могли быть даны. «Красная Звезда» (ном. 215) рассказала нам, как советская власть готовилась к конфискации помещичьих земель, — первый и основной пункт программы «советизации», который должен был расположить к СССР местную крестьянскую массу и создать настроение местного восторга для «мирной» оккупации края. По статистическим справкам было точно вычислено, сколько в какой местности следует экспроприировать: в Белоруссии выходило больше 50 проц. земель «сельскохозяйственного значения», в Западной Украине — свыше 80 проц. Но на местах «процедура конфискации» была «упрощена». Перед приходом советских войск почти все землевладельцы бежали, и крестьяне распределили между собой их земли, не дожидаясь регламентации свыше. Оккупантам оставалось «охранять» брошенное имущество и вводить экспроприацию в заранее определенные рамки. При этом велено выделить и охранить прежде всего площади, необходимые для винокуренных, свеклосахарных, картофельно-паточных и др. сельскохозяйственных предприятий: очевидно, это будущие «совхозы». Из них только «кочки угодий» разрешалось предоставить «нуждающимся земледельцам». Конечно, тотчас пошли толки, что будут введены и «колхозы». А между тем на тех же митинговых собраниях, которые «единогласно» постановляли аннексии и конфискации, такие требования, как отобрание мелких предприятий, упразднение частной собственности, прекращение частной торговли, «поддержки не находили». Вот был случай протянуть населению, помимо «левой», также и «правую» руку. И действительно, были распространены листки, обвинявшие «контрреволюционеров» в распространении слухов, будто большевики собираются «раскулачить крестьян и согнать их в колхозы». «Не верьте провокаторам», — возглашали оккупанты. Но чему же верить? Пропагандисты отвечали: мы несем вам... «счастливую жизнь». Ту же, что в совдепии? — могли бы спросить недоумевающие, если бы вообще могли спрашивать... Так и остается неясным, где тут будет проведена грань между сохранением местных особенностей и полной советизации. Вернее всего, что после уничтожения пограничных столбов с соседними одноплеменными советскими республиками такой грани вообще не будет, а будет то, что на языке немецкого партнера называется Gleichschaltung*. Как будут на это реагировать новые сограждане, — и не соблазнят ли они старых сограждан рассказами о прежней «счастливой жизни»

* Унификация (нем.).

и об обилии плодов земных и всяких до оккупации края, мы пока не знаем. Знаем только, что все потребовавшиеся на работу профессионалы волей или неволей вывозятся в СССР. Это называется — уменьшать «безработицу».

Если по отношению к одноплеменному населению оккупированного края советская власть все-таки сочла нужным соблюсти известные формальности и даже пыталась наложить сурдинку на неумеренное усердие собственных агентов, то по отношению к «социальным» врагам, составлявшим верхний слой населения, этим агентам предоставлено было действовать без всякого стеснения. И здесь мы присутствуем при явлениях, напоминающих первые недели и месяцы большевистского завоевания России. Если с возвращением к России восточнославянского населения западная демократия еще кое-как мирится, то освежать в ее памяти, в самой отвратительной, примитивной форме, ужасы классового террора не значит укреплять доверие к советскому режиму и к «счастливой жизни» его новых обитателей. А между тем этими ужасными картинами была полна международная печать. Такие факты, как расстрелы Радзивиллов, Любецких, Святополка-Мирского с гостями, охота на польских офицеров в Беловежской Пуще, не забываются. К социальному террору присоединился религиозный: по спискам Ярославского, вождя «безбожников», преследуются католики, и орган Ватикана «Оссерваторе Романо»¹ тщательно отмечает преступления большевиков. Преследуются и православные священники. Этот список (пока) не так длинен, как зверства в германских концентрационных лагерях, наполнившие «Белую книгу»². Но ведь германские преступления и вызвали войну — не только против внешней политики Гитлера, а и против всего тоталитарного режима. Если возвращение потерянных Россией территорий автоматически влечет за собой их «советизацию», то тот же вопрос о «вмешательстве» может возникнуть в международном порядке и относительно советского режима. И никакое «комчванство» и «шапкозакидательство» этому помешать не сможет.

II. Окно в Европу

Мы видели, что с оккупированным краем третьего польского раздела советская власть распорядилась вполне по-хозяйски. Элиминировав несродные им элементы — путем ли отступления в пределы

¹ «Оссерваторе Романо» («Римский обозреватель») — ежедневная официальная газета Ватикана, издается с 1861 г.

² В международной правовой практике «Белой книгой» называют собрание документов по какому-либо важному событию или явлению.

этнографической границы, или путем классового террора внутри, большевики продиктовали соплеменной народной массе те решения, которые были ей нужны и которые вернулись к СССР под видом воли всего народа. Это был заранее заготовленный мандат на полную «советизацию». Глухие обещания частичных изъятий из нее не имели никакого обязательного характера. Работа была всецело сделана «левой рукой» с маленькими поправками «правой» на «частника» и на национальную словесность (из которой, однако, изъята традиционная ссылка на православие: язык, но не вера).

Совершенно иное положение пришлось занять советской дипломатии, когда она вышла из-за Китайской стены, которою оградил себя своим фиктивным именем СССР, на вольные просторы Европы. Ибо, несмотря на введение местного тоталитарного стиля, это все-таки был уголок Европы — тот самый, которым двумя веками раньше приобщил Россию к Европе Петр Великий, разбивший для этого московскую Китайскую стену. Из мира фикций — фикции «социализма», фикции народного представительства, фикции «счастливой жизни» — СССР переходил тут в мир европейских реальностей. У себя дома он тщательно избегал этого столкновения. Заграничные дипломатические и консульские представительства были обведены в Москве непроходимой чертой; и горе советскому гражданину, который осмеливался войти в сношения с этими европейскими оазисами. И за границей русским дипломатам было строжайше запрещено общаться с окружающим населением, а матросам русских судов разговаривать с пестрой толпой иностранных портов. Изоляция и здесь поддерживалась строго: нарушения карались жестоко, вплоть до расстрела. И вот приходилось поневоле нарушить запрет, возвращаясь на балтийский берег, так еще недавно совсем обрусевший: из «окна в Европу», вновь отворенного, дул свежий ветер; затворить окно было нельзя. Куда же и как спрятаться от чистого воздуха?

Поначалу это казалось легко: стоило только применить те же старые приемы. И мы присутствуем при курьезах первого контакта — в Эстонии и Латвии. Первые же наблюдения иностранных корреспондентов свидетельствуют о своеобразии этой первой встречи — с Европой. Вот Жюль Сорвэн наблюдает красноармейцев в Эстонии «издали». Даже «фотографировать их запрещено»! Видно, как эти пришельцы поражены обилием «ширпотреба» в местных магазинах. Нельзя ли купить второй хлеб в булочной? Действительно ли здесь советское разрешение купить сапоги? И откуда все эти богатства? Не из совдепии ли? Вопросы не безопасные. Рассказывает же другой корреспондент — датской газеты, что за такие же вопросы и покупки красных матросов в магазинах Либавы и Ревеля — совсем еще недавно — при возвращении с коронации Георга VI — капитан вернувше-

гося в Кронштадт судна был расстрелян, а адмирал Орлов отставлен от должности. Как тут строить на балтийских берегах морские и сухопутные базы и держать войска на постоянных квартирах?

И вот советскую «идеологию» стараются приспособить к европейской действительности. Только «издали» можно наблюдать красноармейцев потому, что «приняты все меры в полной изоляции экспедиционного корпуса от связи с местным населением» (корреспондент «Берлингске Тиденде»¹). Ночевать в эстонских домах красноармейцам строго запрещается. Расквартировывают их отдельно, в бараках, наскоро построенных около уступленных баз. «Их абсолютно никто не видит». Совдепия и тут строго отделена от Европы, а Европа от совдепии. При этом достигается двоякая цель. С одной стороны, красноармейцы ограждены от «разлагающего влияния местного населения. С другой стороны, можно сказать, что население гарантировано от советской пропаганды. Ведь «договоры о взаимопомощи» «твердо оговаривают неприкосновенность суверенитета подписавших их государств и принцип невмешательства в дела другого государства». Эти договоры основаны на взаимном уважении государственной, социальной и экономической структуры другой страны. Все это признает и подчеркивает Молотов в своей пресловутой речи и при этом прибавляет: «Болтовня о советизации прибалтийских стран выгодна только нашим общим врагам».

Прекрасно; но уверена ли во всем этом «другая сторона»? Читаем официальные заявления представителей трех балтийских государств. Конечно, они подчеркивают все то, что имеется в договорах и подтверждается Молотовым: невмешательство, суверенитет, сохранение собственной культуры; отвергают они и «вздорные слухи» о предстоящей советизации. Все, как по заказу. Но и «среди нас имеются сомнения», — признает латвийский министр Мунтерс. И вот как он их опровергает. «Советский Союз не стремится советизировать Латвию, так как в результате этого исчезло бы всякое доверие между обоими государствами и возникли бы осложнения, которые никоим образом не могли бы содействовать укреплению безопасности Советского Союза». Итак, самая необходимость обеспечить государственную оборону заставляет дипломатию СССР облечь оккупацию в европейские формы. От себя уже СССР принимает меры, чтобы европейские формы как-нибудь не влили в себя европейскую сущность...

Очевидно, такое двойственное положение лишено всякой устойчивости. Что-нибудь одно: или то, или другое? И естественно, что «вздорные слухи» множатся и крепнут. Приходится писать новые официальные опровержения. Одно из этих опровержений («Партий-

¹ «Берлингске Тиденде» — датская газета, выходит с 1749 г.

ное Строительство»¹, № 19) особенно интересно, так как показывает, что «слухи» распространяются не только вовне, но и внутри СССР, причем приобретают различный оттенок в зависимости от той же альтернативы: или-или. Если внешняя политика СССР преследует исключительно завоевательные цели, тогда это есть участие в «империалистической борьбе за передел мира». И партийная газета рассылает руководящим кадрам партии уверения, что это — ложь и что политика СССР — самая мирная. Если «слухи» имеют в виду, как это и произошло в Галиции и Польше, законную с партийной точки зрения советизацию новооккупированных земель, — тогда надо успокаивать Европу. «Распространителям этих мнений», — свидетельствует «Партийное Строительство», — «удалось запугать некоторых из политических деятелей прибалтийских стран всякими небылицами о потере суверенитета в случае, если эти страны будут укреплять и расширять отношения с СССР»*. Ответ на эту сторону «сомнений» — более уклончив. Он сводится к доказательству, что от своего «суверенитета» балтийские страны отнюдь не выиграли, а страшно проиграли — в экономическом отношении, превратившись «вследствие насильственного отрыва от рынков СССР в отсталые сельскохозяйственные страны». Это, конечно, совершенно верно, и доказать это не трудно. Но это не исчерпывает вопроса, и для «слухов» остается достаточно места.

Вынужденная двусмысленность положения СССР в балтийских странах ярко иллюстрируется эпизодом его временного господства в Вильне. Здесь уже не может быть речи о единой задаче приморской обороны. С другой стороны, нет и тесной национальной и социальной связи с прилежащим русским населением, которая предрешает «социализацию». Получается положение промежуточное. И у СССР был, очевидно, момент колебания: какую тактику применить: правую или левую — европейскую или сталинскую? Аннектировать и ассимилировать — или отдать в Европу? Ясно было только, что со «всеобщим сочувствием» и с плохо оправданным доверием народных масс, как было в чисто белорусском крае, здесь красных войск не встретят и «народного» мандата на инкорпорацию и советизацию не дадут. И советская власть поступила благоразумно, отойдя, как и в Польше, подальше от «Европы» и поближе к собственному дому. Сомнительный «дар» Вильны был великодушно и благородно уступлен Лит-

* Почти дословно такая фраза имеется в речи Молотова, подтверждающего наличие «благоприятных предпосылок для дальнейшего укрепления политических и всяких других отношений СССР с прибалтийскими соседями».

¹ «Партийное строительство» — журнал ЦК ВКП(б), выходил в 1929–1946 гг.

ве, которая, конечно, — что бы она о нем ни думала, — должна была принять его с восторгом, как осуществление живого или мертвого «исторического» идеала. Но, уходя, СССР все-таки оставил осязательные следы начавшейся советизации и хозяйского распоряжения краем. Советизация была круто остановлена. Но из Вильны успели увезти все, что только было можно и нужно. Здесь ведь тоже одно государство фактически «перестало существовать», а другое еще не появилось. Увозили локомотивы, вагоны, машины, типографии, лаборатории, библиотеки. Не забыли и о местных древностях, изъяв из церквей и монастырей наиболее интересные памятники искусства. В этом числе взята была «добром» и высокочтимая населением святыня: икона остробрамской Богоматери. Взятые когда-то польские древности пришлось возвратить. Не знаю, будут ли возвращены и эти «дружественному» государству?..

Итак, вот общий вывод из новых советских приобретений на Западе. Или «советизация», или «европеизация». Среднего не дано. Но это положение *a la longue** невозможно. Оно кладет предел не только распространению советского влияния на Запад, но и проникновению европейского влияния на Восток. Реставраторы русского «национализма» и «патриотизма» должны об этом подумать. Владимир Святой и Александр Невский, даже Минин и Пожарский, — это еще куда ни шло. Но как быть с Петром и Екатериной, не говоря уже о Пушкине, которого чествовали в 1937 году, и Лермонтове, которого чествуют сейчас? Как быть с русской культурой, «первой между равными»? То, что произошло сейчас, при первой встрече с Европой, ведь слишком напоминает Россию конца XVII века. Та же непроходимая черта, тот же строгий запрет выезда к иностранцам, за исключением казенных командировок, тот же строгий надзор за иностранцами в России, запрещение общаться с местным населением, строгий запрет держать у себя и читать хотя бы одну печатную строку не «московской печати». «Идеологическая» ересь того времени преследовалась, как и теперь, ссылкой и казнью. Московское «тоталитарное» государство так же, как теперешнее, отрицало личную свободу и собственность. Земля принадлежала царю, а подданные были его «холопами». Правда, теперешние дипломаты вынуждены носить фраки и цилиндры. Но Чемберлен только недавно отметил их «дурные манеры», напоминающие ту самую *grobiana moscovitica*, на которую жаловались иностранцы в XV и XVI веках. Не надеть ли им лучше охабни с высоким стоячим воротом и аршинными рукавами, отличавшие тогдашних «знатных орденосцев»?

По наблюдению умного наблюдателя XVII в. Юрия Крижанича, такое вынужденное затворничество привело к подобострастию рус-

* Давно (фр.).

ского «чужебесия». Чтобы восстановить чувство русского достоинства, пришлось не только открыть «окно в Европу», а и распахнуть широко настежь ворота. Теперь принуждены бояться даже и форточки. Так продолжаться не может. Историю теперь полюбили в России. Но история имеет свои законы. Пусть берут у нее уроки, но не вырывают из нее целых страниц, без которых нельзя понять, что в мире было — и что стало.

III. Борьба или сотрудничество?

Прежде чем попала в печать эта очередная статья, совершилось событие, которого самые злейшие враги СССР не хотели предвидеть. Не хотел и я, как видно из моих заявлений в предыдущих статьях. СССР, не объявляя войны, произвел вооруженное нападение на мирную страну по самым точным образцам гитлеровских захватов. Мы не верили в эту возможность, ибо с трудом допускали предположение, что советская власть перейдет добровольно ту роковую границу, за которой меняется смысл всего, что было сделано до сих пор ее «правой рукой» и создает во всем мире то же самое настроение против себя, которое вызвано было против Гитлера зверскими расправами с Австрией, с Чехословакией, с Польшей. Теперь к этим трем именам присоединилось четвертое — Финляндия. К последствиям этого преступления перед Россией и перед всем цивилизованным миром нам еще придется вернуться. Но на том, как могло произойти это вопиющее проявление крайнего аморализма, политической слепоты и маниакального безумия, надо остановиться теперь же. Мы увидим, что это не только не отвлекает нас от избранной линии суждения, но, напротив, делает эту линию более отчетливой и ясной, прибавляя к ней новый штрих, печальный, но — увы — неизбежный.

Я и теперь не говорю: это должно было случиться, и не прибавлю: мы это предвидели. Формула: мы не хотели этого предвидеть — ближе к истине. При инкорпорации восточной Галиции все-таки были соблюдены известные, хотя и фиктивные формальности добровольного присоединения родственного населения. Да и чересчур далеко от Европы происходило это квазиконституционное действие, чтобы можно было разобраться в подробностях. Балтийским государствам, на глазах у Европы, были даны самые категорические заверения, что им не грозит никакая «советизация», и в их внутренний режим и их независимость СССР, вопреки всяким «вздорным слухам», вовсе не думает вмешиваться. Казалось, тут намечался путь наиболее безопасный для достижения национальных целей. И вдруг именно здесь, при полном европейском освещении, где требовалась наибольшая осторожность, нарушены договоры, растоптаны все требования междуна-

родного права, отвергнуто законное правительство и признаны люди коминтерна, принесшие прямо из Москвы коммунистическую программу. Красные войска и советские легионы беспощадно разрушают неукрепленные города и убивают без разбора гражданское население. Весь мир проникнут чувством негодования и презрения к чужеродному телу, варварски вторгнувшемуся в жизнь мирного народа, никому никогда не грозившего. Этим невероятным поступком СССР отделил себя резкой чертой от тех, к кому как будто хотел перебраться, на всякий случай, хрупкий мостик, и добровольно заклеил себя явным сотрудничеством с дважды, трижды опасным партнером, осужденным на верную гибель. И при всем этом грубая, наглая ложь и отвратительное, чересчур прозрачное лицемерие. Этого ли впечатления хотели добиться владыки Кремля?

Как могло произойти все это? Откуда такое нелепое смешение стилей конца и начала, «левой» и «правой» руки? Выбирая это заглавие для нашего ряда статей, мы никак не думали, чтобы к советской дипломатии можно было приложить поговорку: правая рука не знает, что делает левая. Нам, напротив, казалось, что в данном случае обе руки управляют одним мозгом, и если между их работой проявляются противоречия, слишком очевидные, то и тут есть определенная цель: менять дозировку, смотря по изменению международных условий и соответственно характер материала, над которым ведется работа. Теперь приходится внести поправку. Или «мозг» этот такого сорта, что в нем неизбежно соединяется примитивная хитрость дикаря с топорным московским «грубиянством» — или же в самом деле правая рука не знает, что творит левая. Одна творит, другая разделяет сотворенное, а контрольный орган дает им поочередно волю по расчету личной безопасности.

Присмотримся хорошенько, с точки зрения этой гипотезы, как совершилась эта внезапная смена стилей? Собственно говоря, тут не приходится даже говорить о «смене». Налицо имеется какое-то странное сосуществование обоих. Начинаются переговоры с Финляндией как будто по всем правилам дипломатического искусства. В Москве отмечают даже, что из всех трех встреч — с эстонской, латвийской и финляндской делегацией — наиболее почета и внимания оказано именно последней. Сталин, сам Сталин рад, что со старым приятелем Таннером он, наконец, может отбросить свою невольную роль молчаливника — и изъясняться «по-русски». Делегаты вспоминают, что даже при последнем отъезде из Москвы, похожем на окончательный разрыв, Сталин дружески жал им руки и говорил: «До свидания». И в самом деле переговоры, казалось, шли, хотя и медленно, на лад. На сколько «десятков километров» следует отдалить финляндскую

границу от Петербурга? Какие именно острова нужно взять, чтобы охранить «подступы» к столице и к Кронштадту?

Если нельзя получить финляндской территории в собственность, то нельзя ли получить ее на определенный срок, в аренду? А спор о границе на далеком Мурманском берегу — старое достояние Великого Новгорода — не есть ли простое недоразумение, вызванное тем, что недавнее размежевание произошло «неумело и неправильно»? Молотов признает все советские требования «минимальными»; но пределы их настолько эластичны и лишены принципиального значения, что допускают дальнейшую торговлю в обычных дипломатических формах. Молотов даже гордится тем, что «никакое правительство, кроме советского, не может допустить существования независимой Финляндии у самых ворот Петрограда». Хорошо же он сам теперь это допускает! От Молотова, конечно, нельзя требовать знания учебника истории. Напомним ему все же, что придвинул финскую границу к самым воротам Петербурга Александр I, вернув Финляндии добровольно завоевания Петра Великого и Елизаветы, которые отдалили эту границу до реки Кюмени. Неудачна и ссылка Молотова на особое великодушие советского правительства, «обеспечившее независимое существование Финляндии». Независимость Финляндии провозглашена ею самою в процессе русской революции, а невольное и запоздалое «волеизъявление» слабой тогда советской власти лишь задним числом санкционировало совершившийся революционный акт. Молотов ехидно называет при этом мое имя; но в те времена, когда вместе с финляндцами мы боролись за финляндскую государственность, сама Финляндия не требовала независимости, добиваясь лишь прочных закрепленных законом, дружественных отношений. Таким образом, советское правительство есть хронологически первое, перед которым вообще встала проблема соседства с «независимой» страной. И как же теперь СССР решает эту проблему? Никогда, даже в самые темные времена Бобрикова, против которого мы сообща боролись, не могло прийти никому в голову, что Финляндия когда-либо может подвергнуться таким ужасам разгрома со стороны русского колосса, признавшего ее «независимость», о которых мы ежедневно читаем в газетах. Правда, Молотов за несколько часов до вторжения красных войск опровергал «слухи», будто СССР собирается напасть на Финляндию. До последней минуты он рассчитывал, по-видимому, что можно будет добиться последней уступки, из-за которой оборвались переговоры, путем экономического давления. А теперь, когда в один день, 1 декабря, со скоропалительной быстротой одни декорации были заменены другими, прямо противоположными, тот же Молотов 2 декабря заявляет, что не желает разговаривать с законным правительством, хотя оно и готово теперь на территориальные уступки, а

признает только одно правительство — коминтерна, скомпонованное из финляндских эмигрантов-коммунистов в Москве и посаженное, под защитой русских штыков, в Териоках!

Откуда такое внезапное превращение у руководителя русской иностранной политики? Не трудно открыть ее источники. Еще тогда, когда правительственный орган «Известия» печатал строго министерскую речь Молотова, орган партии, «Правда», тут же рядом кричали благим матом, грозя и ругаясь, оскорбляя финляндский народ (которому так горячо сочувствует Молотов) самыми неупотребительными в приличной беседе словами. «Мы пошлем к черту всех этих политиков и азартных игроков. Мы обеспечим безопасность СССР, невзирая на все препятствия. Если понадобится, мы их попросту уничтожим». Этот пассаж облетел весь мир, возбуждая повсюду гнев мирового общественного мнения, все еще не решавшегося понимать, к чему ведут крайние элементы с благословения Гитлера. Для Молотова Таннер еще остается законным представителем страны и старым другом Сталина. А для «Правды» он уже зарвавшийся «азартный игрок». Молотов продолжает терпеливо выжидать мирной развязки переговоров. А «Правда» хочет просто уничтожить препятствия. Характерно, что та же «Правда» из всей финляндской печати выбирает одну захудалую газету финляндских коммунистов и пользуется ее статьей, чтобы впервые внести в полемику социальную ноту. Цитата указывает на социальные противоречия в самой Финляндии, как бы готовя тем и к мнимому «восстанию» финляндской армии, и к программе коммунистического правительства Куусинена. «Левая» рука, очевидно, знает, чего хочет «правая», и сознательно противится этому. Но знает ли Молотов, что пока он сеет слова, левая готовит действия? Положение обостряется еще тем, что, как всегда в подобных случаях, выводится на сцену «народный гнев» и сыплются сотни резолюций по заблаговременно заготовленному одинаковому рецепту. Теперь уже финляндские министры называются просто «бандитами», которых надо «уничтожить». А когда предсказанное нашествие действительно началось, советское радио уже спешит сообщить о неописуемом восторге и энтузиазме, с которым встретил этот факт весь «рабоче-крестьянский» народ — ничего, конечно, не знающий о Финляндии. Радио трубит заранее — хотя преждевременно — о «неувядаемой славе», которой покроеет себя Красная армия. Поединок Голиафа с Давидом начался, но о «славе» что-то не слышно. Худая слава, действительно, не увядает.

Мы теперь — в самой лаборатории советского политического творчества. Надо признать, что «левая» рука работает здесь самостоятельно и независимо от «правой», заставляя правую себе подчиниться. Тут лежит предел «мудрой» политики Сталина. Борьба ведется пока

в самом тесном его окружении. Исход ее, именно в настоящий момент, настолько важен для всего дальнейшего хода событий в России, что к этому вопросу необходимо вернуться. Сейчас можно лишь констатировать, что в этой борьбе, говоря языком гомеровских героев, «то сей, то оный на бок гнется». Если, с одной стороны, хотят зачем-то вновь показать на кремлевском параде европеизированную фигуру Литвинова, то с другой — за кулисами продолжает работать Димитров. Его посылали делать в спешном порядке «волю» украинского и белорусского народа в Галиции. Удивительно, как он еще не всплыл на поверхности в Териоках? В этих двух именах символически воплощается суть борьбы около Сталина. Энергия болгарского примитива, по-видимому, импонирует Сталину, как когда-то кавказский примитив импонировал Ленину. Вместе с тем вновь выдвигается на очередь вопрос о примитивной утопии ленинизма. Как же обстоит теперь дело с «мировой» революцией?

IV. «Мировая революция»

Германские философы любят оперировать над «пределами» умопостигаемого. И у германского марксизма была своя «предельная» идея (Grenzbergriff). Эту обязанность исполняла надежда на одновременное восстание «пролетариев всех стран» против имущих классов. «Будет некогда день и погибнет высокая Троя...» Всеобщее восстание уничтожит «орган насилия», государство, и откроет для человечества «эру свободного коммунистического общечеловечества». Уставшие ждать этого «кладдарадатча», эпигоны Маркса принялись все-таки искать способов воплотить отдаленную мечту в реальную действительность текущего дня. Это оказалось очень просто. Главное, надо подождать войны, которую затеяли между собой капиталисты и империалисты; но это непременно случится по непреложным законам мировой экономики. Тогда нетрудно будет убедить вооруженный буржуазией народ, что ему выгоднее обратить оружие против своих насильников, нежели убивать своего брата. Объединенные этой идеей, массы тотчас обратят мировую войну в гражданскую и истребят классового врага. О дальнейшем позаботятся идейные руководители «пролетариата» — «авангарда» революции. Что им придется при этом вместо уничтожения государства уничтожить без остатка личную свободу граждан — об этом, кажется, не думали тогда и сами руководители...

Так идея мировой революции была конкретизирована. Оставалось мобилизовать массы, упростив доктрину до общедоступных зажигающих лозунгов и бросить эти лозунги в их среду. Нужно ли напомнить, что это раздевание доктрины от всего лишнего совершилось

в русском мозгу Ленина; что плацдармом для развертывания сил послужили просторы царской России, а «авангардом» явилась небольшая, но сплоченная группа русских революционеров-эмигрантов, объединивших около себя ядро иностранных единомышленников, членов объявленного тогда же «коммунистического интернационала» (Коминтерна). Утомленные долгой войной и разочарованные в ожиданиях, русские массы легко поверили обещаниям немедленного улучшения жизни и подняли на щит опасных учителей. Первый приступ к «мировому» эксперименту блестяще удался на русской почве.

Тогда заговорщики, в один день ставшие властью, немедленно приступили к основной своей задаче: к экспорту коммунистической революции в Европу, где было, по плану, ее настоящее место. Быстрота и легкость победы окрыляла надеждой на такие же успехи и там. Сроки европейских переворотов измерялись неделями, месяцами, самое большее — ближайшими годами. Методы немедленного захвата власти оглушали своей новизной; измерить заранее пределы «динамичности» разбуженных классовых инстинктов не было никакой возможности. Естественно, что Европа заволновалась. «Мировая революция» питалась за счет страха, который возбуждает всякая неизвестность. Пришлось и мне в те годы, под теми же впечатлениями, написать по-английски книгу, быстро разошедшуюся, о «Большевизме, как интернациональной опасности».

Прошли годы. Накопился опыт. Вместо мирового капитализма и страшных «сумерек Европы» мы присутствовали при ряде мелких путчей, неизменно кончавшихся провалами. Большевизма перестали бояться. Потом он как будто стал даже ручным, появился в Европе не с ножом в зубах, а в цилиндре и во фраке, закармливать иностранцев зернистой икрой и севрюгой, торговал по сходной цене, давал концессии и подписывал договоры, протискался, наконец, хотя и не без труда, в Лигу Наций и красноречиво заговорил, вместо мировой революции, о мире всего мира. Пугало мировой революции было куда-то запрятано от посторонних глаз. В другой книге, по-французски, я уже описывал постепенное отступление Коминтерна, неудачи его новых и новых экспериментов, наконец, принципиальную замену мирового конфликта борьбой за «социализм в одной стране». Вместе с идейным отступлением происходило и внутреннее обнищание «динамизма» доктрины. Не удавались настойчивые попытки проникнуть в рабочие союзы и в профессиональные организации. Постепенно отворачивались от попыток слияния соседи — социалистические партии. В недавние месяцы «народного фронта» я спросил депутата-социалиста о степени опасности коммунизма во Франции. Он спокойно ответил: «Мы прежде всего — французы». А из Страны Советов, как будто раздавался непривычный патриотический отклик: «Мы прежде всего — русские!»... Об этом «прежде всего» поговорим при случае.

Что же оставалось теперь от Коминтерна? «Всепослушнейшие» слуги Москвы, как назвал их недавно Леон Блюм. Достаточно было первого дуновения войны, чтобы ничемная сеть одиночек, служивших на сокращенном жаловании, спустилась в подполье, из которого вышла. Быть может, мне скажут, что теперь я слишком преуменьшаю опасность коммунизма, как прежде склонен был ее преувеличивать. Но вот новейший отклик более компетентного наблюдателя, чем я, который только что прочел в последнем номере «Социалистического вестника»; с.-д. Абрамович пишет: «Европейский коммунизм, который почти нигде не мог пустить глубоких корней, превратился в простой, не рассуждающий придаток к Москве, не имеющий никакой самостоятельной жизни. В нем, после всех бесчисленных чисток, оставляя в стороне платных агентов или своекорыстных попутчиков, остались лишь те элементы рабочего класса, которые раз навсегда прияли божественную роль Москвы». В тех же почти выражениях я читал лет десять тому назад суровый приговор Фроссара, перешагнувшего за черту этого намалеванного дракона. Не к этим ли нерассуждающим энтузиастам обратится теперь Москва за международным признанием коммунистического правительства Куусинена?

Я предвижу еще одно возражение — по существу. Коммунизм во все не умер. Он теперь как раз возрождается. Вся обстановка для экспорта коммунизма снова восстанавливается в его пользу. Мы ведь присутствуем при возвращении той самой мировой «конъюнктуры», которая вызвала первый опыт Ленина. Снова, как в 1914–1918 гг., началась война, грозящая стать войной «на истощение». Возможно как будто рецидивы на почве усталости. На лицо «третий радующийся», у которого может возникнуть прежний соблазн «взорвать мир» своим «динамизмом». Притом этот радующийся предстоит нам в новом облике. Он не прячется больше в подпольях La Grange aux Belles и не дискутирует о мировой революции в пивных Женевы, Лозанны и Цюриха. Теперь он обладает всеми силами громадной империи с вымуштрованным населением, которое беспрекословно подчиняется любым велениям власти. Как бы не вышла снова отсюда во много раз усиленная коммунистическая опасность?

Да, остановка та же, но коммунизм не тот, что прежде. Материальные сила громадны, но дух иссяк: идея истощена, в ней нет прежнего «динамизма». Московский опыт отнял у нее притягательную силу. Для большей наглядности вот историческая справка из автобиографии Троцкого. Его как-то спросили: почему, находясь в зените своего могущества и стоя во главе Красной армии, он добровольно ушел со своего поста, вместо того, чтобы начать борьбу за осуществление своей программы? Троцкий отвечал (излагаю своими словами): да просто потому, что за мной уже не было тех, с которыми мы сделали

успешную революцию. Выросло новое поколение, которое не принесло с собой прежнего энтузиазма к революционному делу. Оно считает, что революция уже произведена, и, стало быть, остается пользоваться ее результатами, жить в свое удовольствие... Это подмечено очень верно и метко. Последних ветеранов тогдашнего энтузиазма угробил Сталин. И с тех пор лозунг «мировой революции» заменен официально другим лозунгом: «счастливой жизни». Так ловко подтвердил Сталин невольное признание Троцкого...

Наконец, последний вопрос. Пусть дух коммунизма выродился; но форма жива! Вывеска не снята; как быть с «Коминтерном»? Можно перестрелять прежних председателей, но учреждение остается. Сталин продолжает прикреплять «сталинизм» к «ленинизму», а ленинизм стоит и падает с идеей мировой революции, которую из него не вытравишь.

Тут, конечно, одно из глубоких противоречий сталинской практики, терпимое намеренно. С былыми «героями» Коминтерна, спасающими Москву от заграничных преследователей, Сталин уже теперь не церемонится. Они его стесняют. И судьба их плачевна. Виктор Серж составил длинный мартиролог этих эмигрантов мировой революции, пожаловавших некстати на свою духовную родину. Одни сидят по тюрьмам, другие просто куда-то исчезли, третьи уже «несомненно выведены в расход». Здесь мы находим и членов ЦК, и ИК третьего интернационала, и редакторов и сотрудников заграничных коммунистических газет; тут и друг прославленного героя Тельмана, и еще более знаменитый Бела-Кун, организатор восстания в Венгрии и палач в Крыму. Он умер в тюрьме, после многочисленных допросов и пыток. Доказательства открытого отступления Сталина от идеологии, ставшей анахронизмом, можно найти в изобилии. Так, орган ЦК коммунистической партии, «Партийное строительство», редактируемый личным секретарем и фаворитом Сталина, Маленковым, под руководством другого вельможи из ближайшего окружения, Жданова, явно понижает теперь тон передовых статей, составленных в антикапиталистическом направлении. За русским «министром пропаганды» послушно следуют и московские газеты. Из того же центра происходит, очевидно, и знаменательная перемена лозунгов к последней годовщине октября. С праздничных знамен исчез, прежде всего, такой коренной лозунг, как «Да здравствует пролетарская революция во всем мире!». «Весь мир» больше не интересует. Коммунистический интернационал, прежде именовавшийся на знаменах «руководителем борьбы против войны, фашизма и капитализма», ныне сохранил лишь первые два слова: «руководителя борьбы». Против кого борьба, неизвестно; иначе пришлось бы разбираться перед публикой в понимании

«агрессоров», старом и новом. Исчезли на этот раз и «героические испанцы и китайцы». Главный очередной лозунг теперь: «Да здравствует мудрая внешняя политика Сталина, обеспечивающая мир и безопасность нашей родины!». И если знамена упоминают о «братском сотрудничестве рабочих и крестьян», то и тут разумеется сотрудничество отнюдь не с «мировым пролетариатом», а опять-таки в пределах «нашей страны»; при этом к сотрудничеству привлекается наряду с «трудящимися» и «интеллигенция».

Смысл этой пропаганды «на тормозах» очевиден. Но тут же начинаются и затруднения. Сталинская пропаганда умеренности наталкивается на сопротивление убежденных сторонников прежней доктрины. С этими «верующими» Сталин характерным образом уже не решается расправляться, как со своего рода «троцкистами» мировой революции. Он, очевидно, их побаивается, и старается подействовать на них путем осторожного вразумления. Пользуясь терминологией Ленина, их теперь упрекают в «детских болезнях левизны». Им втолковывают, что сталинские перемены не касаются стратегии доктрины, а только ее ближайшей тактики. Последние же цели (мы возвращаемся к *Grenzberggriff*у) остаются прежними. Недовольным отменой лозунга «мировой революции» уклончиво объясняют, что социалистические революции вообще невозможны без предварительной обширной и сложной подготовки. Головокружительная победа Ленина в 1917 году в счет не идет. Тогда имелись налицо исключительные условия. Теперь — время не то, и не тот характер войны. «Подвести массы к социалистической революции нельзя без борьбы с соглашательскими партиями» и «с существующими буржуазно-демократическими парламентами». В России при Ленине ни того, ни другого препятствия не было. Приходится, следовательно, на этот раз ограничиваться «мудрой» политикой Сталина.

Здесь, однако, появляется новая неувязка, притом — самая серьезная. Ведь «мудрая политика» праздничных знамен отнесена к внешней политике Сталина. А его спуск на тормозах происходит в области внутренней политики. Если и тут приходится остерегаться не в меру «верных» поклонников, то в области внешней политики, где Коминтерн вступает в свои, не отмененные формально права, осторожность эта должна удвоиться. В результате и получается та эквилибристика правой и левой руки, на которую мы постоянно наталкиваемся. Итог сталкивающихся влияний измеряется каждый раз особо чувствительными весами Молотова, которые находятся в постоянном колебании. Галиция — одно, Прибалтика — другое, Финляндия — третье. Постоянной чертой остается новейший советский империализм. Но там, где проходит китайская стена, происходят трения. Они достигают максимума в собственных владениях Коминтерна, то есть по традиции в

Европе. Молотов со своим «уважением» к чужим режимам умолкает. Молчит и Сталин. Распоряжается, по своей воле, коллективный Димитров, — все равно, где бы это не происходило: в Москве, В Гельсингфорсе, в Париже. В Москве на партийном параде октябрьской годовщины коллективный Димитров объявляет манифест Коминтерна от имени молчащего Сталина: «Сталин призвал всех пролетариев к борьбе против империалистической войны». А как же с Германией? Все равно: Германия здесь стоит в одном ряду с Англией и Францией. Германская делегация с той же эстрады видит, как в числе портретов коммунистических «героев» процессия пронесит мимо нее и портрет германского пленника Тельмана. Ворошилов тут же поясняет: «Хотя в СССР и нейтралитет», но он «окружен капиталистическими странами» и «готов ко всему». Члены правительства — они же частью и члены Коминтерна — стоят на эстраде рядом с ИК Коминтерна. Завтра Ворошилов будет командовать русской армией в Финляндии, а Сталин прикажет назвать главой финского правительства димитровского товарища по секретарству в Коминтерне — Куусинена и бросит вызов Европе.

Как разобраться в этих переплетающихся стилях? Что здесь старо, что ново? Что отживает, что живо? Орган Ватикана отвечает, как отвечали все недавно: Коминтерн, правительство, партия, — это одно и то же. При таком ответе мы перестаем понимать и то, что все-таки понимали. В целях полемики с СССР — это удобно. В целях борьбы против России — это опасно. В целях рекламы отжившей идеи и умирающей организации — это совершенно необходимо.

V. «Цели войны» и «враг № 1»

Во вступительной статье («Политика СССР») к этой серии я высказал предположение, казавшееся мне невероятным. «Если можно фантазировать на тему общеевропейского блока против СССР», то только тогда, если внешняя политика СССР вновь примется за экспорт «мировой революции» в Европу. Конечно, вообще говоря, «Европа привыкла держать нейтралитет по отношению к любому «идеологическому режиму», но «дело меняется, если этот режим становится предметом экспорта». Я ставил вопрос, не предрешая его: «Удержится ли политика СССР на позиции европеизированного национализма», которую она заняла не без успеха, «или советская “тройка” пойдет скакать по ухабам квазикоммунистической уравниловки»? «Это было бы самой слабой стороной советской политики», — говорил я, — и «от этого будет зависеть окончательный успех или неудача этой политики». И не без тревоги я спрашивал себя: «Понятно ли это московским националистам?»

Увы, оказалось непонятно. В своем «зазнайстве» они перешагнули границу, и невозможное тотчас же оказалось возможным: по крайней мере, так учитывается врагом. Если нападение на Финляндию было первой тяжелой ошибкой в этом направлении, то теперь мы присутствуем и при первых предостережениях. Европа не хочет не только признать, но и понять смысл смехотворного правительства Куусинена. Она отвечает в лице Лиги Наций отказом иметь какое-либо общее дело с государством, которое само себя исключило из общения с цивилизованным миром. Зато сейчас же напрашивается на это общение Гитлер, предлагая свои услуги Европе... для борьбы с большевизмом. Три дюжины его эмиссаров в кулуарах дворца Лиги Наций, в кофейнях, отелях и частных встречах уже популяризировали в Женеве новое предложение фюрера: он готов вместе с Европой идти на своего советского партнера, если она согласится санкционировать его захваты, вернув фиктивную жизнь его замученным и обезглавленными жертвам. Попытка эта, конечно, не удастся, как и предыдущие, но в свете нового экспорта коммунизма в Финляндию она, — даже и независимо от коммивояжеров Гитлера, — получила неожиданный резонанс. На очередь вдруг встал вопрос: кто же в Европе «враг № 1»: Гитлер или... Сталин? С кем, собственно, Европа должна бороться в первую очередь?

Одна возможность постановки подобного вопроса таит в себе весьма серьезную опасность — затемнение истинных целей войны, которая с таким напряжением ведется демократиями против провокации Гитлера и против сущности «гитлеризма». Такая постановка была бы извращением и полным забвением той исторической перспективы, в которой появился перед нами вновь рецидив германской агрессии, сделавший эту войну неизбежной. Передо мною два тома материалов об «ответственности и целях войны», собранных Шарлем Даниэлю на исходе предыдущей войны. Сравнение их с нынешними прениями на ту же тему особенно ярко показывает, как возросла и какой новый характер приняла теперь германская угроза. Притязания Вильгельма II и его советников на гегемонию над Европой и над всем светом были, конечно, и тогда хорошо известны. Как ни разнообразны были взгляды на то, какой мир надо противопоставить этим притязаниям, — мир союзнический, мир американский; мир сепаратный, мир преждевременный; мир победителей «до конца», — но одна черта оставалась общей среди всех этих различий: мир должен быть таким, чтобы опасность больше не повторялась. Но противник, вооруживший против себя Европу, все же представляется тогда, в известном смысле, представителем государственности того же европейского типа. Его требования, как бы далеко они ни шли, были конкретны: требования победителей измерялись соображениями, насколько воз-

можно осуществить их для европейского государства; этим объяснялось и общее нежелание посягать на единство ее этнографической территории. Правда, все это дало Германии возможность восстановить, вопреки всем договорным обязательствам, свое военное могущество. Цель предупреждения опасности нового нападения не была достигнута. Клемансо оказался тогда в меньшинстве, в качестве «противника политики, которая желает, чтобы нас простили за то, что мы победили германцев».

Теперь положение другое. Была и тотчас ясна трудность, если не безнадежность уничтожить «ментальность» народа, который не только не хочет «отменять» войну, но считает ее божественным учреждением, созданным для того, чтобы освежать и держать на уровне постоянного «героизма» дух избранной расы. Для этого народа, со времен Валленштейна и Фридриха II, война оставалась предметом выгодного «экспорта». Теперь стало очевидно, что даже победа не может убедить этот народ в собственном поражении. А государственность его приняла новый, «тоталитарный» характер, отрезавший его от Европы, но, очевидно, соответствующий ее «гению». И если ставится вновь задача организовать, после победы, «новый порядок» в Европе, путем «кооперации» всех народов, на основе человеческого равенства, самоуважения и терпимости (беру умеренную формулу лорда Галифакса, опуская более крайние), то чем же отвечают на эту задачу теперешние [представители] германского народа? Если угодно, они тоже хотят, чтобы эта война была «последней», но, только после того, как «германский мир» водворится на земле. Это будет, разумеется, не тот «межгосударственный» порядок (Inter-State) и не тот «сверхгосударственный» (Super-State), к которому тщетно пыталась приблизиться Лига Наций и над которым теперь ломает голову британская мысль. Нет, это будет «сверхгосударство», совсем особого вида. На весь мир распространится проект того, что уже сейчас заложено в Германии. По существу, эти «цели войны» неизмеримы с самим минимумом того, что может предложить демократия побежденному врагу. По размаху германские планы приведения мира в «новый порядок» начинают напоминать империализм наполеоновских войн; только несут они собой не наполеоновские идеи, а совершенно определенную задачу: поработить народы материальным нуждам «белокурого зверя», от времен предизбранного владычествовать над Вселенной. Вместо международной организации на принципе равенства участников, тут будет сосредоточена в руках земного владыки монополия всех средств сопротивления его контрольному игу. Покоренный мир «падших рас» будет наполнять «жизненное пространство», где прикрепленный к месту рабочий скот будет питать плодами рабского труда высшую «культуру» и которая, в свою очередь, желез-

ной дисциплиной подчинена воле «вождя». С винтовкой за плечами и с кнутом в руках надсмотрщики будут выбивать сверх труд рабов, будучи сами подчинены строгому надзору какого-нибудь гаулейтера. Специально обученные рабы будут возводить гигантские постройки, перед которыми бледнеют египетские пирамиды. Школы с малых лет до зрелого возраста будут вбивать в голову и руки, необходимые для работы свойства, а особый катехизис в обязательных формах будет обучать беспрекословному подчинению личной воле, велениям свыше.

Мне возразят: эта картина ведь очень близко напоминает другой вариант господства мировой диктатуры, только под фальшивым лозунгом свободы. Да, я для того и набросал ее, чтобы показать, что сходство есть, и очень большое. Есть, правда, и различия, но оставим их пока в стороне. Для данного момента стоит вопрос, — он не нами поставлен, — где тут общественный враг № 1, и где враг № 2? С одним мы уже сейчас в борьбе; другой только выходит на сцену. Оба ненавидят друг друга и готовы друг друга уничтожить, но по временным соображениям тактики предпочитают находиться в контакте. Притом первый, как мы видели, предлагает хоть теперь же напасть на второго, если санкционируют его захваты. В противном случае он грозит еще теснее с ним соединиться. Цель угроз и обещаний ясна, и цена им известна. Враг № 1 просчитался и начал нападение не в том порядке, как было намечено. Он готов изменить порядок: сперва напасть на Восток, чтобы потом вернуться к Западу в лучших условиях. Перед нами стоит задача довольно элементарная: дать ли ему возможность поправиться и осуществить этот порядок?

Практически вопрос, конечно, предрешен: смысл войны изменен не будет. Но в порядке газетного обсуждения «целей войны» этот вопрос, благодаря «мудрой» политике Сталина, поставлен на очередь, и уже успел разделить общественное мнение на два лагеря. Оба довольно пестры по составу. В одном соединились недавние сторонники сближения с Гитлером (включая и русских) с людьми эмоционально затронутыми не находящими себе оправдания преступления Сталина против морали, справедливости и права. Лига Наций указала пальцем на преступника. Не поддержать ее — невозможно. Но как поддержать, — спрашивал в упор Хольсти: словами или действием?.. Другой лагерь, — от Блюма до Кериллиса, — призывает к сохранению благоразумия. Во-первых, лучше бороться с одним противником, чем сразу с двумя, под какими бы номерами они не регистрировались. Во-вторых, как бы минимальна ни была надежда, что один из двух (именно второй, конечно) перейдет на нашу сторону, — или, по крайней мере, будет косвенно вредить своему партнеру, его нельзя толкать нашими осуждениями в объятия первого, наиболее опасного. Рассуждения, по-видимому, неопровержимые. Посмотрим, что говорят факты. Окончательно ли Вельзевул проданся Люциферу?

Очутившись в одиночестве с самого начала войны, Гитлер, несомненно, ищет разных способов выйти из затруднительного положения, в какое себя поставил. Неудача его попыток заключить мир — известна. Его усилия заставить нейтральных в той или иной форме принять участие на его стороне продолжают до последнего времени. Но как заставить главного из нейтральных, СССР, оставить нейтралитет и открыто стать на сторону Гитлера? До сих пор все жертвы, все усилия и соблазны не только не действовали, а, наоборот, вызывали со стороны СССР заявления о независимости своей политики, или приводили к явно двусмысленной и бесплодной поддержке. В последнее время Гитлер испробовал новое средство; в духе Тильзита он предложил СССР вдвоем разделить власть над миром. Сперва мы получили из Берлина известие, что там уже поделен север: Прибалтика, Финляндия, половина Швеции — Сталину, Дания и другая половина Швеции — Гитлеру. Настойчивые советы по адресу Финляндии уступить советским требованиям и заявления о германской «заинтересованности» поймали СССР в эту ловушку. «Нейтралитет», по хамскому выражению Алексея Толстого, действительно стал «нейтралитетом на советский лад». Теперь испробован дальнейший шаг, объявлен раздел юго-востока: советам отдаются Румыния и Турция, Гитлеру — Венгрия. Обещания там и тут сопровождаются весьма прозрачным шантажом. Но тут уже становится вопрос, неприятный для Сталина: принять ли формально участие в войне, становящейся мировой? И СССР проявляет усиленную осторожность, которой ему не хватало в случае с Финляндией. Германские газетные утки встречают со стороны СССР немедленное опровержение. Так, опровергнуто было известие, что СССР требует уступки гаваней у Швеции и Норвегии. Потом Турции и СССР пришлось сообща опровергать сообщение, будто по обе стороны кавказской границы скопляются войска. Особенно характерен случай с Румынией. Как в случае с Финляндией, пущен был в ход Коминтерн. В московском коммунистическом журнале появилось сообщение, что СССР потребует от Румынии заключения такого же договора, который связал с советами прибалтийские государства. Немедленно последовало тройное опровержение через микро*, через печать и путем личного заявления русского представителя румынскому министру, что пробный шар Коминтерна вовсе не соответствует мнению правительства, которое, напротив, продолжает относиться к Румынии дружественно. Если иностранная печать увидела тут обычную хитрость и двуличность советской политики, то мы вправе отнести к этому эпизоду внимательно. Он вскрывает ту борьбу между наркоминделом и Коминтерном, которая в случае

* Так в тексте.

с Финляндией закончилась победой Димитрова. Не нужно было даже последних газетных слухов из Москвы, чтобы предположить, что своим согласием на финляндскую авантюру Сталин не может остаться доволен, и что очередь реванша — за Молотовым. С другой стороны, после первого неудачного дебюта Красной армии в Финляндии, едва ли есть охота показать ее в юго-восточном направлении, вплоть до Афганистана и Индии, как хотелось бы Гитлеру. Мнение о том, что СССР в руках у Гитлера давно пора оставить. Конечно, так же неверно и то, что Гитлер попал в руки СССР. Вернее, что их дороги расходятся — чем дальше, тем больше. На этой же почве они расходятся и с недавними членами «оси». К приведенным эпизодам в этом отношении интересно прибавить еще один. Через полуофициальный канал Германия сочла нужным намекнуть Италии, что если СССР начнет на Балканах военные действия, то она, Германия, не будет вмешиваться. Этот намек отнюдь не имел такого успеха, как такие же «поощрения» СССР относительно Финляндии. Италия, напротив, сочла нужным откликнуться, что она в этом случае не останется безучастной, ибо Балканы и Дунай ее интересуют непосредственно. Подобно Молотову, и Италия при этом подчеркнула, что у нее имеется собственное мнение о том, что касается ее внешней политики.

Такова обстановка, при которой Гитлер счел возможным намекать в Женеве, что он готов уступить Сталину роль «общественного врага № 1». Немудрено, что и Лига, осуждая поведение СССР, сочла необходимым подчеркнуть, что это почетное место все же остается за Гитлером.

VII. Перед трибуналом

Приговором женеvского трибунала замкнулся круг событий, которым посвящены эти статьи. Их тема — первый выход СССР за пределы китайской стены Кремля в преддверия Европы — исчерпана. Лига Наций признала, что своим поведением СССР отлучил себя от общения с Европой и со всем миром. Пусть Лига упустила случай послать такой же приговор вдогонку другим хищникам, ускользнувшим от ее ферулы. Как бы то ни было, суровый приговор, вынесенный СССР, оказался единственным в своем роде. Мы знаем случай, когда голос мировой совести заставил одного императора простоять ночь на коленях в снегу перед папским замком в Каноссе. Но то был случай раскаявшегося грешника. А мы имеем дело с неприкайнным. Известен и другой пример на этот случай. Голос мировой совести, более громкий, раздался из облаков вслед беглецу: Каин! Где брат твой Авель? И также неукложе, полусознаваясь и не желая сознаться, с циничной усмешкой современный нам Каин ответил: разве я сторож

брату моему? Он тоже осудил себя сам на бессрочное скитание в созданной им моральной пустыне...

Но уйти ему от суда не удастся. Пустынь в наше время больше не существует. Я знаю, есть люди — они есть и в нашей среде, — которые считают, что за китайской стеной существует идеальное азиатское царство, которое само себе довлеет. Тут в ханской ставке московского «улуса», можно укрыться с награбленным добром. Туда ходят покоренные народы с поклонами и дарами. Выходить оттуда нет необходимости, иначе как для приобщения к стяжаниям новых стяжаний. В обширное, обладающее всем нужным ханство никто вслед за разбойниками вторгаться не посмеет.

Увы, и для этой степной идиллии нет места в современном мировом обороте. Укрыться негде. Я цитировал с одобрением лозунг: «Мы прежде всего — русские». Но наши русские азиаты им не довольствуются. Они уже заменили его печатно другим: «Мы только русские». Нет, не только! Не говоря уже о многоплеменности СССР, мы также и европейцы. Никак этого звания у нас не отнимешь. Ни санитарными кордонами, ни географическими делениями, ни претензиями соседей — ограждать Европу от нашего азиатского варварства. Можно искать где угодно границ Европы, на Висле, на Урале, или, как я считаю, на Енисее. Нельзя только европейскую Россию и ее историю объявлять «доуральским» предисловием к истории великого «евразийского» московского ханства.

Вот какие глубины и дали открывает перед нами женеvский приговор. Мы опять возвращаемся к старой теме: Россия и Европа. Но не для того я об этом споре напомнил, чтобы на нем сейчас останавливаться. Единство моей темы ведь заключается в эпизоде совершенно конкретном: в выходе московской ставки в Европу для восстановления петровских и екатерининских границ Российской империи. Отсюда можно уйти в Москву с награбленными «дарами», но нельзя уйти с «поклонами». Нас здесь, в Европе, ждет другое судилище, и от него уклониться будет невозможно. О нас, правда, забыли в Версале, — за исключением тех национальностей, которые сами о себе настойчиво напоминали и чьи дела там решили, нас не спрашивая. Нас только по «колониальному» масштабу Ллойд-Джорджа позвали в карантин на Принкипо, но туда ни мы, ни большевики не поехали. В Версале же победителям было впору рассчитаться с «врагом № 1». А как будет теперь, когда Женева нас поставит на очередь, как «врага № 2»?

В промежутке мы, без особого шума, проживали беспаспортно за двойным «кордоном». Один — «санитарный кордон» был, по мысли Клемансо, сооружен против обольшевичившейся России посредством отделения Финляндии, балтийских государств и расширения

Польша за этнографическую границу. С этим кордоном покончено. Мы только что прошли по его обломкам. Но другой, встречный, кордон «идеологический» оказался прочнее. Он был сооружен самими большевиками — с прямым расчетом перешагнуть впоследствии и за первый. От того, устоит ли он на месте или тоже подается в Европу, зависит и дальнейшая судьба разрушенного кордона. Ибо думать, что будущий европейский или мировой трибунал об этих наших разрушениях просто забудет или нам их «простит», совершенно невозможно. Трудно даже ожидать, что СССР просто спрячется у себя и молча выслушает заочный приговор, как он сделал теперь. Значит, все будет зависеть от того, в каком качестве и на какой скамье сядет СССР перед лицом международного ареопага.

Я не думаю здесь затрагивать сложность вопроса о «целях мира». Я согласен с теми, кто считает подробное обсуждение этих целей неосторожным и бесплодным. Об опасности такого обсуждения сужу по собственному горькому русскому опыту. Чемберлен в речи 28 ноября совершенно правильно указал объективные границы газетных и партийных толков на эту тему. Его слова надо запомнить: «Никто не знает, как будет развиваться война? Никто не знает, кто будет на нашей стороне, когда она кончится и кто будет тогда против нас?... Цели мира могут быть достигнуты лишь по окончании войны... Возможно даже, что придется привлечь к совещанию и побежденных, прежде чем будет решен вопрос, как лучше устроить новый мир».

Когда речь идет о привлечении «побежденных», подразумевается, конечно, Гитлер с его шайкой. Неоднократно Чемберлен и другие определенно заявляли, что «цель войны» — предварительное устранение этой «угрозы» и «восстановления доверия в Европе». В 1918–1919 гг. этого было легче достигнуть: стоило Германии отделаться от кайзера и закрыться дымовой завесой Макса Баденского и Веймара. Теперь от тоталитарной деспотии к правительству «доверия» переход много труднее. Водворение Гитлера было революционным актом — «нигилистической революцией», по определению Раушнинга, — и переход к «доверию» тоже нельзя мыслить без новой внутренней революции в Германии. В противном случае сторонникам «искоренения гитлеризма» нельзя было бы кончить войну и «совещаться с побежденным». Так как под «побежденным» Чемберлен, несомненно, разумеет Германию, то это определяет размах и потребные размеры победы над теперешним «врагом № 1».

Но как быть с «врагом № 2» — очередь, на которую выдвигает себя СССР? К нему, конечно, могут относиться другие, тоже очень осторожные слова Чемберлена. «Никто не знает, кто будет на нашей стороне, и кто будет тогда против нас». Я не раз отмечал в этих

статьях сдержанность Англии и Франции по отношению к смыслу «нейтралитета» СССР. Эта сдержанность сказала еще раз в речи Бонкура в Лиге Наций. Очевидно, вопреки всему случившемуся, перемена СССР во время войны продолжает считаться возможной. Это, конечно, тот минимум, без которого СССР не мог бы появиться перед трибуналом иначе как в роли подсудимого, или не появиться вовсе, что равносильно тому же. Но возможен ли этот минимум без внутренней перемены в самом СССР? Вот коренной вопрос, к которому ведут все дороги. Мы сочли пока возможным констатировать лишь внутреннюю борьбу влияний. Ни Димитров, ни его товарищи по Коминтерну, пьяница Куусинен, разумеется, появиться перед европейским трибуналом не могут. Возможен был только Литвинов, аргументами которого против «агрессоров» и в пользу «неделимого мира» так победоносно воспользовались в Женеве, как основанием для исключения СССР. Но восстановить Литвинова (не говорю о лице, а о направлении) после опалы уже немислимо без серьезного ручательства, что к такому обновленному Литвинову можно теперь относиться с «доверием».

Далее, демократические государства говорят, как о необходимой предпосылке для мира, только об искоренении идеологии врага № 1, с которым борются. Об изменении режима врага № 2 они пока не заговаривают. Они осторожнее нас, которые считают это изменение необходимым. Но логика требует, что категорический и окончательный отказ от Коминтерна был сделан вторым после перемены ориентации требованием со стороны демократической Европы, которое будет обращено к завоевателям Финляндии.

Для нас отказ от Коминтерна, на котором стоит и с которым падает «ленинизм» как доктрина, равносильно отказу от самой доктрины. Поэтому он так и труден для современных владык Кремля. Мы видели, что «сталинизм» стоит на этом пути, но дойти по нему до конца он не может. Почему? Да потому, что Коминтерн есть не только неотъемлемая часть доктрины, но и самое существо метода переворота. Ведь водворение Ленина–Сталина у власти есть тоже революционный акт, как и водворение Гитлера. Мало того, можно, пользуясь терминологией Раушнинга, назвать эту революцию — революцией нигилизма. Здесь тоже «программа» есть лишь способ получения власти; партия есть способ сохранения власти; все остальное — практика «динамизма» власти, при котором только и можно держать массы не только в состоянии порабощения, но и в состоянии непрерывного гипноза. Для этого нужна соответственная перемена очередных боевых лозунгов, хотя бы и лишенных всякой связи с принципами программы. Все эти стадии беспрепятственно пройдены Сталиным. Но Гитлер, види-

мо, на них запнулся. В этом — разница их положения, и она глубже, чем может казаться. «Элита», при помощи которой управляет Гитлер, замкнута в касту: ее единственная цель — сохранение собственных привилегий. Потому ли что социальное строение России вообще менее чеканно, допускает переливы и переходы, отличаясь большей «капиллярностью», или потому, что старая «элита» в России уничтожена, а новая — бесформенна, не успела сложиться, но Сталину уже пришлось раздвинуть ряды и усложнить понятие «партийность» расширением в «беспартийность», а классовые понятия «рабочих и крестьян» перевести общим термином «трудящихся», — для того, чтобы включить и «интеллигенцию». Эта новая «интеллигенция» очень бедна идеями, и культурный уровень ее очень низок. Но она быстро растет, хочет учиться у старых учителей, ибо в казенных натаскивателях на «марксизм» она окончательно изверилась. Она еще не отрешилась от гипноза, боясь потерять с ним и всякое стремление к идеалу. Она поневоле сохраняет и практицизм своего поколения, но теория «хорошей жизни», опровергаемая ежедневной действительностью, ее явно не удовлетворяет.

В такой среде переворот труднее, нежели в окружении касты. Час Гитлера уже назначен, а о часе Сталина отсюда ничего не слышно. После Гитлера ясна неизбежность крутого возврата от беспринципности его «элиты» к принципам, которые он покинул: национальным, социальным, политическим. После Сталина все неясно, ибо покинутые принципы заменены полукомпромиссами, смысл которых намеренно запутан. Гитлеру нет отступления, которое еще возможно для Сталина. Гитлер — в железе, Сталин — в вате. Сроки может сократить поведение армии. Но и тут для Гитлера — жребий брошен, отступление невозможно, мирные выводы исключены. Сталин получил в Финляндии тяжелый урок, но еще может им воспользоваться. «Раздел мира» напоминает Тильзит¹, но за Тильзитом был Эрфурт². Александр I воспользовался после стовора тем, что плохо лежало, а от мировых миражей вовремя отказался. Если Сталин пойдет на юго-восток, вплоть до Индии, то надо будет признать, что современному Наполеону удалось его одурачить. Если он попытается продолжить историю с Куусиненом — значит, он сам себя одурачил. Но может случиться, что не произойдет на протяжении войны ни того, ни дру-

¹ В 1807 г. в г. Тильзите был заключен мирный договор между Александром I и Наполеоном, отвечавший интересам Франции.

² В 1808 г. в г. Эрфурте было заключено новое соглашение между Александром I и Наполеоном, по которому Франция признала права России на Бессарабию, Молдавию, Валахию и Финляндию.

гого. И в этом случае, однако, тихая позиция status quo уже потеряна. «Мудрая» политика может быть теперь только одна: выйдя в Европу, попытаться говорить и думать по-европейски.

Последние новости. 1939, 18, 27 ноября, 7, 18, 22, 26 декабря

ДВА ДИКТАТОРА — ДВЕ РЕВОЛЮЦИИ

I

В пустынных залах хрустального дворца, высоко над человеческим горем и человеческими радостями, он шагает из угла в угол, подводя не очень удачный годичный итог... Облака внизу, облака вверху. Ничего не видно сквозь горный туман. Но так лучше. Там внизу — неприятные мелочи. Не удался «мирный» разгром Польши. Пришлось потопить морского гиганта и послать вслед за судном его капитана. Пустяки. Потом эта Финляндия задерживает ход истории. Как глупы люди. Они не видят великого плана, по которому ведет их эта рука! Что-то шевелится в темном углу? Вздор. Раздел мира в мыслях уже состоялся. К небу обращен вызов. Все свершится по законам природы...

В строгом уединении нетерпеливыми шагами мерит свое добровольное арестное помещение другой «вождь народов». Тесновато: зато все видно вблизи, некуда укрыться. О мировых перспективах он не думает и вообще мечты ему чужды. Впору совладать с дневной злобой. Финляндия? Да, провели негодяи. Кого можно теперь же отправить на Лубянку, кого еще нельзя? И в армии неладно. Нужна, значит, новая чистка. Перестают верить старым обманам. Надо придумывать новые...

Это два разные диктатора, и созданы они *двумя* различными типами революции. Для характеристики германской революции и диктатора я буду опираться здесь на новые откровения бывшего поклонника Гитлера, Германа Раушнинга, замечательная книга которого недавно появилась во французском переводе*. Его вдумчивые характеристики постоянно наводят на сравнение между двумя

* Я разумею здесь первую книгу Раушнинга, появившуюся в начале 1938 г., но дополненную во втором издании в середине 1939 г. Французский перевод (La revolution du nihilisme) уже пользовался корректурами 2-го издания. Вторая книга (Hitler m'a dit), только что появившаяся по-французски,

революциями и диктатурами. Раушнинг прежде всего напоминает существенную разницу: русская революция длится 22 года, тогда как немецкая — в ее гитлеровской фазе — всего пять лет. «Германское движение находится в самом начале, — говорит Раушнинг, — «... сталинизм — в конце своего революционного процесса». И он делает естественный вывод из этого хронологического сопоставления. «Динамизм» немецкой революции прогрессирует, «динамизм» русской идет на убыль. Обе революции оторвались от своего базиса, но для того, чтобы идти противоположным путем. «Можно даже спросить себя — нет ли уже за сталинизмом восстановительных сил для нового порядка — тенденций победить революцию окончательно?» С моей точки зрения, догадка Раушнинга правильна. Русская революция, в самом деле, начав с утопии, уже спустилась на родную землю и приняла новые формы. Германская революция — во «второй фазе», по терминологии Раушнинга, уже отрывается от земли и ведет к утопии. Отвергая все переходные формы, она стремится, в руках Гитлера, вознестись высоко над действительностью или — быть может — ввергнуть Германию в пучину хаоса. Обе революции, отбрасывая свои исходные идеологии — и тем самым постепенно сближаясь — превращаются, наконец, в «движение ради движения» и во «власть ради власти». Конечно, направление движения остается различное, как различны и очередные лозунги, которыми «вожди» стараются поддержать энтузиазм в своих народах. От устарелого, по Раушнингу, узкорасистского лозунга прогрессирующая германская революция («без доктрины») доходит до лозунгов мирового владычества. Регрессирующая русская революция от всемирной революции (с доктриной) спускается до «счастливой жизни» народов, обитающих в осуществленном уже «социалистическом отечестве».

Различны технически и начала обеих революций и их дальнейшее продолжение. Эта разница связана не только с разницей социального и политического строя Германии и России, но и с возрастом двух революций. Русская революция прошла все свои фазы. Германский пятилетний ребенок прошел лишь одну начальную «дисциплинированную» фазу, вступив во «вторую» разнузданную, и теперь готовится перейти в третью. Русская революция начала с того, что устроила *tabula rasa* из политического и социального строя — и с самого начала должна была начертать на этой «белой доске» нечто более или менее похожее на картину старой государственности. Революция германская, напротив, в стадии своего детства, взяла с собой в дорогу все силы старого строя, хитря и лукавя с ними и постепенно от них осво-

более сенсационная и личная, уступает первой в глубине и систематичности, но зато дает яркую и неотразимую характеристику Гитлера.

бождаясь. Теперь говорят много об «уничтожении гитлеризма». Откровение Раушнинга состоит в том, что гитлеризм, в сущности, уже пережил самого себя: но за ним стоит фаза гораздо более опасная и едва ли отвратимая — дальнейшего развертывания «динамизма без доктрины» или, как он ее называет, «нигилистической революции». У нас «доктрина» пережила «динамизм», там — динамизм пережил доктрину. Тому и другому предстоит одинаковый исход, но в разной форме: скорая смерть или медленное умирание.

Конечно, черты русской революции, выбранные здесь для сравнения, принадлежат отчасти мне лично, и за них я подвергаюсь, в особенности в связи с текущими событиями, сердитым нападкам со стороны представителей «доктрин» противоположных. Но черты развивающегося германского процесса, часто по внешности сходного с нашим, можно считать объективно закрепленными в переживаниях Раушнинга, очень глубоких, хотя и приводящих его к преувеличенному скептицизму — и к столь же преувеличенным надеждам. Ознакомление с той и другой стороной его изложения, мне кажется, должно бросить яркий свет на сходства и различия двух революций, а также и осветить более объективно, чем это часто делается, то состояние войны, к которому привела германская идеология в своем прогрессирующем «динамизме».

Многих удивило, удивляет и сейчас (кое-что Раушнинг не считает «полезным» разоблачать и в настоящее время) странное соглашение Гитлера с силами старого германского строя, которое открыло «фюреру» путь к официальному водительству и власти. Но это соглашение, прежде всего, подтверждает, что «силы порядка» были еще живы в 1930–1934 годах и что только в компромиссе с ними революционный динамизм мог свободно развернуться. Силы эти — монархия, олицетворенная президентом Гинденбургом, армия, магнаты торговли и промышленности, религиозная традиция. Раушнинг упоминает о неприятной для наци фотографии, на которой Гитлер отвешивает глубокий поклон Гинденбургу. Уже проникнутый тогда своими взрывными идеями, Гитлер прекрасно знал, что делает. На знаменитом собрании 21 марта 1933 г. в Потсдаме¹, в символической обстановке у гроба Фридриха II он дал двойную клятву — сохранить монархизм и автономию армии. В карьере Гитлера это был, вероятно, не первый случай сознательного обмана: подобно другим, он пришелся кстати — в решительную минуту. Гитлер вносил в соглашение немалый вклад. Основатель и вождь партии, открытый бунтовщик против режима, поплатившийся тюрьмой и политическими

¹ День Потсдама — торжественное мероприятие по случаю созыва нового Рейхстага, на выборах в который победили национал-социалисты.

преследованиями, потом победитель на тройных выборах в рейхстаг, опасный конкурент Гинденбурга на выборах в президентство, Гитлер уже мог быть желательным союзником. Старые силы были слишком уверены в себе, чтобы оценить степень опасности его демагогии. Они считали сделку выгодной, так как в лице Гитлера связывали начинающуюся революцию, обезвреживали его «молодняк» и устраняли опасность социального переворота. Они, конечно, ошиблись. Гитлер всем обещал, что кому нравилось: монархию Гинденбургу и армии, возрождение национальной Германии — молодежи, социальные реформы — рабочим, а прежде и раньше всего — власть своей ближайшей, такой же беспринципной элите — его первым сотрудникам по части демагогии.

Раушнинг описывает подробно, как по мере укрепления власти все эти первоначальные лозунги бледнели, отпадали и заменялись новыми, более характерными для самого Гитлера — и более привлекательными для нетерпеливой молодежи. Прежде всего, со смертью Гинденбурга окончательно отпала монархия, слишком обнажившая старый багаж реставрации, с которым хотела вернуться. Ее шанс был потерян после неудачи политики Брюнинга. Постепенно замолкли и обещания социальных реформ — за пределами того немногого, что было отчасти осуществлено. Рабочие не составляли главной силы партии, разросшейся с 27 тысяч членов в 1925 году до свыше трех миллионов в годы соглашения. Главный состав партии принадлежал к *Mittelsland** и к молодежи. Довоенное движение «перелетных птиц» (*Wandervogel*), пострадавшее в войне, после нее объединило почти все союзы молодежи и, примкнув к партии наци, внесло в нее новую форму «динамизма». Такие представители ее, как Юнгер и Никиш, формулировали ее настроение и ее цели. В резком противоречии с либерализмом и буржуазией они выдвинули на первый план против свободы личности «народное общение» в расширенном смысле. Оставляя в стороне «кровь и почву» первоначального расизма, они заменили «конституцию» «трудовой демократией», где единицы сливались в коллективном целом — предвестье обязательной трудовой повинности. Раушнинг устанавливает происхождение этой «второй фазы» революции — прямо из окопов. В этой «зоне смерти» возник «новый человеческий род». Все это напоминает настроение русской «пореволюционной» молодежи, — и немудрено: она тоже воспиталась под влиянием вождей, прошедших немецкую школу этих самых годов и вынесла из окопов впечатление о грядущих мировых катастрофах и «сумерках Европы», — явлениях, где ей предстоит играть первую роль. У германской молодежи это настроение выразилось в

* Средний класс (нем.).

требовании подготовки к новой войне, которая воскресит старую, «великую» Германию. Отсюда и популяризация нового названия — «третьего рейха», которое будет усвоено Гитлером. Война — вот цель нового «динамизма», суровая подготовка к ней — вот содержание личной жизни. Из соединения понятия «народного общежития» (Volksgemeinheit) с подготовкой к войне рождается тот прием шагистики, который сполна использован Гитлером. Шагистика, гусиный шаг, исключает размышления, делает ненужной культуру и науку; зато она сливает в одно целое массу и делает ее жертвой любых очередных лозунгов. Это как раз любимый метод гитлеровских митингов. Соприкосновение с методами Сталина здесь уже несомненно, хотя и носит чисто немецкий характер. В СССР воспитание молодежи к войне имеет иной смысл, и единогласие митинговых резолюций достигается здесь без шагистики и без Volksgemeinschaft*.

Введение обязательной воинской повинности в 1935 году составляет дату в истории германской революции. Когда армия становится вооруженным народом, то внесение в нее принципа «народного общения» является естественной задачей молодежи и партии, сосредоточивших свои цели на подготовке войны. Молодежь и партия бросились теперь на завоевания армии, что не замедлило отразиться на капитуляции высшего командования. Занятие офицерских постов новыми пришельцами, сопровождавшееся окончательным отрывом армии от старых «прусских» традиций, внесло в нее новые приемы революционного динамизма. Раушнинг — в ужасе и отчаянии от этого нового нашествия, равносильного для него гибели всякой морали, торжеству самых крайних и необдуманных решений, замене военной науки стремительностью революционного динамизма и в результате после войны, которая стала с этих пор неизбежной, — и наверное, будет неудачной, — окончательной гибели Германии.

Гитлер остался позади новых настроений. Его приемы надоели, его выступления боятся, над его неврастеническими выкриками смеются. Но он торопится догнать новые настроения молодежи, чтобы выплыть на хребте новой волны. Старый капрал хочет быть главнокомандующим. Он — «вождь, и решение принадлежит ему, — ему одному. Он уже сменяет старых генералов, подчиняет формально, декретом 22–1–39, корпус офицеров союзу старых комбатантов, ставшему органом партии, и т.д. С обычной самоуверенностью он применяет к предстоящей войне, которая уже решена в его голове, свои излюбленные идеи о связи войны с политикой. От этого зависит, когда и куда он пойдет и какую очередную задачу поставит. Это, конечно, наиболее интересная для нас сторона его диктаторства.

* Народное сообщество (нем.).

II

Итак, война становится психологической необходимостью для молодого поколения Германии, учившегося в школе на рубеже столетий, сидевшего и умиравшего в окопах и тем завоевавшего себе право на офицерские места, куда оно и бросилось после войны, чтобы проявить свой «динамизм». Для какой цели? Тут старые цели смешались с новыми, потом отступили на задний план, заменились другими, и эти другие все сводились более или менее к проявлению «динамизма», как цели самой по себе. Раушнинг, показаниями которого я здесь продолжаю пользоваться, выводит отсюда, с своей консервативной (но не реставрационной) точки зрения, что в германской революции окончательно победил «нигилизм» с его полным отрицанием всех основ морали, религии, государственного и общественного порядка. Напомню снова, что все основы «порядка» тогда были еще налицо — и потому могли выполнить роль внутреннего врага, борьба с которым поддерживала «динамизм» молодежи. Эта борьба была достаточно трудна и длительна сама по себе, чтобы стать самоцелью.

Настроением нового поколения воспользовался Гитлер, которого эта молодежь уже начинала считать вышедшим из моды. Он, прежде всего, ее объединил и дисциплинировал при помощи... гусяного шага. Гусиный шаг оказался прекрасным средством, как элементарная форма «народного общения» и как способ сосредоточить все время, все внимание, все спортивные силы молодежи на одной подготовительной цели, соответствовавшей спартанским вкусам и привычкам послевоенного поколения. Лозунг «Kraft durch Freude»* («счастливая жизнь» Сталина) становился теперь не нужен; «рабочий фронт молодежи» прошел прямой дорогой к «труду», помимо «счастья». Менял свой смысл и коренной лозунг расизма Blut und Boden, кровь и почва. Старый пангерманизм понимал его, как объединение территории, на которой веками жили германцы. Теперь «почва» была отделена от «крови» и стала тем «жизненным пространством», которое германцы должны завоевать и на нем сделаться хозяевами. Если осуществление прежнего лозунга мыслилось, как создание территории «Великой Германии», то теперь задачей стало восстановление «священной римской империи германской нации», причем центрально-европейская «германская» империя отделилась от «римской» — средиземноморской. Гитлер мысленно поделил задачу завоевания Европы между собой и Муссолини. А этот раздел уже сам собой развернулся дальше в задачу более широкого переустройства всего мира под гегемонией двух империй, с заменой или дополнением, в случае надобности, рим-

* Радость власти (нем.).

ской империи Муссолини другими мировыми комплексами, — но непременно под руководством Германии, у которой явилась, таким образом, собственная «мировая миссия». Таков был логический переход от старой идеологии к новой. Франсуа Понсэ, которому Гитлер в одном из своих трансов развивал перед географической картой пяти континентов мира эти перспективы, не мог не принять его за поврежденного. Но он не знал промежуточных стадий, которые теперь освещает Раушнинг. Руководствоваться теперь *Mein Kampf*-ом Гитлера было бы, по мнению Раушнинга, «детским приемом». Но и новейшая «Желтая книга» оказывается для этого недостаточной. Она устанавливает внешние признаки и готовый результат. Раушнинг, в качестве близкого и доверенного свидетеля, вскрывает историю гитлеровского безумства изнутри.

Цели войны были теперь намечены в изобилии. Оставалось установить их «иерархию». Это и стало задачей Гитлера, как «вождя», которому его «элита», партия, армия и «народ» передоверили выбор тактических приемов для достижения конечной цели. Раушнинг до сих пор продолжает признавать Гитлера великим мастером тактики, умеющим выждать, выбрать момент и внезапно броситься, как ястреб, на добычу из заоблачных высот своего уединенного размышления. Гитлер великий «стратег»: даже генералы научились ему подчиняться, когда, вопреки их мнению, его риск оказывался оправданным одержанным успехом.

Но была же какая-то руководящая линия в решениях великого капрала-стратега. Она была, — но не его собственная: ему принадлежало лишь крайнее преувеличение выводов, казавшихся в своей основе последним словом германской науки. Этим источником, совпавшим с собственными настроениями Гитлера, была новая, специфически-германская отрасль науки антропогеографии: «геополитика». Чуть не на каждой странице своей книги Раушнинг цитирует Хаузгофера, ученика Ратцеля и главного представителя этой школы. Я сам многому научился из «антропогеографии» Ратцеля, хотя не мог не отметить специфически-германских тенденций его «Политической географии». Но Хаузгофер далеко ушел от своего учителя. Когда Раушнинг почти незаметно переходит от цитат из Хаузгофера к своим разговорам с Гитлером, то это превращение выводов науки в навязчивые идеи маньяка чувствуется особенно отчетливо.

В центре стоит тут учение о населении. Современные демографы отказываются найти общий для всех времен и народов закон народонаселения. Гитлер его находил легко по упрощенной германцами схеме. Есть народы, население которых растет. Есть другие, население которых уменьшается. Народы с возрастающим населением суть носители «динамизма»: они обделены и бедны; им у себя тесно,

и они ищут господства над вторыми, богатыми и сытыми, у которых «жизненного пространства» больше, чем они заслуживают. Это народы вымирающие, неспособные себя отстаивать и «потерявшие характер». Если бы они были благоразумны, то сдали бы сами лишнее пространство и тем более отказались бы от колоний. Но они пытаются отстаивать установившийся порядок, и с ними приходится бороться. Неверно думать, что это пространство, как, например, Украину, германцы хотят заселить людьми своей «расы». Германцы прекрасно сознают, что в большинстве они — горожане, и уже поэтому колонизация чужих пространств своими поселенцами-крестьянами была бы невозможна. Кроме того, ведь германцы есть народ высшей расы: их цель вовсе не колонизация (пересадка германцев в пределы собственной территории — только ближайшая и в целом второстепенная задача). Их цель — господство. На новые жизненные пространства они пошлют господ, которые и будут руководить туземцами в добывании средств для германской метрополии.

Кроме больших «упадочных» государств, как Франция и (с оговорками) Англия, осужденных на умирание, в Европе есть еще малые государства, обладающие частично «динамизмом» — или потому, что Версаль лишил их «жизненного пространства», и они хотят его вернуть, или же потому, что они заперты в одну клетку с господствующими народностями, от которых хотят освободиться. Эти «нейтральные» обрывки государств фатально обречены, — сперва участвовать в «динамической» борьбе Германии за пространство, а потом подчиниться ей в форме протекторатов. Эта задача — по существу, мелкая и ограниченная Средней Европой. Но она должна быть осуществлена, как источник питания, раньше, чем будут поставлены на очередь задачи более широкого размаха. «Великий стратег и тактик» позаботится о том, чтобы решить эти маленькие задачи без войны, «мирными» средствами временных договоров и неисполненных обещаний. В этой стадии может помешать только Франция: ее нужно будет тогда победить, раздробить и уничтожить предварительно. Но это легко, ибо Франция уже внутренне разлагается и воевать не в состоянии. Может быть, можно даже достигнуть цели без войны, довершив пропагандой, это внутреннее разложение. С Англией, в случае надобности, можно будет поделиться.

Остаются Польша и Россия. Польша явно взяла на себя «груз, который ей не по силам». Но ее «динамизм» уже удовлетворен, она стоит в ряду держав, охранительниц status quo и осуждена на разложение. Временно ее можно успокоить договорными обязательствами, не ставя на очередь вопроса о пересмотре границ с Германией. Это — применение того принципа гитлеровской «расширенной стратегии», который сделался общепризнанным лозунгом современной Гер-

мании. «Разложение изнутри» обещало «победу без войны», — под условием терпеливого выжидания. «Кто согласен договариваться, тот уже наполовину побежден», — такова циническая формулировка Гитлером тактических задач «расширенной стратегии». Она особенно применима к народам, которые «потеряли силу характера». Всех, кто из мирных побуждений не хотел воевать, Гитлер отчислял в эту категорию. Но на Польше он впервые ошибся.

Россия? Отношение к России в Германии и у Гитлера сложное и двоящееся. (Я говорю здесь об отношении идеологическом; к практической стороне вернусь позже.) С одной стороны, по точной доктрине «геополитики», Россия есть страна «динамическая». Население в ней увеличивается даже быстрее Германии, где давно уже прирост населения начал уменьшаться. Это осложнение само по себе говорит об односторонности и несостоятельности теории, в которую уверовал Гитлер. Но еще хуже обстоит с «жизненным пространством», в котором Россия пока не нуждается. Приходится отнести и Россию к категории «сытых» и искать ее «динамизма» в другом месте. Гитлер находит его среди национальностей СССР, которые ищут «объединения» и «автономии». Это — прекрасный элемент разложения России изнутри, и на него можно опереться в духе «расширенной стратегии» Гитлера. Но достигнуть результата и превратить Россию в «колонию» нелегко: это относится уже к последней стадии гитлеровского помешательства: к мечтам о разделе мира. Во всяком случае, поднимать «колониальные» вопросы нужно отдельно и независимо от вопроса о судьбе России в разделе, — или при разделе, — мира. Ей пока можно пообещать участие в разделе, как державе азиатской. Наконец, главное, — советская идеология. Априори она представляется совершенно несовместимой и резко противоположной идеологии расизма и национализма. Резкие отзывы Гитлера о коммунизме известны. Но мы уже видели, что эти первоначальные лозунги национал-социализма быстро стареют и уступают место другим. Вместе с тем, постепенно сближаются и нацизм с коммунизмом. Раушнинг свидетельствует, что еще в 1937 году, когда «силы порядка» еще не «капитулировали» перед нацизмом, всякий намек на сближение с СССР был бы невозможен. Но... когда над «силами порядка» взяли верх силы «революционного нигилизма», сближение началось автоматически. У обоих конкурентов на мировое господство неизбежно становился на очередь вопрос о войне. Как ни предпочитало новое поколение революционный «динамизм» сам по себе — экономике и даже военной технике, предвоенная экономика требовала «планового» хозяйства, и «четырёхлетний план», введенный Гитлером, был прямым подражанием советским «пятилеткам». Это были, конечно, две разные, — и даже полярно противоположные революции. Но германская эволю-

ция тоже привела к своего рода революции, к уравниванию «классов» перед обязательной для всех трудовой повинностью, к созданию «народного общения» в форме гусиного шага. Наконец, применяя «широкую стратегию» к задачам мирового масштаба, пришлось подумать о создании (или, скорее, расширении) мировой организации, параллельной Коминтерну. Этим занялось гестапо, под руководством некоего Боле (Bohle), поставленного во главе мировой организации пропаганды и шпионажа. Словом, две противоположные по происхождению и по идеологии революции стали в некоторых отношениях похожи друг на друга, как родные сестры. Консерватор типа Раушнинга готов был принять это сходство за тождество. Для него обе революции одинаково разрушали «силы порядка», ничем их не заменяя, кроме самого процесса разрушения. Отсюда самое название их «нигилистическими», — старый русский термин, который никогда правильно не употреблялся. К русской революции, он, во всяком случае, неприменим. Что выйдет из германской, мы пока не знаем.

Зато мы теперь хорошо знаем, что вышло из гитлеровских мечтаний о выполнении «мировой миссии» Германии. Его заоблачные полеты уже получили очень реальное земное отражение. Он мог представлять себе его как очередной этап достижений, за которым последует стадия мира. Демократическая Европа решила, что это будет — конец.

К реальной проекции гитлеровских мечтаний мы теперь и переходим.

III

Мы знаем теперь среду, в которой развернулась самодержавная воля германского диктатора. Карьеристы и проходимцы ближайшей «элиты», молодежь, вышедшая из окопов с жадной великих подвигов, ненавидящая «буржуазию», толпа, настроенная националистически, отступающие и постепенно капитулирующие «силы порядка», генералы, политики, капиталисты, служители религии — таково окружение Гитлера. На этом фоне — сам он: неврастеник в крайней степени, одержимый манией величия, влюбленный в себя и считающий других своими орудиями, не терпящий и просто не слушающий возражений, умеющий только вещать — до фальцета, до хриплого крика — или погружающийся в загадочное молчание. «Сверхчеловек», божество, антихрист? Люди этого типа часто обладают гипнотической силой, которая легко покоряет толпу — тем легче, чем толпа больше, — но покоряет и эмоциональные натуры — пронизывающим взглядом и нервным словом. Как ненормальные «люди одной идеи», Гитлер хитер: к своей навязчивой мысли он идет, если нужно, околь-

ными путями, и, отбрасывая все ненужное, ставя в последнюю минуту все на карту, он достигает своей цели крайним напряжением воли. На него в таких случаях уже смотрят, как на победителя без промаха, верят в его нервную силу. Он становится вождем толпы и окружает себя исполнителями своего приказа.

Чем определяется содержание этого приказа — направление гитлеровского «динамизма»? Оно идет в унисон с настроением момента — и само создает это настроение. Мы отчасти уже видели это взаимодействие в настроении современников Гитлера. Он не прибавляет к нему ничего творческого. Гитлер презирает науку и технику, профессоров и специалистов. Все это — мелкие, ничтожные люди, не поднимающиеся над пределами своего ремесла. От них можно лишь взять свое — и идти дальше. Такую служебную роль сыграла и «геополитика» Хаузгофера, и стратегия Шлиффена, и военная тактика Бинзе, и экономика Шахта, и новейшие вооружения современных изобретателей. Вопреки развитию военной техники, существо войны, по мнению Гитлера, не изменилось со времени битвы при Каннах¹. А экономика сама придет на выручку, когда понадобятся средства: прикажу — и достанут. Таким образом, для Гитлера «трудности существуют только в воображении». «Я обладаю талантом упрощения», — уверял он своих собеседников. «Мне все удастся пустить в ход».

Если все так удавалось с преодолением внутренних препон, то такую же веру в секрет своего «упростительства» создавали у Гитлера его успехи в международной политике. Демократические державы оказались слишком долготерпеливы и миролюбивы. Раушнинг рассказал нам, какое впечатление это производило в Германии. Пока шла подготовительная стадия тайных вооружений, серьезные люди боялись превентивной войны, которая могла все остановить. Но вместо сопротивления силой, Германия получила лишь «платонические протесты». Это, конечно, ободрило Гитлера. Когда комиссия по разрушению стала препятствовать ходу германских вооружений — и в особенности тогда, когда она стала предлагать компромиссы, — Гитлер принял первую из своих насильственных мер, приказав германской делегации во время самой сессии выйти из Лиги Наций. Когда же, наконец, Германия почувствовала себя достаточно сильной, начались гитлеровские «пробы сил» и «победы без войны». После того, как даже противозаконное занятие демилитаризованной рейнской зоны не встретило вооруженного сопротивления Франции, что считалось в Германии равносильным большому выигранному сраже-

¹ Битва при Каннах — сражение армии Ганнибала с римскими легионами в 216 г. до н. э., в котором армия римлян потерпела сокрушительное поражение.

нию, Гитлер окончательно убедился, что «геополитики» правы, и что Франция — упадочная страна, которая воевать не хочет и не может. Введение в 1935 г. всеобщей воинской повинности, беспрепятственно завершившее дело вооружения, показало Гитлеру, что наступило время приступить к осуществлению того общего плана внешней политики, который, как сейчас увидим, был уже готов в его голове. Это была одна прямая линия, к удивлению далеко не сразу замеченная Европой. С Австрией бескровная победа удалась всего легче. Anschluss представлялся как бы законным осуществлением старой германской национальной идеи. Ни во Франции, ни в Италии Шушниц не встретил поддержки. Менее понятно было прямое попустительство держав по отношению ко второй удаче «мирного» захвата — Судет и всей Чехословакии. От «расизма» Гитлер уже перешел тут к лозунгу «жизненного пространства». Его тогда обвиняли в измене, но мы уже знаем, что эта перемена лозунга совершилась раньше — в процессе «революционирования» Германии Гитлером. Он говорил Раушнинггу, что с самого начала понимал, что германская раса не есть «чистая», а смешанная. «Чистая» раса должна была еще быть создана — по тому примеру, как животноводы выращивают путем подбора улучшенные породы домашних животных. И расистский лозунг «Великой Германии» уже уступил место в плане Гитлера пространственному лозунгу «Третьей Империи», заимствованному у любимого писателя националистической молодежи Меллера ванн-ден-Брука. Достаточно взглянуть на карту раздела «империи» Карла Великого между его наследниками (843)¹, чтобы понять политическое значение этого исторического термина. Германия должна была получить две доли наследства из трех: долю Людвига немецкого и Лотаря. Это значило присоединить, кроме Лотарингии, еще и Фландрию (голландскую, бельгийскую и французскую), Бургундию (по Соне до Лиона, Марселя и Милана), а также Швейцарию, прежнюю Австрию с Чехословакией и Югославией и западную часть Польши (граница тут колебалась от р. Бзуры и Равки до «стратегической линии» Буга). Все это должно было отойти к Германии без войны, при помощи «расширенной стратегии» Гитлера (т.е. его безграничного коварства) и образовать кругом «стального ядра» объединенной Германии пояс феодальных владений. Вместе со «стальным ядром» эти приобретения должны были дать «третьему рейху» силу для осуществления дальнейших частей плана: мирового раздела и, наконец, мирового господства Германии.

К концу Гитлер начал понимать, что до этого последнего этапа ему не дожить. Нужно было поспешить, прежде всего, с ближайшими

¹ В 843 г. три внука Карла Великого по Бременскому эдикту разделили его империю.

европейскими достижениями. В фантастических путешествиях Гитлера по карте двух полушарий все европейские вопросы уже стали казаться ему сравнительно мелкими и нетрудными. К тому же теперь (в два последние года), после недозревшего военного заговора начала 1938 года и последовавшей чистки среди генералитета и офицерства, Гитлер уже чувствовал себя полным хозяином в области военного дела. А в области дипломатии его техническим советником стал Риббентроп, которого он считал экспертом по европейским делам и который бессовестно поддакивал грандиозным затеям фюрера. Сколько-нибудь независимые советники ушли. Остались льстецы, игравшие на самолюбии Гитлера и подталкивавшие его на самые крайние решения. К тому же удачная операция с Чехословакией превысила все его ожидания. Мюнхен укрепил его самонадеянность. Личные прилеты Чемберлена, совещание четырех держав и продиктованные ему, под угрозой войны, решения, полное удовлетворение совещания «духом Мюнхена», — а потом, через полгода, безнаказанное нарушение только что данных обязательств и полный разгром Чехословакии, сопровождавшийся насилиями «протектората», — все это оправдывало дальнейший риск и свидетельствовало о полном бессилии «развращенной и изнеженной» демократии, добровольно отказывающейся от первенства.

При таком настроении на очередь «мирного» захвата встала Польша. В общем плане Гитлера «панславизм» вообще подлежал уничтожению. Славяне слишком быстро размножаются, считал Гитлер, а западные славяне, живущие на территории «Третьей империи», т.е. чехи и поляки, должны быть подвергнуты «депопуляции», и их земли колонизированы немцами (что теперь и происходит). Дальше, восточных славян России достаточно было обратить в крепостных под германскими господами. Но ближайшей задачей было — отнять у Польши вольный город Данциг и вернуть «коридор», когда-то присоединенный Фридрихом II по первому разделу Польши¹. Этого он надеялся достигнуть мирным путем, если бы Польша оказалась «благоразумна». Но Польша не шла на уступки, за ней стояли демократические державы, наученные опытом разгрома Чехословакии, и Гитлер колебался, дожидаясь благоприятного момента. Раушнинг, близко знакомый с польским вопросом по своей должности председателя данцигского сената, впервые рассказывает внутреннюю историю этих колебаний. Последуем за ними.

В 1930 году Гитлер уже «относится благосклонно» к мысли о войне с Польшей в одиночку. Но он готов и подписать с ней дого-

¹ Первый раздел Польши был совершен в 1772 г. между Пруссией, Австрией и Россией.

вор — для отсрочки. «Я пойду этапами», — говорит он. Летом 1932 года план «этапов», изложенных выше, готов. Польше принадлежит в нем место непосредственно возле «стального ядра», в которое входит западная часть польской территории (именно и присоединенная теперь). Еще через год, летом 1933 года, Форстер, гаулейтер Данцига и злой гений Гитлера, уже предлагает фюреру вызвать восстание в Восточной Галиции, с тем, чтобы уничтожить Польшу в несколько дней. Но Гитлер считает, что вопрос еще не созрел. Он продолжает предпочитать отсрочку — и в начале 1934 года, пользуясь примирительным настроением в Польше, заключает с ней на десять лет договор о ненападении. «Я подпишу любые договоры, гарантирую любые границы, — говорит он Раушнингу, — чтобы только свободно проводить собственную политику... Человек, справляющийся с своей совестью прежде, чем дать свою подпись, есть просто глупец (nigaud)».

Чего же ждет Гитлер? В том же, 1934 году у него происходит чрезвычайно интересный разговор с Раушнингом, где мы находим материал для исчерпывающего ответа. Приведу этот разговор в сжатом виде. Вначале, не слушая доклада Раушнинга о положении дел в Данциге, Гитлер засыпает его неожиданными вопросами. Останется ли Польша нейтральной в случае войны с западными державами? Как она поступит в случае аншлюса? Согласится ли она на обмен территориями? Раушнинг отвечает уклончиво, но затем сам начинает ставить наводящие вопросы: «Хотите ли вы вместе с Польшей воевать против России? Но тогда Польша потребует расширения территории “от моря и до моря”, от Риги до Киева». Гитлер отвечает: «Может быть; но нельзя начинать с России; притом я не могу потерпеть существования сильной Польши на моей границе». — Р. продолжает: «Или вы хотите идти на Запад? Но тогда немедленно создастся сильная коалиция, с которой Германия не справится». — Гитлер: «А для чего же мы вооружаемся? Я еще не знаю, как предупрежу образование коалиции. Англия нерешительна, Франция занята внутренними смутами. Вместе они никогда не пойдут». — Раушнинг в этом не уверен и настаивает: «Пойдете ли вы через линию Мажино или через Голландию и Бельгию?» — Гитлер: «Франция принуждена будет выйти из линии Мажино. Это — мой секрет. Но я не уклонюсь и от борьбы с Англией». Раушнинг: «А если ополчатся на вас трое (т.е. и СССР)?» — Гитлер начинает сердиться: «Если мы не победим, то увлечем в своем падении полмира». — Раушнинг: «Не превышает ли это наши силы?» Гитлер окончательно взрывается: «Германия обделена, она должна иметь пространство! Возвысилась же Англия!» Раушнинг не унимается: «Да, но это было в XVIII веке». — Гитлер выходит из себя: «Ошибаетесь, милостивый государь! Империи создаются мечом». Раушнинг ссылается на Zollverein, как мирную сту-

пень к объединению Германии. Гитлер: «А победы 1866 и 1870 гг.?» И он развивает свой план, после осуществления которого наступит германский мир: «Пусть тогда попробуют отнять завоеванное!»

Тема о вовлечении России, как фактора в разрешении польской проблемы, затронута здесь впервые. Но Гитлер уже о ней думал. С Россией или без России, но захват Польши стоит впереди. Влиятельнейшая группа гаулейтеров — уже тогда, в 1934 г., настаивает на заключении германско-советского союза — с мыслью овладеть Польшей: Гитлер продолжает еще колебаться, но то или другое решение у него намечено.

«Это (союз с СССР) когда-нибудь случится, — говорит он Раушнингу, — по вине Польши» (т.е. ее нежелания подчиниться добровольно). Но Россия — равноправный противник; с ней можно говорить только на «этапе» раздела всего мира. «Мы переменим свой фронт, смотря по надобности — и не только фронт военный. Но об этом не надо “болтать” сейчас (1934 г.); останемся при нашей официальной доктрине и будем, по-прежнему видеть в большевизме смертельного врага»... «Может быть, я не смогу избежать союза с Россией». Но «я сохраняю эту возможность, как свой последний козырь. Этот ход покера будет, быть может, решающим шагом моей жизни... И если я решусь когда-нибудь поставить ставку на Россию, ничто не помешает мне еще раз повернуться и напасть на нее, когда мои цели на западе будут достигнуты».

Обо всех этих планах, готовых уже в 1934 г., конечно, не могли ничего знать «Желтые», «Синие» и «Белые» книги. Только после марта 1939 года начали кое о чем догадываться. Это тот трагический момент, когда Гитлеру пришлось сделать окончательный выбор — в спешном порядке. Хотя и освобожденный от всех внешних сдержек, он не мог не чувствовать, что его влияние на партию начинает падать, что жить остается недолго и что надо сблизить перспективы, ускорить темп их осуществления и — выпустить свой «последний козырь». Влиятельный член партии, окружавшей Гитлера ореолом божества, уже проговаривался Раушнингу: «Может быть, наступит момент, когда придется принести фюрера в жертву, чтобы довершить его дело. Тогда эту жертву должны будут принести его верные товарищи по партии» — очевидно, в том же идолослужебном порядке ритуального обряда. И недаром Гугенберг — партийный противник сказал в лицо фюреру: «Ты падешь от дружеской пули». Как верный Эккехарт, как Барбаросса, Гитлер исчезнет, превратившись в миф в памяти народной.

Неизбежность наступления этого момента предсказана Раушнингом за несколько месяцев до войны. «Наступает момент, когда новая коалиция откажется от оборонительной позиции и поставит Герма-

нии ультиматум — не с целью завоевания, а с требованием гарантии мира и эвакуировать оккупированные территории... Демократии, действительно, не в состоянии выносить подавляющей тяжести мобилизации... Если дойдет до этого, то не будут больше делать разницы между национал-социалистическим национализмом и германским народом... Народ уплатит по счету за семилетнее опьянение».

Так и случилось.

Последние новости. 1940, 11, 16, 23 января

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СТАТЬИ П.Н. МИЛЮКОВА «ДВА ДИКТАТОРА — ДВЕ РЕВОЛЮЦИИ»

Нам остается сравнить роли обоих диктаторов по отношению к их революциям, таким же несходным, как и они сами. Сходство, конечно, есть: оба самоучки, оба вышли из низов и вынесли оттуда инстинкт демократизма; наконец, оба, добившись диктаторской власти, применяют приемы и тактику тираний, которая повсюду одинакова.

Но нас интересует не это бесспорное сходство, а различия. В этом отношении роль Гитлера мне представляется в виде быстро вздымающегося стержня революции, ракеты на Марс, Икарова полета, тогда как роль Сталина — в форме подземного крота, гробовщика, кончающего поденную работу над черепом Йорика.

Гитлер — тщеславный ремесленник, старающийся пробиться в культурную среду и ловящий на лету идеи, которыми живет его поколение. Сталин — кавказский разбойник, переносящий в среду революционной интеллигенции привычки своего ремесла. Гитлер презирает свое новое окружение, Сталин ему завидует. Оба живут чужим материалом, но Гитлер перерабатывает в себе то, что ему подходит; у Сталина заимствование остается мертвым привеском на первоначальном примитиве.

Гитлер распускает всю свой павлиний хвост и блещет великими именами Ницше и Вагнера. «Il Principe» Макиавелли — и «Сионские протоколы», Маркс и Игнатий Лойола, католицизм и иезуиты, церковная иерархия и франкмасоны. Раушнинг уверяет, что Гитлер не читает книг дальше десятой страницы и любит в книге хорошие переплеты. Я думаю, он преувеличивает.

Во всяком случае, Гитлер знает, что откуда взять — и берет свое. Сверхчеловек Ницше превращается у него путем биологической «мутации» в новую породу «богочеловека». У Вагнера он учится раз-

личать «чистую» кровь от «нечистой» и усваивает преимущества вегетарианства.

Макиавелли, в особенности его настольная книга, которую он «читал и перечитывал» [и] «только из нее он узнал, что такое политика».

«Сионские протоколы» «перевернули» Гитлера: он «сразу понял, что так и надо поступать» и «руководился ими в малейших подробностях». «Но ведь это подлог?» — пробовал возражать Раушнинг. — «Пусть так, что мне за дело?»

С марксистами «всех оттенков» он много возился в молодости и в послевоенные годы, и он «не думает скрывать, что многому от них научился». «Конечно, не из скучных глав об историческом материализме» и не из глупостей о «предельной прибыли». Но «его интересовали их методы, в которых — весь национал-социализм: гимнастические общества рабочих, ячейки, массовые шествия, пропагандистские брошюры для масс». Если он с марксистами не сошелся, то потому, что они «не хотели, чтобы кто-нибудь возвышался над средним уровнем, и увлекались расщеплением волоса на четыре части».

«Именно тогда я начал искать собственной дороги» (очевидно, дороги «вождя» и «упростителя»). В католичестве Гитлер ценил его иерархию — и ее полагал в основу своего «тысячелетнего царства», у иезуитов научился «особенно многому», у франкмасонов оценил «магический эффект ритуальных символов, действующих на воображение без умственного напряжения». Вообще же, «тот дурак, кто ничему не научился от противников».

Никто, конечно, не заподозрит у Сталина такого кругозора и такой переработки чужого материала. До 15 лет лишь озорничал с мальчишками в захолустном городке в Закавказье и увлекался легендами о разбойничьих подвигах окрестных горцев. В следующие 5 лет, проведенных в Тифлисской семинарии, он прибавил к этому чтение нелегальных копеечных брошюр о рабочем вопросе и т.д., был за это удален из школы и на прощание донес на товарищей, членов тайного кружка, в котором участвовал.

Придя в тот же год (1898) к Н.Н. Чхеидзе, редактору радикального журнала, он просил устроить его пропагандистом в кружке рабочих; но редактор, задав ему несколько вопросов по истории социологии и политэкономии и убедившись в его полном невежестве, предложил ему годик поучиться предварительно. Это не понравилось «Сосо», и он устроил собственный кружок верных ему головорезов.

За агитацию против более умеренного местного комитета он был исключен из партии социал-демократов, «как неисправимый интриган», и должен был переселиться в Баку, где повторилась та же история.

После ареста, короткой сибирской ссылки и побега, он, под именем «Кобы», расширил рамки своей деятельности, восстановил свой

кружок и повел борьбу против местного «политического» комитета Шаумяна. Тут уже намечалось разделение будущей партии социал-демократов на большевиков и меньшевиков.

От соперников будущий Сталин и тут освобождался доносами. Разбойническая же сторона деятельности выразилась в первых экспроприациях («эксах»). Правда, тут сказалась другая черта Сталина: осторожность, граничащая с трусостью. Коба посылал на грабеж и убийство других, сам оставался за кулисами.

Почему Ленин взял такого человека под свое покровительство? Ответ — простой. Он хотел в будущей своей партии соединить начало интеллигентское с началом разбойничьим. Интеллигентского около него было много; но между ними уже началось «расщепление волоса вчетверо», бесконечные споры и дробление на группы и фракции: партию предполагалось расширить до «сочувствующих», Ленин хотел, напротив, сжать партию вплоть до конспиративного ядра, установив в нем некоторое равновесие между теоретиками и практиками революции или, как он называл их, «профессиональными революционерами».

Немногие обладали таким стажем в этом направлении, как Коба. К тому же в его распоряжении была Кавказская организация¹, готовая делиться награбленными деньгами, без которых Ленину трудно было бы удержать за собой большинство его фракции. «Эксы» сделались нормальным источником пополнения кассы, и, несмотря на запрещения съездов, остались такими, выйдя за пределы строго «политических» актов и сильно подорвав, в конце концов, моральный авторитет партии. А Ленин — особенно в тяжелые годы после провала первой русской революции (1907–1914) открыто признавал, что «белоручкам нет места в политике». Тогда же (1913) начались и конспиративные сношения Ленина сперва с австрийцами, потом с немцами.

Сталин к тому времени уже успел сам себя выбрать и послать на партийные съезды — хотя и оставался совершенно неизвестным партии. На съездах он присматривался и молчал: Сталин был вообще из молчаливых, и имел на то хорошие основания. Это не мешало ему сохранять репутацию хорошего «практика», и Ленин, разойдясь со всеми в 1912 году, кооптировал Сталина и Орджоникидзе, его коллегу, в центральный комитет, где оставалось только семь членов. Оба немедленно же были откомандированы на «работу» в Россию, где по верному инстинкту Ленина готовилась новая революция.

К счастью для Сталина, ему не пришлось сразу выступать в непривычной роли. Почти тотчас по приезде в Петербург он был со-

¹ Кавказский союз РСДРП — пробольшевистская организация Кавказа, существовавшая в 1903–1906 гг.

слан в Сибирь, где на этот раз провел все годы войны. Троцкий потом обличал его, что все письменные следы этих годов он уничтожил, и никаких отзывов о событиях мы от него не имеем. Это могло означать разногласия с партией, помогло объясняться его добровольной изоляцией от ссыльных и привычным молчанием.

Как бы то ни было, вернувшись из Сибири вместе с Каменевым, Сталин заговорил в роли не то администратора, не то редактора «Правды» — в умеренном тоне. Он занял оборонческую позицию, тогда как Ленин был пораженцем и высказывался в духе меньшевиков за условную поддержку Временного правительства. Это, правда, длилось недолго: в апреле вернулся из заграницы Ленин, и Сталин поспешил покаяться, признав его знаменитые Апрельские тезисы¹. «Мы все тогда ошибались», — говорил он потом в свое оправдание. Он «ошибался» также — но уже вместе с Лениным — не желая признать Россию «федерацией» и требуя «унитарного» государства.

Потом, скрепя сердце, Сталин, признанный Лениным специалистом по национальным вопросам, согласился признать федерацию, «как переходную форму к единству».

Ереси были направлены по мере приближения к октябрьскому перевороту. Но след остался: когда Сталин не чувствовал за собой давления доктрины, в нем всегда просыпался нетронутый здравый смысл примитива.

В прекрасной книге Б. Суварипа можно найти немало случаев таких отставаний от Ленина, сопровождающихся, правда, смешными усилиями — догнать своего покровителя, чтобы не быть уличенным в ереси. Это стало нормой поведения Сталина, пережившего самого Ленина. Когда нельзя было сразу выбрать позиции, Сталин принимал таинственный вид и погружался в молчание.

В совещаниях с доктринерами партии он всегда говорил последним. До времени — надо было быть осторожным. Менялись формы отношений, но обе отмеченные выше стихии: интеллигентская и разбойничья — продолжали существовать рядом. Продолжалось и вынужденное, но все более ненавистное сотрудничество прирожденного бандита с интеллигентами.

Сталин не мог не завидовать их теоретической подготовке, их образованности, их знанию языков и заграничной культуре, их дару ораторского слова и выработанности литературного стиля, их тонкости мышления. В их присутствии он болезненно чувствовал себя деклассированным.

¹ Апрельские тезисы — программа действий большевиков после Февральской революции, изложенная Лениным в «Задачах пролетариата в данной революции».

Он бессилен был показать им свое превосходство в качестве «профессионального революционера». В борьбе с ними ему оставалось старое, но испытанное средство — тайная интрига. И он ждал и копил в душе свою личную обиду. Он ждал «сладостной» минуты мести. Она, наконец, пришла, эта минута — и темперамент кавказского разбойника развернулся в полной силе.

Как приятно было тогда спустить одного за другим всех этих умных «болтунов», после произведенной над ними операции публичного покаяния, в темные подвалы Лубянки! И как было досадно, что между ними не оказалось к тому времени самого главного — Троцкого.

Месть готовилась исподволь — и история этой подготовки, которую невозможно передать здесь, вся состоит из малозаметных мелочей, понятных только небольшому кругу непосредственных участников, из полемических вылазок, отступлений, компромиссов, постепенных окружений и победоносных атак, когда все было готово. С крайней осторожностью, нащупывая каждый шаг, Сталин переходил от политики бессилия к политике силы.

За отсутствием других талантов, за Сталиным сохранилась репутация опытного организатора. Ему и поручили, после победы большевиков, строительство партии.

Званию генерального секретаря партии тогда никто не завидовал, а Сталину эта должность была как нельзя более удобной — для его секретной работы. Он и принялся подбирать на партийные посты своих приспешников, связывая их не столько личной привязанностью, сколько выгодами положения, знанием их слабых сторон, надеждами на повышение, страхом отставки.

Укрепивши этим свой тыл, Сталин пошел выше, постепенно продвигая в центральные учреждения своих ставленников.

Злые языки заметили, что постепенно «диктатура пролетариата» превращается в «диктатуру партии над пролетариатом», «диктатура партии» в «диктатуру ЦК над партией», «диктатура ЦК» — в диктатуру Сталина над ЦК. Но когда злые языки превратились в «оппозицию», было уже поздно.

С ослабевающей силой и все более в пестром составе с перерывами в течение 1924–1929 годов они перестреливались со Сталиным цитатами из ПСС Ленина, где можно было найти аргументы и за, и против.

А Сталин победил их во всех инстанциях голосованием своего послушного большинства, постепенно выбрасывая их вождей из высших учреждений и производя «чистки» среди рядовых противников.

Характерно, что обе стороны обвиняли друг друга в поправении. И обе, в известном смысле, были правы, на фоне выдыхающейся революции.

Но Сталина эти упреки заставляли делать периодические скачки влево, что и делает его политическую позицию этих лет чрезвычайно сложной и противоречивой. В пику перманентной революции Троцкого и опираясь на собственное толкование Ленина, Сталин объявил свой «социализм в одной стране». Потом он истолковал его в смысле своего рода «национального социализма».

Опираясь также на Ленина, он повернулся «лицом к деревне». Потом перехватил лозунг Троцкого и произвел насильственное «раскулачивание», сваливши в промежутке ответственность на «головкружение от успехов» своих исполнителей.

По окончании словесной полемики и после разгрома оппозиции его линия стала спокойнее и ровнее. Уже с 1924 года раздалось против него обвинение в термидорианстве и «бонапартизме». Теперь он стал его заслуживать. В его руках революция, несомненно, продолжала идти на убыль.

После зиновьевских провалов (как предателя Коминтерна) в 1923–1926 годах Сталин окончательно поворачивается «лицом к Европе», затушевывает лозунг мировой революции, которая «может быть, произойдет через 90 лет», открывает серию литвиновских пактов «о ненападении» и кончает (1935 г.) вступлением в Лигу Наций¹, — выбирая позицию против «агрессоров».

Внутри страны Сталин отвергает «марксистскую» школу историка Покровского и реставрирует «национальную» историю со всей ее терминологией, пытается поднять уровень школы, восстановить подобие закономерности в суде — и кончает (1936) полной отменой иерархического строя советов, заменяя его конституцией «по-европейски», с всеобщим избирательным правом. Разумеется (пока существует диктатура Сталина над ЦК, партией, пролетариатом), все это остается полуреальным.

Но новая терминология, рассчитанная на новое поколение, не может не пробудить и новых понятий. И если, с одной точки зрения, — это есть завершение «термидора» периода революции, то с другой, не меняя смысла, можно было также давно заговорить о ее «Эволюции».

Наполеона как-то спросили: как ему удалось так легко справиться с революцией?

Он отвечал:

— Очень просто. Я называл непопулярные вещи популярными именами.

Сталин едва ли знал этот анекдот, но поступал по этому совету.

— «Социализм» — уже осуществлен.

¹ Лига Наций — международная организация, учрежденная в 1919 г., согласно уставу целью которой было развитие сотрудничества между народами, гарантировать мир и безопасность.

– Идем на всех парах к «коммунизму».

– Но «государства, со всем его могуществом, отменить все-таки нельзя».

– Нам грозит «капиталистическое окружение».

Заканчивая на этом сопоставление «двух диктаторов и двух революций», я не подчеркнул лишь одну основную черту, из него вытекающую:

– Гитлер, фантазер и фанатик, представляет собой восходящую линию революции, им взвихренной и готовой на нем оборваться.

– Сталин — человек *terre-a-terre** — «самая выдающаяся посредственность партии», как съязвил о нем его антагонист Троцкий, — но не лишенный природной смекалки и реального понимания окружающего, доступного его наблюдению.

Он представляет революцию выдыхающуюся, которой суждено, с ним или без него, дойти до естественного конца.

Из двух Гитлер более трагическая фигура. Умирая, он может воскликнуть по-нероновски: *Qualis artifex pereo!***

Сталин в эту роковую минуту будет думать только о самом себе, а не о своем незаконченном деле.

*Текст взят из книги С.А. Александрова
«Лидер российских кадетов П.Н. Милоков в эмиграции». М., 1996*

АПОЛОГИЯ МЮНХЕНА

Книга сэра Невилля Гендерсона вышла по-английски под заголовком «Failure of a mission»: «Провал миссии». А выбранное им motto к книге дает очень удачное объяснение провала: «Я тружусь для мира, но когда я им говорю об этом, они готовятся к бою». Это и полагается для британца — цитата из 120-го псалма. Признаюсь, мне при чтении этой книги постоянно приходила в голову другая цитата — из Эзопа: *In cornu tauri parva sedebat musca****. Бык прет напролом — вперед к своей цели. А неотвязчивая муха жужжит ему идиллию о мире всего мира. Упрямое животное всячески пробует отогнать ее и притворяется, что не слышит. Но «миссия» исполняется добросовестно — до самого провала.

* Земля по земле (фр.).

** Какой актер умирает! (лат.).

*** Муха на рогах быка рассуждает: «Мы пахали» (лат.).

Это, впрочем, не только строгое исполнение долга. Это плод искреннего убеждения, что внутренняя правда преодолет все препятствия и победит все кажущиеся недоразумения. Гендерсон начинает книгу заявлением, что он ехал на свой пост посла в Берлин «с твердым убеждением, что мир Европы зависит от осуществления соглашения между Англией и Германией». Мир зависел совсем от другого, но Гендерсон остался верен старой теории, что препятствует миру стремление Франции к гегемонии. Его другая идея была — «представить германскую позицию как можно объективнее» и признать то, что в ней было защитимого. Это было ему тем легче, что он сам был противником версальских решений (36, 98, 137, 179) и упрекал англичан, что они не ценят германского «социального опыта». И наконец, он считал необходимым «сблизиться с вождями “наци”, и, по возможности, приобрести их доверие и даже симпатию» (17). Гендерсон был несколько прикосновенен к германской культуре — и мог говорить с вождями по-немецки.

С Гитлером сблизиться, однако, ему не удалось. Гендерсон неоднократно признается, что он, собственно, не знает Гитлера. Сношения ограничивались обменом банальных фраз при встречах; а если приходилось добиваться официальной аудиенции, то Гитлер терпеливо выслушивал поручения из Лондона, «не обращая внимания на то, что я ему говорил, и, вероятно, обдумывая, что он мне скажет» (43)¹. «Меня как-то спросил знакомый немец, как мне удастся вставить слово в те длинные монологи, которыми фюрер отвечал на короткие сообщения британского посла. Обыкновенно эти монологи намеренно выдерживались в раздражительном тоне». Гендерсон заключил отсюда, что ему как-то всегда приходилось встречаться с Гитлером в минуты его гневных настроений (119–121–127). Зато он вознаградил себя дружескими отношениями с Герингом: этот, по крайней мере, всегда был готов выслушать его внимательно, хотя «никогда мне не удалось переменить его мнения» (стр. 243).

Притом Геринг ссылался на то, что, в конце концов, дело решает сам Гитлер и что он, Геринг, все равно пойдет туда, куда ему прикажут (301). Наконец, Гендерсона отделял от Гитлера Риббентроп — «злой гений», которому место в «Дантовском аду». Приходилось обращаться к чиновникам министерства, как Вейцзагер. В одну из решительных минут Гендерсон нарочно приехал в Байрейт на трилогию Вагнера, со специальной целью добиться свидания с Гитлером. Но фюрер и тут его избегал, — и встреча ограничилась банальными фразами (257–258).

¹ Ссылки на страницы даны по французскому изданию «Deux ans avec Hitler» — заглавие рекламное.

Такова обстановка, в которой Гендерсон осужден был постоянно опаздывать с личными впечатлениями и судить о Гитлере по совершившимся фактам, причем он упорно не хотел верить в его действительные намерения и продолжал «надеяться, вопреки надежде». Эта настойчивость в заблуждении, вопреки настойчивым же заявлениям о собственной дальновидности и предусмотрительности, производит поистине странное впечатление. Там, где уже нельзя отрицать фактов, Гендерсон начинает искать смягчающие обстоятельства и постоянно впадает в противоречия между своим «оптимизмом» перед готовящимися совершиться событиями и своеобразным «фатализмом греческой драмы», когда «худшее» совершилось. Он «верит», что Нейрат случайно отказался от уже налаженного визита в Лондон: это — «фатальность, которая упорно разрушала все наши усилия открыть доступ к англо-немецким переговорам». И тут же следует признание: «только позднее я понял заранее обдуманый характер этой коварной судьбы». Это не мешает Гендерсону прийти в восторг от ослепительных манифестаций Нюрнбергского съезда партии¹, и он уже «надеется, что нацизм вступит в более мирную фазу» (70, 77). Гитлер был «более сердечен», и даже Геббельс — «любезен», хотя тогда же Нейрат ему откровенно ответил о целях Германии: «Австрия — первая и последняя; Судеты могли бы кончиться компромиссом, если бы чехи отошли от советской орбиты». И Геринг признал, что аншлюс уже «неизбежен». «Несмотря на все», — заявляет Гендерсон, процитировав Раушнинга, — «в эпоху, о которой идет речь, еще было возможно надеяться» (80–82). Правда, в своем годичном отчете за 1937-й год Гендерсон перечислил спешные вооружения Германии и цитировал объяснение Геринга, что «к войне готовят не только армию, но и весь германский народ». Он даже прибавляет к этому: «...кажется удивительным, как тогда могла сохраняться малейшая доза оптимизма». Но тут же опять прибавляет: «...все же было возможным верить, что Гитлер действует в силу принципа: если хочешь мира, готовь войну» (107). Наступает, наконец, момент захвата Австрии. Гендерсон до сих пор не верит, как не верил и тогда (1936), что захват, в той форме и в тот момент, когда он совершился, был в точности заранее обдуман. И он перечисляет три «ошибки» Шушнига, которые ускорили трагедию (125–128). «Как поступит

¹ Нюрнбергский съезд национал-социалистической партии проходил в 1935 г. На нем были приняты т.н. Нюрнбергские расовые законы («Закон о гражданстве Рейха» и «Закон об охране германской крови и германской чести»).

Англия?». Собственно, Гендерсон уже ответил («в скобках») на этот вопрос еще тогда, когда Германия была «не готова» и когда Гитлер «поступил против мнения своего главного штаба и против ближайших советников», захватив Рейнскую область. «Это, вероятно, был последний случай», — замечает он, — «когда Великобритания и Франция могли бы сказать диктатору “нет”, не будучи вынуждены подкрепить свой отказ войной» (41). В случае с Австрией, Англия, «как и предвидел Гитлер, ограничилась словесным протестом». Гендерсон прибавляет: «Гитлера еще нельзя было осуждать окончательно. Германия стала слишком сильна, чтобы убеждаться пустыми словами, и это только подтверждало мнение людей, подобных Риббентропу, что Англия примирится с чем угодно, только бы не воевать». И сам Гендерсон категорически заявляет: «Правительство е.в. не было в состоянии приступить к действиям, чтобы спасти Австрию», тем более что общественное мнение Англии не хотело бороться против «самоопределения»: «Австрия была германской».

История с Чехословакией оказалась гораздо сложнее, и Гендерсон подробно описывает все перипетии переговоров, имеющих целью предупредить вооруженный разгром, затеянный Гитлером. На этот раз он, наконец, яснее понял личные мотивы Гитлера: раздражение и жажда мести, а затем уже — желание испробовать свою армию в локализованной войне. Гитлер, прежде всего, был раздражен стойкостью Бенеша, как он был раздражен поведением Шушнига, а потом — отказами Бека. Он хотел дать всем по очереди личный урок. Но, по существу, Гендерсон опять был на стороне Гитлера, что касается Судетов и принципа самоопределения народностей. Он находил позицию Чехии, хотя она и была краеугольным камнем всей демократической политики, заранее проигранной по вине Версаля. Это было «искусственное построение», страдавшее «роковым пороком политической географии: польские и венгерские меньшинства находились, как и немецкие, на окраинах, в соприкосновении с государствами, которые требовали их возвращения». То же самое он потом должен был признать относительно Польши. С этой точки зрения, он считал, что «единственный шанс успеха был — превратить национальное государство Чехословакия в многонациональное». Но тут же он признает, что «Бенеш, конечно, не считал такую систему жизнеспособной». И Гендерсон как бы обвиняет Бенеша, что «тот предпочитал укрыться за оптимистической уверенностью, что в последнем счете Франция, Англия и Россия избавят его от необходимости делать уступки германскому меньшинству, которые он считал чрезмерными и опасными» (стр. 137–139). Это рассуждение необыкновенно характерно для Гендерсона. Разумеется, Бенеш понимал, что существование

Чехословакии тесно связано со всей системой международной политики, которая имела целью предупредить германскую экспансию на юг, — и он отлично видел, что эта система пришла в состояние неустойчивости. Но ведь на этот раз положение было гарантировано, хотя Англия и связала свое поведение с поведением Франции. И попытки Гитлера уже натолкнулись на прямые угрозы войны. Наступление Гитлера было на этот раз остановлено, как признает Гендерсон, в последнюю минуту исключительно вмешательством Муссолини. Но эта остановка была связана также с настойчивыми настояниями держав перед чехословацким правительством — идти на уступки. Решимость избежать войны во что бы то ни стало выразилась тогда в повторных поездках Чемберлена на свидание с Гитлером — и в устройстве международного совещания «четырех», которое окончательно пожертвовало Чехословакией для сохранения мира. Все эти унижительные переговоры привели Гендерсона, как и первого министра, к выводу, что мир все равно сохранен быть не может, и что Мюнхен явился лишь предисловием к Польше. Гендерсон находит целый ряд параллелей, — даже в подробностях, — между тем и другим захватом. Тем не менее он, в сущности, снова становится на германскую позицию, принятую Мюнхеном. Помимо ответственности Версаля и «географии», он обвиняет Бенеша (как прежде Шушнига) в ряде «ошибок», которые облегчили Гитлеру его задачу. Басня о «волке и ягненке», которую он сам приводит, несколько его не убеждает. Бенеш виноват... в своей самоуверенности, в торжестве по поводу майской отсрочки нападения, вообще — в нежелании уступить и т.д. А Гитлер — прав, потому что, помимо «самоопределения» Судетов, он должен был искать «стратегических границ». И Гендерсон заключает: «Придет, быть может, день, когда нам снова придется воевать с Германией, но я хочу верить, что причиной, по которой мы будем принуждены биться, будет бесспорное право, и что честь и жизненный интерес Великобритании будут столь очевидны, что мы получим безоговорочную поддержку всего британского народа, империи и мирового общественного мнения. В сентябре 1938 года это было бы иначе». И тут же Гендерсон не может от себя скрыть, что воздержание от войны в сентябре 1938 года оказалось поощрением к войне в сентябре 1939-го.

И все-таки, вплоть до 15 марта 1939 года, до аннексии Чехословакии, Гендерсон продолжал выполнять свою миссию, «веря» и «надеясь». Его надежды теперь основывались на том, что Бенеш «смягчил» положение своим отъездом, а Гака и Хвалковский «искренне желали сотрудничать с Германией» (185–197). И Гендерсон так же искренне считал их «настоящим чешским правительством». Но... Гитлер

«ни от чего не отказался» (192). Он был после Мюнхена раздражен на тех, кто помешал ему «раздавить» чехов, как потом «раздавить» поляков. Так как Англия начала вооружаться, Гитлер объявил ее и Францию «подготовителями войны». Отсюда пошла теория смены «агрессоров»: Гитлер был убежден, что Англия готовит «превентивную войну» (227–242). Но Гендерсон продолжал «и на этот раз питать некоторую надежду» (198). Он все еще верил в «оппортунизм» Гитлера. «Даже и теперь мне трудно допустить, что Гитлер действительно имел в виду приступить к действию в марте». И Гендерсон снова принимается вычислять чешские «ошибки», как он будет потом вычислять польские, давшие Гитлеру благоприятный случай для нападения. Опять он будет советовать им — уступить. По его мнению, перед Гитлером все еще оставался выбор между «авантюрой и нормальностью» (208). «Я должен признаться, что до последней минуты отказывался верить, что Гитлер дойдет до крайности» (217). Гитлер дошел до крайности, — и Гендерсон объясняет, почему инкорпорация Чехословакии была «необходима, чтобы быть готовым ко всяким возможностям» (228).

Относительно Польши Гендерсон должен был усвоить [...] своего правительства. Но для него было «совершенно очевидно, что ни Великобритания, ни Франция не были в состоянии оказать действительную помощь Польше». Он возложил свои надежды на... Россию (234). В ожидании развязки переговоров, Гендерсон продолжал считать, что «инициатива принадлежит нам» (247), — и всячески убеждал поляков возобновить переговоры с Германией. В июне 1939 года он еще сохранял «известное спокойствие духа» (249). Но в июле он «потерял к московским переговорам всякий интерес», и «еще и теперь убежден, что Москва никогда не думала серьезно прийти к соглашению с нами» (265). Известна последняя попытка Гитлера оттянуть Англию от союза с Францией, полет Гендерсона в Лондон и обратно, его последние усилия оттянуть хоть на неделю нападение на Польшу и убедить поляков пойти на «небезосновательные» требования Данцига и коридора (291). Все это заранее было обречено на неудачу. Вторжение и разгром произошли.

Гендерсон покинул Германию после объявления войны, 3 сентября 1939 года. Он увез с собой свое основное убеждение, что «если бы Гитлер остановился после Мюнхена, было бы еще возможно сотрудничать с ним, и быть может мир признал бы его гением и простил бы ему некоторые приемы, которые он пустил в ход, чтобы достигнуть своих целей». Мало того, Гендерсон настойчиво рекомендует в конце войны забыть чувство взаимной ненависти, чтобы «единственное недовольство Германии было направлено против си-

стемы ее вождей», тогда нужно будет спросить, «готова ли Германия принять правила цивилизации, за которые мы боремся. Германия может оказаться неисправимой: но, наверное, станет такой, если, по окончании войны, мы забудем наши правила». Это приблизительно та позиция, которой держались представители Англии в Версале. Мюнхен, очевидно, еще не умер.

Последние новости. 1940, 24 мая

ПОЛОЖЕНИЕ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

В тридцатых годах XX столетия на Востоке Европы появилась угроза войны — она создала новое международное положение. Один за другим оказались недействительными все демократические методы предупреждения войны. Неосуществимым было признано не только «всеобщее», но и «частичное» разоружение. Замена разоружения каким-либо общим соглашением взаимной безопасности означала бы всего лишь сокрытие препятствий, мешающих разоружению. Казалось, лучше во избежание этих затруднений заключать вместо общего соглашения частичные договоры о ненападении — между двумя и несколькими странами, — и такие договоры, действительно, заключались. Но именно потому, что они были не столько осуществлением поставленной цели, сколько приближением к ней, их недостаточность становилась очевидной. Локарнская конференция¹ помогла выяснить их слабую сторону: «объединенная» Европа не желала гарантировать СТАТУС-КВО Версальского мира² для Восточной Европы. Заранее была обречена на неудачу «французская система» создания на Востоке новых национальных государств, не увенчалась успехом и попытка создать для предотвращения надвигающейся опасности «Восточное Локарно». Последнее лишь прикрыло угрозу, пока не разразился кризис.

Какова была роль Лиги Наций³ в эти трагические годы? Лига Наций имела перед собой те же трудности. Призывы к ее автори-

¹ Локарнская конференция — проходила в г. Локарно (Швейцария) 5–16 октября 1925 г., на ней была подтверждена неприкосновенность границ, сложившихся после Первой мировой войны.

² Версальский мирный договор — договор, который определил условия завершения Первой мировой войны, подписан 28 июня 1919 г.

³ Лига Наций — международная организация, учрежденная в 1919 г.; по уставу ее целями были развитие сотрудничества между народами, гарантия мира и безопасности.

тету были бесполезны с того момента, когда обнаружилось, что вотируемые ею санкции против настоящих агрессоров недействительны. Япония (1932 г.), Германия (1934 г.) и Италия (1935 г.) вышли из Лиги Наций, когда хотели получить «свободу действия», для того чтобы нарушить ее «Ковенант»¹. Маньчжурия, Абиссиния, позднее — Австрия и Чехословакия стали жертвами агрессоров, не встретивших при этом реального отпора со стороны Лиги. Ковенант Лиги Наций предвидел возможность мирного разрешения территориальных конфликтов, но никто не подумал о его применении. Противники версальского СТАТУС-КВО прибегали к силе в то время, как демократии оставались пацифистскими. До последней минуты между Англией и Францией существовали разногласия по вопросу о возможности европейской войны, а Лондон продолжал ухаживать за главным агрессором.

В то же время два европейских государства — Германия и Россия — принялись спешно усиливать вооружение. Их намерения были различны и даже противоположны. С момента прихода Гитлера к власти (1933–1934) Германия вступила на путь завоеваний — мстя за прошлое, она поставила своей целью разрушение версальской системы. «Третий Рейх» стремился к установлению своей гегемонии над Европой. Россия примкнула к демократиям. Она не была представлена в Версале и не имела никаких обязательств по отношению к созданному после войны СТАТУС-КВО. Она даже имела свои счета с бывшими союзниками за то отношение, которое они к ней в прошлом проявили. Не пытаясь пока что защищать свои собственные национальные интересы, она противопоставляла себя Европе, как миру алчных капиталистов и империалистов. Но и опасаясь общей «интервенции» европейских держав, она вынуждена была сделать выбор между возможными агрессорами и предпочла, как мы знаем, присоединиться к политике демократий. Ее конечные цели оставались неясными, и потому было вполне естественно, что в Европе интерес был сосредоточен на личностях двух диктаторов, международная деятельность которых и взаимные отношения между которыми должны были решить в Европе вопросы войны и мира.

Гитлер и Сталин! Случилось так, что эти два человека, вышедшие оба из неизвестности, грубые по натуре и врожденному инстинкту, лишенные культуры и образования, сумели в эти дни не только сохранить то руководящее положение, которое каждый из них в своей стране занимал, но и взять в свои руки судьбу многих миллионов людей в Европе и во всем свете. Оба, во имя «нового порядка», который должен был быть создан в мире, растоптали все понятия права и

¹ Соглашение.

морали, выработанные столетиями человеческой цивилизации. Оба провозгласили себя носителями мирового переворота во исполнение их исторической миссии. Оба как будто были предвестниками тех «сумерек богов», о которых так часто вешали поэты и пророки.

Как человеческие типы, они, однако, различны; различно их окружение, различны и отправные точки их роковой деятельности. Один из них использовал существующий уже порядок: монархические учреждения, старую аристократию, испытанный генеральный штаб, богатую «буржуазию» и те зажиточные слои («миттельштанд»), которые пережили послевоенный кризис. Другой начал свою деятельность среди всеобщего разрушения и должен был для того, чтобы начать действовать, создать какое-то подобие порядка. Первый исходил из узкой националистической идеи избранной расы прирожденных завоевателей, чтобы поднять ее до идеи высшего господства над миром рабов. Второй начал с самых возвышенных идей наиболее передовых европейских мыслителей, дабы привести человечество к высшей ступени совершенства, до сих пор никем еще не достигнутой, и кончил тем, что подчинил эти высшие цели интересам своей национальной группы. Первый шел от национализма к Утопии, второй — от утопии к национализму. Те «динамические» силы, которыми оба пользовались, пережили их собственные доктрины — в прямо противоположном направлении. Соответственно с этим различны могут быть и результаты. Политику Гитлера такой компетентный наблюдатель ее, каким был Раушнинг, назвал — правильно или неправильно, другой вопрос — «нигилистической революцией». Да позволено мне будет назвать деятельность другого — новой реконструкцией. Но я не могу скрыть от самого себя факта, что многие наблюдатели и этой политики склонны и ее конечные результаты назвать «хаотическими».

Намеченные цели могут быть различны, но методы их достижения, несомненно, сходны. В демократических странах часто, однако, сходство методов принимают за тождество систем. Коммунизм и национал-социализм часто относят к одному классу явлений. Оба, конечно, «тоталитарны» — тоталитарные методы, по сравнению с демократическими, всюду одинаковы. Личная диктатура не допускает демократических методов — она исключает понятие народного суверенитета, равно как и существование какой-либо другой политической партии, кроме правящей, свободные выборы и независимое национальное представительство; она также отрицает личную свободу и свободу мысли, независимую прессу, свободу собраний и пр. Государство, как олицетворение единого представительства, облечено неограниченной властью в своих экономических, финансовых, политических, законодательных и социальных функциях. Все различия в классах, все отношения частноправового характера исчезают, каж-

дый гражданин-субъект остается с глазу на глаз с живым символом отвлеченной идеи — государством.

Все это так, но все эти «символы» — живые люди, а абстрактные государства — реально существующие страны, в которых схожие тоталитарные методы по-разному применяются на практике. Начать с того, что диктаторы-соседи, воплощающие каждый равно универсальную, но прямо противоположную миссию, неизбежно должны столкнуться один с другим. Вместе с тем и взаимное соперничество не исключает и подражания. «Глуп тот, кто ничему не учится у своего врага», — сказал Гитлер. Сам он учился у Макиавелли, у Лойолы — также у Фридриха Великого; кое-что он заимствовал из католической системы всемирного единства, из хитроумной политики Наполеона III, из подложных «Протоколов сионских мудрецов»¹, придумавших «Еврейский Интернационал». Он признавал, что учился также и у Сталина, в частности использовал большевистские методы по выработке коллективной психологии, коллективной мысли, коллективного действия путем внедрения в массы элементарной правды (и лжи) пущенных в обращение лозунгов. Разумеется, Гитлер в то же самое время страстно оспаривал центральную идею коммунистического учения и делал ее своей главной мишенью в борьбе с Россией и с Европой.

С другой стороны, передают, что в глазах Сталина Гитлер поднялся после кровавой чистки 30 июня 1934 года². И в самом деле, быть может, она послужила образцом для Сталина, так как его собственные гекатомбы из старых товарищей и вождей оппозиции последовали все после 1934 года.

Каковы бы ни были их пункты сходства или различия, как Гитлер, так и Сталин отрицали, что в своих политических схемах они руководствовались чувством ненависти или симпатии один к другому. Это, казалось бы, само собой разумеется, но я должен упомянуть об этом, так как противоположное мнение было высказано одним из сталинских агентов, В. Кривицким, претендующим на то, что он знал тайные планы Сталина.

В противоположность демократиям, война и военные приготовления в политической работе обоих диктаторов играли большую роль — результаты этого мы видим в происходящей в настоящее время борьбе. Но и здесь у обоих интерес к войне был совершенно различного характера. Европейская социал-демократия ожидала, что война приведет

¹Протоколы сионских мудрецов — появившийся в начале XX в. сборник текстов, позиционировавшийся как доказательство всемирного еврейского заговора. Большинство специалистов считает его фальшивкой.

²30 июня 1934 г. — «ночь длинных ножей», резня с целью пресечь влияние противников Гитлера в штурмовых отрядах (СА).

к «революционной ситуации», которую легко можно будет перевести в гражданскую войну — так думал и Ленин. С падением влияния Коминтерна при Сталине положение изменилось. Теперь главным мотивом была овладевшая Москвой боязнь, что капиталистические государства произведут нападение на большевизм — вот почему главной заботой Сталина были приготовления к оборонительной войне. До настоящего времени единственными наступательными войнами СССР были те, в которых была поставлена задача вернуть территории Российской империи, утраченные в конце Первой мировой войны.

Наоборот, в глазах Гитлера, согласно старой прусской традиции, война была как бы самоцелью. Война — это божественное установление, имеющее целью повышение человеческой энергии и укрепление мужественного характера «избранной» расы. Гитлер заимствовал эту мысль из «Геополитики» проф. Хаусгофера. В его упрощенном истолковании все народы делились на две категории. Одни быстро растут численно — для них нужно новое жизненное пространство, как для существования, так и для того, чтобы иметь возможность развить свои высшие способности. Другие народы, численность которых падает, обладают слишком обширным для них жизненным пространством — они должны отступить. Первые — народы «молодые» — развивают свои «динамические» силы завоеваниями. Вторые — лишены «динамизма», они лишь прозябают, находятся в упадке и разложении и обречены на исчезновение. Немцы принадлежат к первой категории, французы — ко второй. Англичане — где-то посередине. Имеются еще «малые» государства — нечто вроде пыли, они искусственно созданы Версалем и тоже лишены жизненного пространства. Они не могут существовать самостоятельно — они должны быть реорганизованы и нуждаются в покровительстве.

Чтобы получить схему гитлеровской иностранной политики, достаточно применить эти общие принципы к карте мира. Но самое развитие этой политики находилось в зависимости от роста личной власти немецкого диктатора. Для него главным средством для подготовки к войне реванша явились, прежде всего, завоевание симпатий немецкой молодежи и воспитание ее в идеях национал-социалистической партии. Затем последовало само вооружение Германии. Сначала оно происходило в заговорщическом порядке, затем было выдвинуто требование «уравнения» в правах с победителями — на этой почве была осуществлена обязательная воинская повинность. «Второй Рейх» Бисмарка уступил место «Третьему Рейху» Гитлера — это название было заимствовано у националистического писателя Меллера ван дер Брука. «Третий Рейх» должен был включить в себя ВСЕХ немцев из всех частей Европы. Первыми шагами в этом направлении было присоединение Австрии (13 марта 1938 г.) и судетских немцев Чехословакии (сентябрь 1938 года).

Вторая часть программы Гитлера заключала в себе реконструкцию Европы. Это, конечно, была более трудная задача, и «мирные» методы были для этого уже недостаточны. Центральное ядро «Третьего Рейха» надо было окружить рядом вассальных государств, включая сюда и мелкие исторические куски, которые несколько столетий тому назад принадлежали к «Священной Римской Империи Германского народа»¹: Эльзас и Лотарингия, три части Фландрии — Голландия, Бельгия и французская Бургундия, Швейцария, довоенная Австрия, западная часть Польши. Балтийские государства должны были образовать пояс вокруг «стального центра» — коренной Германии. Если возможно, большая часть всех этих территорий должна быть приобретена без войны, при помощи так называемой гитлеровской «расширенной стратегии» (ложные обещания, нарушение обязательств, разложение при помощи внутренней пропаганды, подкуп и т.д.). Славянские элементы населения этих территорий должны быть сосланы в Сибирь или истреблены, дабы дать место немецким колонистам или обширным владениям немецких землевладельцев. С возможным сопротивлением этим планам Франции не следует считаться: Франция — страна вырождающаяся, одна из первых великих держав, подлежащих «уничтожению». Вся эта схема подверглась серьезному обсуждению уже в начале 1932 года.

Серьезные затруднения относительно той роли, которую могут при этом играть великие державы, возникли у Гитлера лишь в третьей стадии этого проекта. На Западе оставалась Англия, на Востоке — Польша и Россия. Возможна ли одновременная борьба на два фронта и как можно это предотвратить?

Умный наблюдатель передает интимный разговор, который он имел с Гитлером на эти щекотливые темы в 1934 году. Вот краткое содержание двух бесед Раушнинга с Гитлером о предстоящих трудностях:

Гитлер: Сохранит ли Польша нейтралитет, если я начну действия против Западных держав?

Раушнинг (уклончиво): Это будет зависеть от условий политического сотрудничества между Берлином и Варшавой.

Гитлер: Если я потребую АНШЛЮССа (с Австрией), каково будет поведение Польши?

Раушнинг: Польша ничего не будет иметь против того, чтобы германская экспансия повернулась на Запад — и чем дальше от польской территории, тем лучше.

¹ Священная Римская империя германской нации — крупнейшее государственное образование Европы на протяжении Средних веков и Нового времени, просуществовала с 962 по 1806 гг.

Гитлер: Согласится ли Польша обменять некоторые из своих территорий с Германией?

Раушнинг: Она будет рада осуществить свои собственные требования, касающиеся Украины, Литвы и, вероятно, Латвии — с целью образовать Великую Польскую Империю от Балтийского до Черного моря, от Риги до Киева.

Гитлер: Пусть эти господа не рассчитывают на Украину. Я не могу допустить создания на наших границах военной державы; я не могу иметь соседом сильную в военном отношении Польшу. Какую роль она будет играть позднее в войне с Россией? Я заставлю Польшу пойти на уступки: в качестве последнего средства в моем распоряжении всегда будет новый раздел (с Россией) — и Польша это знает. Все соглашения с Польшей имеют временный характер; соглашение с Россией зависит всецело от меня — и я разделю Польшу, когда захочу. Польша мне нужна лишь до тех пор, пока существует угроза с Запада.

Раушнинг: Вы в самом деле собираетесь выступить против Запада?

Гитлер: Для чего же мы вооружаемся?

Раушнинг: В таком случае против Германии образуется коалиция, с которой она не сумеет справиться.

Гитлер: Моей задачей как раз и является предотвратить образование такой коалиции. Как это сделать? Пока я этого еще не знаю. Но я этого добьюсь. Я рассчитываю на нерешительность Англии и на внутренние раздоры во Франции.

Раушнинг: Вы уверены, что Англия и Франция не в состоянии сопротивляться?

Гитлер (с презрительным смехом): Говорю вам — Англия и Франция никогда вместе не будут вести войны против нас. Англии нужна сильная Германия.

Раушнинг: Но удастся ли вам пробиться через линию Мажино? Удается ли обойти Голландию и Бельгию? В последнем случае вы, наверное, будете иметь Англию на стороне Франции.

Гитлер: Если у Англии будет для этого время. Но я не пойду ни против линии Мажино, ни против Бельгии. Я буду маневрировать так, что Франция сама оставит линию Мажино — и при этом я не потеряю ни одного солдата. Но это мой секрет... Как бы то ни было, борьба с Англией меня не пугает. Я сделаю то, что не удалось Наполеону. Я сделаю высадку в Англии. Я разрушу ее города с континента. Англия еще не представляет себе степени своей уязвимости.

Раушнинг: А если против вас будет союз Англии, Франции и России?

Гитлер (с раздражением): Этого не случится, пока я жив. Как бы там ни было — если даже мы не выиграем войны, полмира погибнет

вместе с нами. Мы не капитулируем ни при каких обстоятельствах. (Спокойнее). Но так далеко дело не пойдет — во всяком случае, пока я не пройду через ряд поражений. Иначе — я не стою того места, которое занимаю. Никогда я не буду объяснять своих ошибок неудачно сложившимися обстоятельствами. Сильная воля сама управляет счастьем и руководит судьбой.

Раушнинг: Урок 1914 года учит не ловить несколько зайцев сразу. Мы не можем ставить себе слишком большой программы.

Гитлер (нетерпеливо): Если германская нация хочет сделаться Мировой Империей — если она вообще хочет существовать, — она должна быть совершенно независимой и суверенной. Понимаете ли вы, что это означает? Мировой Империи нужно пространство, нужны орудия войны. Я должен позаботиться о том, чтобы у Германии было достаточно пространства. На Востоке наша власть должна распространиться до Кавказа и Ирана. На Западе нам нужны французское побережье, Фландрия, Голландия, Швеция. Мы не можем удовлетвориться, как это допустил Бисмарк, нашими собственными национальными границами. Или мы будем владеть Европой, или наша нация рассыпется — и мы превратимся в жалкие маленькие государства. Понимаете ли Вы, почему я не могу ограничивать себя ни на Востоке, ни на Западе?

Раушнинг: Это значит, нужно прибегнуть к насилию. Но мы живем не в XVIII веке.

Гитлер (кричит): Вы, сударь, ошибаетесь! Есть одна вещь, которая не изменяется столетиями: Империи создаются Мечом и превосходством оружия, а вовсе не политикой и мирными союзами. Взгляните на Британскую Империю с ее знаменитой конституцией! Кто не имеет смелости господствовать силой кулака и в управлении становится слишком гуманным, тот должен отойти в сторону.

«В 1934 году, — говорил собеседник Гитлера, — такие планы казались мне всего лишь фантазиями человека, страдающего манией величия. Накануне 1940 года немцы поняли, что значительная часть этих планов начала осуществляться».

А что можно было бы сказать через два-три года? Каждое слово из приведенной выше длинной цитаты, в которой точно переданы буквальные выражения Фюрера, звучит как предсказание, с большим или меньшим успехом ныне осуществляемое. В «Голубых» и «Желтых» книгах можно найти детали происходивших изо дня в день событий, еще не закончившихся, но уже намеченных в этой знаменательной беседе.

Вряд ли Сталин знал карту Европы так хорошо, как Гитлер, а если бы и знал, то не был бы способен осуществить гитлеровскую схему. Россия, повторяю, не была в Версале и вовсе не была обязана, если не считать последних литвиновских договоров, соблюдать «француз-

скую систему». Она равнодушно относилась к спору между «ревизионистами» и сторонниками версальского СТАТУС-КВО. Но в этой войне у России имеются свои особые интересы; они вовсе не сосредоточены на славянском вопросе, ныне совершенно забытом; скорее они связаны с вопросом о территориях прежней Российской Империи на ее западных границах — тех территориях, которые были потеряны в тот момент, когда большевики овладели властью. Но даже и это не могло вызвать войну за их возврат России. Послевоенные сговоры и союзы России преследовали цели ВНУТРЕННЕЙ политики — восстановление России или защиту коммунистической системы от вторжения иностранных «капиталистов». С коммунистической точки зрения, все правительства были одинаково подозрительны по части «империализма», причем трудно было провести точную границу между возможным «агрессором» и его жертвой. Вот почему советская иностранная политика оставалась пассивной. Когда Германия оказалась в положении ближайшего возможного агрессора, Россия, естественно, была отброшена в сторону западных держав — и вовсе не потому, что это были державы демократические, а в силу их географического и стратегического положения на противоположном фронте врага. Сталин тем самым оказался в положении Александра III — он должен был сделаться союзником демократий, и вовсе не потому, что он хотел этим бросить вызов Гитлеру, а совершенно искренне. Этим и объясняется эра литвиновского «пацифизма».

Я пишу эти строки в тот самый день, когда Советская Россия празднует день Красной Армии, созданной двадцать четыре года тому назад. Трудно выбрать для такого чествования лучший момент. Восемь месяцев блестящей защиты национального дела связали Россию с делом европейских демократий, а оборона против страшного врага и возможного поработителя бросила новый свет на трудные годы, в продолжение которых Россия готовилась к войне. Эти месяцы смягчили воспоминание о тех жестокостях, которые сопровождали сталинский эксперимент. Враг надеялся найти в лице России легкую добычу в результате внутренних расовых и социальных раздоров, он думал, что народы ее связаны с родной почвой и охотно сменят политический гнет диктатуры на экономическое рабство иностранному завоевателю — все эти надежды врага были разбиты силой национального сцепления и заново приобретенным чувством национального превосходства. Вторгшегося врага встретили не «дикие звери», а сознательные патриоты, которые научно обоснованной жестокости и суровой дисциплине противопоставили твердую решимость очистить родные очаги от врага или умереть под их развалинами. Умолкли презрительные речи, им на смену пришло удивление и воздаяние должного — в день 24-летнего юбилея Красной Армии со-

юзники России обратились к ней с горячими приветствиями. Россия неожиданно оказалась защитницей демократий.

Однако одно остается: подозрение или обвинение падает не на армию и не на нацию, а на ее правителей. Последние и под новой личной преследуют как будто свои прежние цели мировой революции. Этим подозрением враги широко пользуются. Они уверяют, что ведут борьбу не ради завоевания «жизненного пространства» для надобностей «высшей расы», а как «крестовый поход», чтобы спасти «цивилизацию» от русских «варваров». Союзников они ищут во имя борьбы с Коминтерном. Друг России, Япония, временный союзник России Германия, и Италия, до последнего времени союзница демократий, — все они вдруг охвачены единственным желанием: освободить мир от русского чудовища. По следам этих «освободителей» пошли и малые государства — Румыния, Венгрия, Финляндия, Кроация, Словакия и другие. По словам Риббентропа, Европа, объединившись вокруг Гитлера, никогда еще не проявляла такой солидарности. Все нерусские национальности России должны быть «освобождены» от сталинского коммунистического ига. Даже среди некоторых союзников и соседей было распространено мнение, что слишком большие победы советского правительства могут сделаться опасными для Европы.

На все эти высказанные опасения Сталин — искренне или неискренне — отвечал молчанием. Но мы знаем, ему было что ответить. Разве не была отставлена в сторону прежняя ленинская идея мировой революции, разве не была она заменена сталинской ересью «социализм в одной стране»? И разве не заявил Сталин, что Россия еще не созрела для социализма, не говоря уже о коммунизме? Разве не был после отставки Зиновьева разжалован Коминтерн и разве не был он отдан под надзор тайной полиции? Разве политика Сталина в Испании не указывала на то, что он окончательно распростился с идеей мировой революции? И тем не менее пока существующее в Москве на Лубянке учреждение не перестанет давать приют центральному органу коммунистических партий всего мира, до тех пор каждое проявление террора будет приписано «приказу из Москвы», и Советская Россия будет обвиняться в том, *что* кует оковы во всем мире. Если когда-нибудь должна будет пасть преграда между Россией и Европой, первой жертвой европеизации России будет Коминтерн. Можно ли считать слишком смелым предположение, согласно которому именно это событие явится следствием теперешнего сотрудничества России с демократиями мира?

Конечно, истинные причины вторжения Гитлера в Россию ничего не имеют общего со спасением «цивилизации». «Миссия» его гораздо более практического свойства. Он сам об этом открыто заявил в

одном из своих выступлений (речь в Мюнхене 9 ноября 1941 года). «Мы окажем великую услугу всей Европе, мобилизовав огромную продукцию Востока и неизмеримые богатства его земель». Быть свидетелем этого перед лицом «всей Европы», разумеется, был призван «немецкий солдат». «Немецкие солдаты могли видеть сами, что в стране, где земля сама рождает богатства, достаточно и малого приложения труда, чтобы иметь во много раз больше того, что мы имеем в Германии — там живет в жалких лачугах полуголодное рабское население, во власти комиссаров, девяносто процентов из которых евреи. Когда эта опасность исчезнет, это будет не только истинным освобождением Европы — это принесет ей экономическое процветание. Перед нами миссия, в которой заинтересован весь континент... И нет сомнений, что на тысячу лет вперед в наши дни решается здесь судьба Европы...»

Рассчитывая на «тысячелетие», Гитлер несколько не заинтересован в том, что может быть с его обетованной землей сейчас. Сейчас «избранная раса» может ее превратить в пустыню, чтобы потом сделать ее для Европы земным раем. На самом же *деле* Украина не является ни *тем*, ни другим. Вместе со всей остальной Россией Украина претерпела немало после *тех* тяжелых испытаний, которым ее подверг Сталин в 1928–1929 годах. Нам хорошо известны результаты его политики. Перед самой войной рождаемость на Украине упала, смертность возросла, рост населения прекратился, производительность почвы и труда уменьшилась, нищета погнала крестьян из коллективизированных деревень в города, городское население было вынуждено пойти на службу. Источники общественных доходов иссякли, налоги росли, деньги обесценивались, цены на товары становились недоступными для рабочих. Огромное истребление человеческих жизней, сырого материала и средств производства — все это должно было достигнуть высшего предела и привести к экономическому и финансовому упадку. Можно было опасаться голода — не меньше того, который был в 1922 и 1923 годах, а с ним и эпидемических болезней. Каков бы ни был исход войны, нечего рассчитывать на спасительную помощь со стороны. Для борьбы с этим правительство предоставлено своим собственным силам. Где же спасение?

Не в первый раз подобная катастрофа угрожала большевистской власти. Ее смысл всегда был тот же: столкновение между старыми и новыми особенностями режима неизменно вызывали оппозиционные силы. Этот конфликт неизменно кончался некоторым взаимным приспособлением. Это приспособление приводило, в свою очередь, к некоторой эволюции. В результате все менялось: соотношение сил, втянутых в борьбу, характер нападения и защиты, методы борьбы, — все, за исключением самого разрушительного процесса и необходимости нового очередного приспособления.

Читатель знает, что я имею в виду. Резкое столкновение между безоговорочным применением абстрактных доктрин и условиями реальной жизни вызвало кризис, продолжавшийся с 1917 года по 1921 год, гражданскую войну и иностранную интервенцию. Обе стороны были равно сильны, свежи, непримиримы и не хотели компромиссов. Никакой компромисс не мог остановить разрушительного процесса. По инициативе Ленина этот компромисс принял форму «отступления» к элементарным условиям нормальной жизни, и это отступление было прикрыто именем «Новой Экономической Политики», или НЭПа. На самом деле равновесие было достигнуто приспособлением: оба «сектора» жизни, «капиталистический» и «социалистический», получили право существовать параллельно. Сторонники обеих форм эволюции существовали рядом в центральных органах Партии и вели между собой парламентскую борьбу.

Но постепенно властью овладели партийцы, руководимые Сталиным, и началось новое наступление, само именовавшее себя «социалистическим», хотя приспособленческие элементы уже проникли в ряды сталинцев — именно они и определили его тактику. Нормальные функции «государства» были восстановлены Сталиным под именем Партии. Этот процесс принес с собой новые разрушения еще более серьезные, чем прежние, так как сложнее и труднее была самая задача. Результатом этого явился не только восстановительный процесс в области экономики, в армии и в социальных отношениях, но и отказ от старой доктрины и окончательное уничтожение ее последних защитников — «старой ленинской гвардии». Старая партия, исчерпав поставленные перед ней переходные задачи, практически перестала существовать. Новый социальный класс «служащих» и «советской интеллигенции» правит отныне партией «рабочих и крестьян». Прежние красные «сановники» и невежды должны были уступить свои командные посты новым кадрам специалистов, прошедших через профессиональные школы. Профессионалы нужны были Сталину для проведения его пятилеток. Теперь они образуют новую бюрократию, размеры которой быстро увеличиваются, чтобы удовлетворить растущие потребности государства, — но особой касты эта бюрократия не создает. Вот несколько цифр, подсчитанных экономистом Юрьевским — они хорошо иллюстрируют профессиональное значение этой новой бюрократии. На почте и телеграфе в 1924 году служили 80 000. В настоящее время их 334 000. На городских службах число возросло с 67 000 до 508 000. В отделе охраны здоровья число служащих возросло с 250 000 до 156 000 (так в тексте). В отделе образования — с 492 000 до 2 190 000. В промышленности и на общественных работах с 220 000 до 988 000. В торговле с 248 000 до 1 957 000. Во всей администрации — с 887 000 до 1 545 000. Это что-то не похоже на «90 процентов еврейских комиссаров», управляющих

жалкой нацией «рабов», как это себе представлял Гитлер. Общая численность советской «бюрократии» равна приблизительно 11 430 000, что составляет 14,3 % всего населения. Во Франции она составляет не меньше 17 %, в Германии — свыше 21 %, в Англии свыше 26 %, в Соединенных Штатах — более 32 %. Никто не будет о них утверждать, что все они бездельники. Не могут они все быть сметены и победоносным вторжением. Они — необходимый орган государственной машины.

Было время, когда истребление бывших правящих классов земельных собственников и отсутствие других определенных в социальном отношении дифференцированных групп привели Россию в состояние анархии и хаоса. В настоящее время Россия, вопреки советской теории об уничтожении классов, отнюдь не является аморфным обществом. Не случайным является и образование бюрократии из специалистов, отобранных Сталиным из рядов «новых поколений». Они вышли из рабочих слоев и связаны с народом. По своему настроению это вовсе не интернационалисты, какими была прежняя элита, принесенная Сталиным в жертву. Они настроены национально, как настроен сам Сталин, и разделяют его политические девизы. Они научились многому, чему надо было научиться, но одному они не научились — не научились «марксистской диалектике». Она им больше не нужна, так как им вовсе не надо подгонять реальную жизнь к устаревшей доктрине.

Таково было положение, когда Гитлер напал на Россию, и перед Россией встала угроза самому ее существованию. Принесенные ею жертвы, также те жертвы, которые должны были быть принесены в дальнейшем, делали ее внутреннее положение чрезвычайно трудным. Из всего сказанного выше ясно, что неизбежен был новый компромисс, необходимо и неизбежно было очередное приспособление к новому страшному положению. Линия компромисса была ясно указана прежними уступками Сталина. По существу то была линия неизбежной апелляции к частной инициативе. Известны осторожные попытки Сталина оправдать частное хозяйство наряду с насильственным коллективизмом колхозов. Было объявлено, что внутри самого колхоза свободная форма совместного труда на земле, старая русская «артель», признана лучшей, чем «коммуна». Крестьянину было разрешено нести на свободный рынок излишки своего труда. Все это было очень симптоматично, но совершенно недостаточно для удовлетворения новых нужд. Я лично предполагаю, что населению должно быть дано и, вероятно, будет дано больше свободы в экономической области. Прежде Сталин не допускал «равенства» в заработках и оплате труда на частном рынке. Ныне должны быть открыто допущены накопление капитала и его использование в торговле и промышленности. Это легко может быть сделано за счет известных монополий государства, но без разрушения «плановой экономики».

Как же обстоит дело с проявлениями политической деятельности, безжалостно искореняемой всюду Сталиным, в том числе и в партии? Это, конечно, наиболее деликатный пункт в его политике. В принципе «однопартийная система» сохранена. Но себя Сталин оградил от партии, он свел партию на роль государственного учреждения и в государственные учреждения ввел, на равных основаниях с членами партии, «беспартийных большевиков» и «советских интеллигентов». Это означало само по себе освобождение от старой партийной политики. Но это вовсе не означало освобождение от всякой политики. *Все* должны отныне проводить лишь одну новую политику Сталина. «Новое поколение» было проникнуто *тем же* национальным духом, как и сам Сталин; они были энтузиастами «счастливой жизни» в этой «единственной стране» счастья и совершенства — согласно определению самого Сталина; они клялись словами учителя — и в этом тоже была сталинская политика. И конечно, сами они не могли ее менять по желанию. Некоторые из них назывались «интеллигентами». Насколько я знаю, они не порвали всех нитей, связывающих их с русскими духовными традициями. Они читают — и часто эти книги являются их излюбленным чтением — светочей довоенной русской литературы и мысли. Большинство из них еще неотесаны, они лишены утонченности. Но Россия не единственная сейчас страна, где «новое поколение» неотесано — быть может, в наши дни неотесанность и является единственным средством не приходить в отчаяние.

Как бы там ни было, но лучшие люди этого поколения в глубине своих сердец могут растить семена свободы или, по меньшей мере, моральной независимости — и когда-нибудь эти семена дадут плоды. В них живет сознание, что они и составляют ГОСУДАРСТВО, самое ядро его, являются самыми ценными представителями нации, ее душой, ее мыслью. Решающим может оказаться и их патриотизм, и та роль, которую они играют в войне. И они вспомнят тогда «чудесную» самоновейшую конституцию 1936 года¹. В ней они найдут известную гарантию их личному освобождению. На основе всеобщего избирательного права они примут участие в выборах в Верховный Совет. Партийные санкции могут ослабеть, и когда писаная конституция 1936 года превратится в реальность, свободный вотум избирателя перестанет быть политическим преступлением.

Могут сказать, что я иду слишком далеко в своих выводах. Но *те* факты, на которых они покоятся, существуют и, мне кажется, правильно мною истолкованы, как и их дальнейшая эволюция. Могут возразить, что некоторые из предпосылок не вполне надежны. Разумеется, мы не можем ничего предсказывать; мы можем лишь угады-

¹ Конституция СССР, принятая в 1936 г.

вать, как настоящая война кончится. Мы не знаем, будет ли и дальше существовать настоящая диктатура, усиленная военными успехами, или, наоборот, она рухнет под тяжестью военных поражений. Если настоящий режим, после двадцати пяти *лет* существования, окажется способным эволюционировать, он сможет пережить и новую катастрофу. Можно выставить против этого и другие гипотезы, но они менее вероятны. Россия не может вернуться к дореволюционному периоду своей истории, ее прежний политический и социальный режим не может возродиться. Не может она управляться и германским ГАУЛЕЙТЕРОМ. Недавно один турецкий министр сказал, что, чем бы война ни кончилась, Турция останется Турцией. С не меньшим правом и русский может утверждать, что Россия останется Россией и что годы войны не будут концом ее исторического существования. Только невежды могут утверждать обратное. В темные исторические периоды, тысячи лет тому назад, иностранный завоеватель мог положить начало процессу превращения не осознавших себя этнографических племен в единую сознавшую себя нацию — и этот процесс мог в конечном счете увенчаться успехом. Но нация, осознавшая себя в столетиях общей исторической жизни, со сложившимися традициями и с поставленными перед собой задачами, не может превратиться в неорганическую этнографическую массу. «Жизненное пространство» России не превратится в пастбище, на котором будут пастись азиатские «орды». Все наши другие выводы могут быть только предположительными. Но этот достаточно успешно выдержал испытание истории, и никакое красноречие колдуна из Берхтесгадена его не опровергнет.

Новый журнал. 1942

ПАМЯТЬ О СОВРЕМЕННОКАХ

П.Д. БОБОРЫКИН

Лугано, 13 августа. Сегодня здесь скончался
Петр Дмитриевич Боборыкин

Вчера в Лугано скончался старейший из русских писателей, современник Тургенева и Герцена, хранивший в своей памяти лучшие заветы старой русской интеллигенции шестидесятых и сороковых годов, плодовитый беллетрист П.Д. Боборыкин. В русской литературе покойному принадлежит видное место представителя натуралистического романа. Люди моего поколения хорошо помнят, как, бывало, с каждым новым годом, в январской книжке «Вестника Европы»¹ появлялась первая глава нового романа П.Д. Боборыкина.

С живейшим интересом мы ждали появления этой очередной новинки, так как знали, что П[етр] Д[митриевич] непременно затронет какой-нибудь самый очередной и животрепещущий из вопросов, волновавших общество, и непременно выведет новую портретную галерею лиц, связанных с темой романа, причем непременно поведет читателя в какую-нибудь новую, незатронутую и не осмысленную обстановку русской жизни.

Наблюдательность и память у покойного П.Д. были изумительные. Ему ничего не стоило описать в романе во всех мелочах и подробностях комнату, через которую он прошел только раз, изобразить костюм, наружность, интонацию голоса какого-нибудь мимолежного знакомого. Небольшой круг столичной интеллигенции всегда с большим любопытством и не без некоторого страха ожидал, каких еще общих знакомых включит П.Д. в свою коллекцию портретов. Портреты всегда были фотографически верны, но всегда же служили лишь средством для автора провести очередную идею, и уже тут все зави-

¹ «Вестник Европы» — журнал, выходивший в Москве в 1866–1918 гг. Издатели: в 1866–1908 гг. М.М. Стасюлевич; с 1909 г. — М.М. Ковалевский, редактор К.К. Арсеньев.

село от того, с какой стороны и в каком ракурсе брал романист свою очередную жертву.

В политических сумерках царствования Александра III романы Боборькина были своего рода общественным событием и всегда откликались на какой-нибудь «последний крик» жизни. Правда, П.Д. смотрел на эту русскую жизнь глазами культурного европейца, и изображение при этом получалось освещаемое всегда не изнутри, а снаружи. Любимые иностранные словечки, реминисценции из любимой Италии или петуа парижского бульвара придавали романам П.Д. особый характерный оттенок. Дочитывая роман в двенадцатой книге, читатель порой был немножко разочарован и находил, что модные вопросы не исчерпаны до глубины.

Но за январскую книжку с новым романом тот же читатель неизменно принимался с любопытством и прочитывал первые части с захватывающим интересом.

Престарелый романист, умерший в Италии, тоже оказался одной из жертв отдаленной совдепии. Большевики конфисковали все сбережения П.Д., хранившиеся в одном из петербургских банков, и старейшине живых русских писателей приходилось доживать свою долгую жизнь, полную упорного труда, страшно нуждаясь и бедствуя. Скучный газетный заработок, редкие субсидии бедных литературных обществ не могли, конечно, покрыть дефицитов скромного бюджета покойного. Последняя из этих субсидий застала П.Д. уже в параличе. Надо, чтобы кто-нибудь позаботился о похоронах... Да, та же участь русского писателя и судьба не пощадила Боборькина... Да будет ему легка земля.

Последние новости. 1921, 13 августа

МАСАРИК И БЕНЕШ В ПАРИЖЕ

Наконец мы присутствуем при празднике, который русская интеллигенция может считать в полной мере своим. Президент чехословацкой республики Масарик и его министр Бенеш, приезжающие сегодня в Париж, близки нам не только, как братья-славяне, вожди народа, связанного с Россией узами сердечной привязанности и чувством кровного родства. Они нам дороги, как горячие и последовательные защитники тех самых общественных и государственных идеалов, которые разделяются русской интеллигенцией. Но наши чешские братья сумели с бескорыстным идеализмом, свойственным

этой интеллигенции, соединить деловитость и практичность западной культуры. И в этом отношении они уже не только являются выразителями общих нам идей, но и дают нам пример того, как эти идеи могут быть воплощены в жизнь без крайностей утопии и насилия.

Томас Масарик — наш старый друг. Он знает и любит Россию с юных годов, он посвятил русской психологии и истории прогрессивной русской общественности один из своих больших научных трудов, где отмечены малейшие течения и уклоны русской политической и интеллигентской мысли. У гигантов нашего творчества он старался подслушать биение народной души. Он нам родной уже потому, что сумел подойти к нам так близко. Но он вдвое дороже нам потому, что внес в изучение русской мысли европейские критерии и идеалы. Масарик — демократ не только по рождению, не только потому, что был сыном слесаря. Вся его жизнь и деятельность были отданы на служение демократии и свободе. Враг всякой лжи и всякого насилия, Масарик ополчился также горячо против фальсификации чешской исторической легенды, как и против австрийских подделок документов, долженствовавших подвести сербов под обвинение в государственной измене. В политике он еще в конце XIX столетия объявил себя «реалистом», оставив позади себя в своем радикализме старевших вождей когда-то «младо»чешской партии. Отойдя потом надолго от политики, Масарик стал учителем молодого поколения, и не только чешского. На рубеже столетий к пражскому профессору прислушивалась вся славянская молодежь. Он вел ее путем, чуждым старых исторических предрассудков и национального шовинизма, путем широкого общения с современной философской и социальной мыслью. В ряду европейских практических политиков Масарик, быть может, единственный, который соединяет задатки крупного политического вождя с мудростью отвлеченного мыслителя. Этот тип не мог не поразить демократическую Европу. Она увидела в славянском политике воплощение того, чего не умела достигнуть сама. И Масарику Чехословакия в значительной степени обязана тем видным местом, которое возрожденное государство заняло среди вновь освобожденных народов.

Пацифист по складу психики и по убеждению, Масарик противился наступлению мировой войны, которую предвидел, и пытался разрешить мирным путем вопросы национальных конфликтов внутри монархии Габсбургов. Его программа выставляла широкое самоопределение народностей, составлявших Австро-Венгерскую империю. Но он натолкнулся на вражду и непонимание руководящих кругов империи, и, когда война началась, остановил свой выбор на стороне симпатий и стремлений своего народа. Видя приносимые народом жертвы, он сказал себе: я должен сделать для народа не меньше, чем

делают простые солдаты, жертвуя жизнью. И он оставил близких, чтобы в изгнании начать защиту идеи свободной и независимой Чехословакии. Его поездки в Италию, в Голландию, в Париж, в Лондон, в Америку подготовили общественное мнение мира к освобождению чешского народа, а его обстоятельные мемуары о необходимости перестроить срединную Европу на началах свободы национальностей, в противоположность мертвящему централизму и бюрократизму прусского идеала, снискали уважение и доверие к нему руководящих политиков всего света. Союзническая идеология мирового конфликта имела в нем убежденного сторонника. «В мировой схватке, — говорил Масарик, — стоят друг против друга силы средневекового теократического монархизма, недемократического и ненародного абсолютизма — и государства конституционные, демократические, республиканские, признающие право всех народов, не только великих, но и малых, на государственную самостоятельность».

Естественно, что с такой идеологией Масарик, друг русского народа, не был другом русской монархии. В этом отношении его западное мировоззрение, столь близкое к мировоззрению русской интеллигенции, столкнулось с архаическим, но преобладавшим в чешских массах отношением сентиментального поклонения царской России. Масарик, вождь университетского свободомыслия, не побоялся выступить против этой традиции. К царистскому направлению в собственной стране он относился враждебно. Когда в 1916 году его заграничный комитет превратился в «Народную Раду», он вошел туда уже в большинстве с обоими своими последователями, творцами вместе с ним чешской государственности: Бенешем и Штефаником, ученым астрономом, превратившимся в летчика и рано погибшим. Монархистское русофильское направление было представлено в «Раде» только одним Дюрихом, но он принужден был скоро выйти, по доказанному обвинению в денежных отношениях к царизму.

Когда началась русская революция, борьба обоих течений, перенесенная в Россию уже с начала войны, кончилась победой Масарика и среди чешской колонии в России. Масарик сам приехал в Россию, чтобы запечатлеть победу своего течения. Увы, ему не пришлось быть свидетелем победы революционного разума: на его глазах победило безумие. Когда в России началась гражданская война, первой мыслью Масарика было — сохранение безусловного нейтралитета. В этом смысле и был отдан приказ чешским легионам сражавшимся в русской армии. Но когда большевики заключили с германцами мир в Брест-Литовске¹, Масарик принял точку зрения союзников, что

¹ 3 марта 1918 г. в г. Брест-Литовске был подписан мирный договор с Германией, Австро-Венгрией и Турцией. По Брест-Литовскому договору от России отторгались Польша, Литва, часть Белоруссии и Латвии.

борьба с большевиками есть продолжение борьбы против германского врага. В этом смысле он склонился, в бытность свою в Америке, к тому, чтобы вместо отъезда из России во Францию, чехи остались в России и помогли русским антибольшевикам. Пока это была помощь приволжской «народной армии», сражавшейся под знаменем учредительного собрания, участие чехов не противоречило идеям Масарика. Но когда, после Омского переворота, в рядах русских антибольшевиков произошел раскол, чехи поневоле оказались в двусмысленном положении защитников не то России, не то контрреволюционной реставрации. Эта двойственность не могла не отразиться на их поведении, вплоть до их ухода из Сибири. Каковы бы ни были наши претензии к чехам за этот смутный промежуток времени, мы не можем требовать, чтобы чехи лучше разбирались в наших внутренних делах, чем мы сами.

Как бы то ни было, за этим, отошедшим в историю периодом уже начался другой, в котором чехи приобрели себе новое право на благодарность русского народа. Приютив у себя тысячи русских студентов и целый ряд русских культурных учреждений, чехи не скупились на средства для поддержки русского народного дела. Но и здесь идеи демократа-президента сказались в характере помощи. Какая глубокая разница между тем, что делается в Праге, с тем, что делается в Белграде! Полный нейтралитет в политических расприх, полная свобода жизни и передвижения, полное отсутствие высокопоставленных эмигрантов, обративших эмигрантскую массу в крепостное состояние, решительный отказ от игры в «армию» и от заигрывания с реставраторскими течениями. Наоборот, широкое сочувствие всем демократическим течениям и начинаниям. Вот почему Прага становится крупнейшим культурным русским центром в то время, как Белград давно превратился в гнездо черных заговорщиков. Демократическая Россия не забудет этой услуги Масариковой Чехословакии, тем более что и теперь в Чехии сохранились обломки царистских настроений, которые не одобряют Масарикова дела.

Вместе с Масариком приезжает в Париж его министр иностранных дел Бенеш. По этому поводу мы напомним то, что говорили по поводу роли Бенеша в создании и функционировании Малой Антанты. Заслуга чешского министра перед Россией и в данном случае велика. Россия не забудет, что обязательства, принятые на себя Чехией и Малой Антантой, кончаются как раз там, где начинаются претензии России к отдельным государствам Малой Антанты, к Польше и Румынии, захватившим русские земли. Мы отмечали также, что и в славянском деле, не касающемся прямо России, в сербо-болгарской распри, Бенеш сумел занять ту позицию, которой требовали высокие идеи его учителя: идеи справедливости и прав малых народностей на

национальное самоопределение. Наконец, нужно подчеркнуть, что Чехия старается соблюсти те же начала и по отношению к русскому населению в ее собственных пределах: к подкарпатским русским, вошедшим в состав чехословацкого государства.

Словом, редко представляется случай, в котором идеал так близко подходил бы к действительности в государственных делах, как это мы видим в новорожденном государстве благодаря деятельности сегодняшних гостей Франции. Не менее, чем наши бывшие союзники, мы имеем основание приветствовать гостей и радоваться тем новым знакам европейского уважения и внимания, которые они получают сегодня и в ближайшие дни.

Последние новости. 1923, 16 октября

В.Д. НАБОКОВ (К ГОДОВЩИНЕ СМЕРТИ)

Ровно год тому назад в зале берлинской Филармонии, перед началом моей лекции, мы дали друг другу примирительный поцелуй (я скажу дальше, почему он был примирительным). А по окончании лекции я увидел привнесенное в лекторскую бездыханное тело того, с кем в течение почти двух десятилетий стоял плечом к плечу в одних рядах русской общественности и кого с гордостью называл своим другом. Быть может, слишком рано подводить итоги наших личных и общественных отношений. Но в этот день мне хочется напомнить друзьям русской прогрессивной общественности о том, чем был для нее Набоков.

Из ранних дней нашего знакомства мне вспоминается 1903-й год, Париж, Пасси, квартирка П.Б. Струве, тогда издававшего «Освобождение», — и в этой маленькой мещанской квартирке как-то не подходившая к ней красивая, видная фигура аристократа, камер-юнкера Набокова с его молодой женой, тогда совершавших свое свадебное путешествие. К Струве Набоков относился с нескрываемым пиететом юного неопита, недавно введенного в этот мир русской либеральной публицистики, сделавшейся революционной. Под влиянием круга молодых юристов, сгруппировавшихся около еженедельника «Право»¹, Набоков тогда только что прорвал ограду круга, к которому принадлежал по рождению и воспитанию и с которым никог-

¹ «Право» — газета, выходила в Петербурге в 1898–1917 гг.; с 1905 — кадетского направления. Издавал В.М. Гессен.

да впоследствии не разрывал совершенно. Из этого круга он принес нам законченную европейскую культуру, любовь к изящной жизненной обстановке, связанную с живым и просвещенным интересом к искусству, живописи, музыке, — в особенности к новым русским явлениям в этой области. Набокову я обязан тем, что он вытащил меня в Мюнхене и заставил почувствовать и полюбить Вагнеровскую тетraloгию в Байретском исполнении. Сам он посещал эти циклы ежегодно. Помимо широкой и подлинной образованности, Набоков вынес из своей среды мягкое и сдержанное обращение с людьми, умение ладить с самыми различными характерами и мировоззрениями, дисциплину и чувство долга по отношению к своим общественным обязанностям. От себя он прибавил к этим проявлениям воспитанности. Удивительное умение схватить оттенки всякой мысли и выразить ее, как бы запутанна и сложна она не была, в блестящей словесной формуле, с мастерством первоклассного стилиста. Выбранная им специальность криминалиста помогала ему отшлифовать этот природный талант. Но и далеко за пределами юридической науки, в области ли политики или в области публицистики, тот же талант спокойного анализа и врожденное чувство меры сделали Набокова образцовым «лидером», прекрасным председателем политического собрания или деловой комиссии, выдающимся передовиком газеты, блестящим мемуаристом.

Не нужно говорить, что в избранной им политической среде он сразу, без всякого труда и усилия выдвинулся в первые ряды. Он отдавал политике и литературе только часть самого себя: но тем более дорожили его друзья тем, что он давал. По праву он вошел в состав первого русского представительства. В другой, более подготовленной к политической жизни, стране, за этим началом последовала бы яркая политическая карьера. Набоков сделался бы одним из крупных вождей своей родины. В России он попал в тюрьму за Выборгский манифест¹, — и лишился избирательных прав в следующие Думы. Это невольное отстранение от того дела, к которому он, быть может, более всего был призван, положило пределы его личному вкладу в историю русской общественности. Чувство личного достоинства не позволяло ему искать и добиваться, а вкус к спокойной, красивой жизни, быть может, не побуждал особенно жалеть о том, что роди-

¹ Речь идет о Выборгском воззвании, обращении к «народу от народных представителей», принятом на совещании 9–10 (22–23) июля 1906 г. в г. Выборге, где после роспуска I Государственной думы собрались бывшие депутаты. В нем прозвучал призыв к населению в знак протеста против роспуска Думы отказаться от уплаты налогов, не давать рекрутов, не признавать законов, заключенных без санкции Думы.

на не потребовала от него дальнейших жертв. Набоков ограничился участием в литературной работе, в редакционных совещаниях газеты «Речь»¹ и в деятельности центрального комитета партии народной свободы, к которой принадлежал с самого ее основания. Там и здесь он был окружен друзьями, понимавшими его. Отсутствие возможности стать прямо и непосредственно в ответственное отношение к государственной работе последних двух Дум спасло его от необходимости уточнять свое личное отношение к жгучим вопросам жизни, а следовательно, и от возможности острых расхождений с политическими единомышленниками. В партийной деятельности Набоков стоял ближе к вопросам государственно-правовым, чем к вопросам социальным. Судьба хотела, чтобы в истории русского представительства имя Набокова связали с фразой, которой он менее всего мог быть доволен как государствовед и строгий конституционалист: «исполнительная власть, да подчинится власти законодательной». Но политическая репутация часто создается на случайных или даже выдуманных эпизодах. Факт, которым Набоков мог гордиться, — это было его участие в составлении законопроекта первой Думы об отмене смертной казни.

В ряду блестящих и ярких характеристик, данных Набоковым в воспоминаниях о «Временном правительстве»², есть одна очень злая — характеристика Шингарева. Набоков хочет быть объективным — тут, как всегда, но не может. Тут его предал Шингарев — слишком чуждый ему социально-общественный тип: ряд черт в нем раздражают эстета. Шингарев далек Набокову и как представитель социального течения партии к.-д. Он слишком «интеллигент» в старом смысле, и его выстраданный кадетизм, плод жизненной борьбы со старым интеллигентством на *его же* почве для Набокова непонятен, потому что не нужен: ему традиционный русский либерализм достался вместе с воспитанием без труда. Так, характеристика Шингарева помогает нам понять самого Набокова.

Мне трудно обрисовать роль В[ладимира] Д[митриевича] в нашей партийной жизни за последнее десятилетие перед революцией. В постоянной близости так много делалось сообща, что трудно выделить долю каждого. Могу только сказать, что Набоков «отдавал себя общему делу во всей той мере, в которой мы этого хотели» но никогда не отдавал себя всего. На наших редакционных и партийных собраниях в его особняке на Морской постоянно чувствовалась большая часть

¹ «Речь» — газета, центральный орган партии кадетов, выходила в 1906–1917 гг. в Петербурге. Редактировалась И.В. Гессеном и П.Н. Милуковым.

² Набоков В.Д. Временное правительство // Архив русской революции. Т. 1. Берлин, 1922.

его жизни, которая проходила в стороне от партийных друзей, Но надо сказать, что никогда исполнение партийного и общественного долга от этого не страдало. Всегда, когда это было нужно, мы чувствовали Набокова с нами.

Только война 1914 г. заставила его уйти от партийной и литературной деятельности принципиально, — ибо политика была запрещена военным временем, а действовать тайком Набоков не мог. В этом состоянии, т.е. несколько врасплох, как видно и из его мемуаров, его застала революция 1917 г. Конечно, в такой момент мы не могли оставить Набокова без дела. С первых же дней революции мы приобщили его к нашей торопливой работе. Если бы не было необходимости пригласить Керенского на пост министра юстиции, возможно, что на этом посту оказался бы Набоков. Из того, что осталось, он сам выбрал себе должность управляющего делами Временного правительства.

Набоков принял положение философски, т.е. так, как оно сложилось. Глубокое недовольство положением было у нас с ним общее, но он не делал из него выводов. Судьба и тут поставила его в положение скорей наблюдателя, чем лица, призванного принимать ответственные шаги. Редизируя*, по нашей общей просьбе, акт отречения Михаила Александровича, он спокойно размышляет, что было бы, если бы этого отречения не было. Рассказывая о моей борьбе внутри правительства за сильную власть, о моем отрицательном отношении к коалиции с социалистами в правительстве, Набоков мне сочувствует. Но он не хочет принять последствия — моей отставки. И опять-таки он уходит вместе со мной, когда эта отставка становится свершившимся фактом. Однако и в дальнейшем он остается в дружественных отношениях к социалистам и пользуется, как сам отмечает это, их расположением, являясь не раз посредником в их переговорах с кадетами. Он не согласен со мной относительно неизбежности продолжения войны, но сдерживается и молчит, когда в его же квартире мы с Шингаревым убеждаем в этой неизбежности Верховского накануне его отставки. Таким образом, оставаясь сам немножко вне событий, которые текут мимо него, он сохраняет свободу мнения — не для публичного реагирования, а для своего душевного уюта.

Революция проиграна — и оба мы, я раньше, Набоков несколько позже, оказываемся на юге России: я в Ростове, Набоков в Крыму. Борьба с большевиками вместо парламентского характера принимает характер военный. Положение Набокова — не на главном театре событий — дает ему возможность уйти в себя. Он пишет свои мемуары. В июне 1918 г. мы вновь встречаемся в Киеве. К моей глубокой радости, оказывается, что, несмотря на коренные перемены в поло-

* Составляя.

жении, мы не утратили духовного контакта. В те дни, когда из Москвы несутся партийные громы против меня по поводу пресловутой «перемены ориентации», — Набоков на моей стороне. Он даже сам проводил в Крыму аналогичную резолюцию. Но из своего общения с очень правонастроенными высокопоставленными кругами в Киеве он почерпает данные, которые показывают нам обоим, куда ведет эта ориентация. Попутно он принимает и в Киеве живое участие в местной партийной работе. Посещение его партийного собрания германской полицией дает нам повод сыграть партию в шахматы, пока длится допрос и обыск.

Через пять недель Набоков возвращается в Крым. Я через несколько месяцев уезжаю в Яссы и за границу. Вновь мы встречаемся в Лондоне, куда Набоков переезжает после крушения Крымского правительства, в котором он занимал министерский пост. У меня сохраняется недоконченный рассказ Набокова, в котором он хотел дать отчет о своем участии, — в первый раз в ответственной роли, — в этом правительстве. Эпизод этот, видимо, причинил ему глубокое огорчение и вызвал даже моральные страдания. Крайне сложное положение между деникинскими генералами и левыми элементами крымского земства, попытка спасти либеральные принципы власти в окружении военной диктатуры, общее непонимание и, в заключение всего, оскорбительная ликвидация правительства союзниками — все это создало в Набокове чувство глубокой обиды за незаслуженные обвинения, при полном нежелании обвинителей понять положение и при невозможности объясниться.

С моим личным настроением возраставшего недовольства тактикой белого движения, мне казалось, я понимал Набокова, привезшего из Крыма подтверждение и оправдание моей собственной эволюции влево. Было поэтому естественно, что и в образовавшемся в Лондоне «Комитете Освобождения»¹ Набоков вместе со мной оказался на левом фланге. В этом смысле он помогал мне вести еженедельник комитета, издававшийся в 1920 г., «Новая Россия». Но и тут, — чего я не рассмотрел сразу, — он не отдавал всего себя. Чем дальше, тем чаще прорывались у него выражения недовольства и осуждения по отношению к революции вообще. Мне казалось, что он отражает настроение своих старых друзей из прежних влиятельных сфер, встреченных в Лондоне. Мое новое настроение крепло, настроение Набокова колебалось. Он, однако, принял поручение устроить в Париже совещание широкого состава с участием и левых, и правых. Предприятие,

¹ «Комитет освобождения России» был создан в Лондоне в январе 1919 г. для поддержки Белого движения на средства правительства Колчака. Комитетом издавался журнал «The New Russia».

впрочем, оказалось неосуществимым. После дифференциации общественного антибольшевистского движения в процессе «белой» борьбы, «общего фронта» уже быть не могло и приходилось делать выбор. Набоков, правда, объяснил неудачу иначе — и затаил в душе недовольство руководителями парижской группы.

Так стояло дело, когда Набоков в ноябре 1920 г. перебрался в Берлин, где должен был стать соредактором (а я — сотрудником) «Руля»¹. Я с января 1921 г. переехал в Париж, где в совместной работе с парижской группой были сформированы основы «новой тактики». Первое мое печатное заявление о новой тактике появилось — теперь это странно звучит — как раз в «Руле» и в «Общем Деле»².

Скоро, однако же, я заметил, что «Руль» стал в резкую оппозицию той линии, которая была взята в Париже. Положение особенно обострилось, когда из общих принципов «новой тактики» парижской группы были сделаны (в декабре 1920 г.) практические выводы. Это было, во-первых, решительное отрицание преемственной связи с методами антибольшевистской борьбы, практиковавшимися «белыми» армиями и их политическим окружением. Во-вторых, как прямое следствие этого отрицания, это была попытка основать новую группировку общественных элементов за границей («национальный комитет») на уединении элементов, покончивших с претензиями старого поместного класса с идеей возвращения к старой монархии и с надеждой освободить Россию извне, при помощи белых армий и иностранного вмешательства. В письме от 24 декабря Набоков отвечал мне на мою попытку выяснить позицию «Руля»: «Разногласие наше, по-видимому, решительное и неустранимое сейчас». Особое раздражение в среде наших противников вызвали не столько существо нашей позиции, которое в газетной полосе обыкновенно обходилось молчанием, сколько ее второстепенные бедствия, легче поддававшиеся демагогической трактовке: отрицательное отношение к дальнейшему существованию армии, вызывавшее «стыд» и моральное осуждение Набокова, и сближение с с[оциалистами]-р[еволюционер]-ами, среди которых были непереносимый Керенский и Чернов, ведущие в Берлине совершенно непримиримую линию (в «Голосе России»³).

В.Д. Набоков с решительностью, вообще ему не свойственной, стал в ряды наших врагов, — не отождествляя себя, конечно, с их полемическими приемами. С таким настроением ему суждено было нанести

¹ См. примеч. 1 на с. 174 наст. изд.

² «Общее дело» — газета, выходившая в Женеве в 1877–1890 гг. Редактировалась А.Х. Христофоровым, В.А. Зайцевым, Н.А. Белоголовым, Н.А. Ореньевым.

³ «Голос России» — общественно-политическая газета. Издавалась в 1919–1922 гг. в Берлине.

последний удар единению в нашей собственной партийной среде. Он приехал в Париж к третьему заседанию совещания членов центрального комитета — партии народной свободы (30 мая 1921), созванного по настоянию наших противников. Его первым делом было оглашение двух документов, которые сразу положили между ним и нами непроходимую грань, один документ был резким осуждением того, что в Берлине понимали под нашей «новой тактикой» от имени берлинской партийной группы. Второй документ был одобрением идеи Бурцевского национального съезда¹, на который Набоков был командирован в качестве официального представителя. В единственной своей речи на совещании Набоков упрекал меня, что я не хочу «произвести в нашей партии ту операцию, которую надо было сделать еще в октябре 1905 г., когда не вошли к нам Кускова и другие, отрицавшие тогда конституционалистов-землевладельцев». Наше основное разногласие он сформулировал так: «П.Н. Милоков отрицает теперь национальные лозунги. Бойтся слова “национальный” и говорит вместо него о демократии. Он же, выдвигая идеи национального характера, говорит о России демократической, бессловной и конституционной, но говорит о заветах, о завоеваниях революции, которая была катастрофой, ибо в результате ее есть только — и то в нелепых формах — переход земли к крестьянам». Я сделал последнюю попытку предупредить раскол, предложив отказаться от вынесения резолюции, которая могла быть принята лишь незначительным большинством, и ограничиться объективным экспозе* двух точек зрения, столкнувшихся в партии. Но я встретил решительное противодействие Набокова. С его умением руководить и формулировать ему нетрудно было провести то решение, к которому он стремился. В конце концов, это было и лучше. Совершилось то, что должно было совершиться. Грань между двумя лагерями русской общественности прошла как раз посреди партии народной свободы. Операция разделения была болезненна, но она была необходима и, благодаря агрессивности наших противников, стала неизбежной. Соображения личной дружбы, старых близких отношений должны были отойти на второй план.

Мы разошлись с Набоковым. Он пошел на национальный съезд — и играл там руководящую роль. Я видел внутреннюю фальшь и двусмысленность объединения, игравшего лозунгом «национальный», и предпочел идти путем, который вел к сплочению республиканско-демократических элементов, — сплочению, цель которого сберечь для

* Изложение.

¹ Съезд Русского национального объединения (сокращенно — Национальный съезд) заседал в Париже с 5 по 12 июня 1921 г. Подготовка съезда осуществлялась В.Л. Бурцевым.

новой России творческие элементы революции и предопределить реставрацию. После обоих парижских съездов стало трудно сохранять старый тон наших личных отношений. Мы больше не виделись и не вели переписки.

И вот — эта встреча в лекторской комнатке в Берлине 28 марта 1922 г. ... Мы встретились, быть может, неожиданно для нас обоих, как старые друзья. Несколько слов, брошенных мимоходом, обещали новый серьезный разговор, новую попытку перетряхнуть спор по существу, до чего-нибудь договориться, как в доброе старое время. А в соседнем зале сидели убийцы, ныне прославляемые Винбергом... Для матерых монархистов благообразный монархизм Набокова мог оказаться, пожалуй, опасней моего республиканства... И Набоков погиб, встав на защиту не только старого друга от покушения, но на защиту правовых форм, борьбы от методов «Союза Русского Народа». Убийца заявил сгоряча, что не жалеет об убийстве. Еще бы! Правовая идея, которую представлял Набоков, не менее опасна для идеалов Винбергов и Марковых вторых, чем идея социальная, которой они не могли простить Герценштейну.

Последние новости. 1923, 28 марта

П.Н. НОВГОРОДЦЕВ

Умер П.Н. Новгородцев. Треволнения эпохи гражданской войны и изгнания тяжело отразились на его организме, преждевременно надорвав его, — и сердечная болезнь сперва заставила его отказаться от привычной и любимой академической работы, а потом свела его в могилу. Мы в последнее время оказались в разных политических лагерях; но это не мешает мне свято хранить память о длинном жизненном пути, пройденном нами вместе, в одних рядах, в служении общему делу — демократии и свободы.

Некоторые личные и идеологические особенности П.Н., правда, давно уже хранили в себе возможность будущих расхождений. Новгородцев был человек волевой, и силу своей воли он сосредоточил на работе в административных академических должностях. Все знающие эту работу в Москве относились к ней с величайшим уважением. Твердость основного направления Новгородцев умел соединять с умением убеждать, а не просто приказывать. Но приобретенные в администрации привычки все же клали некоторую грань между П.Н. и его ближайшими друзьями.

Другие различия были в исходных точках мысли и мировоззрения. Новгородцев принадлежал к московской школе религиозных философов, к кружку Трубецкого, и разделял их взгляды. Эта подпочва веры, направлявшей научную мысль, всегда чувствовалась у него, но резко и ярко она вышла наружу, как кажется, только в эмиграции, с тех пор как Новгородцев сблизился с евразийцами и стал развивать теорию превосходства восточно-религиозного идеала над западной культурой, в кризисе которой он был убежден давно.

Из этих настроений вытекал и выбор тем для научных исследований, начиная с первой диссертации «Историческая школа юристов» (М., 1896) — первом европейском построении цельной системы национального консерватизма, продолжая работой о «Кризисе современного правосознания» (М., 1909), где Новгородцев проследил «крушение веры в современное правовое государство», и кончая исследованием «Об общественном идеале» (М., 1917; 3-е изд. Берлин, 1921), в котором он «поставил целью показать, что то же крушение старых верований проявляется и в отношении к неизведанным еще укладам новой жизни, о которых говорят социализм и анархизм».

При своей глубокой образованности и всестороннем знании предмета, Новгородцев, конечно, не мог ограничиться банальным и огульным отрицанием новейших форм демократии и новейших учений об общественном идеале. В том же предисловии к последней книге, из которого взяты предыдущие цитаты, он говорит: «Только в свете этого вывода (о кризисе) получают настоящее свое оправдание и исторические пути правового государства: оно не принесло и не могло принести с собой совершенства жизни... но оно открыло и еще более должно открыть в дальнейшем своем развитии простор для проявления всех жизненных возможностей, всех закономерных притязаний, всех прогрессивных стремлений. Крушение веры в совершенное правовое государство есть только крушение утопии, с отпадением которой остается, однако, в полной силе настоящее историческое призвание правового государства в его практических стремлениях и реальных достижениях. Но точно так же и крушение усилий социализма и анархизма нисколько не колеблет тех жизненных начал, которые бесспорно заключаются в этих учениях».

С такими взглядами вполне гармонирует принадлежность Новгородцева к партии народной свободы. Он участвовал в создании партии и был членом ее центрального комитета. В первой Государственной Думе Новгородцев был докладчиком по законопроекту о неприкосновенности личности, и его доклад уже был поставлен на повестку, но накануне этого дня Дума была распущена. Вместе с другими членами партии покойный участвовал в Выборгском манифесте и разделил последствия этого участия: был привлечен к суду, отбыл

заключение в Таганской тюрьме и лишился избирательного права. Последнее обстоятельство отдалило его от активной политической жизни, и временно он прекратил партийную деятельность. Но революция снова вернула его в ряды партии, и в этот момент он, со свойственными ему талантом и энергией, поддерживал ту политическую линию, которую вел и я, выступая в комитете и на съездах партии против потворства крайностям революции. В дни московского большевистского восстания, на перепутье между Петроградом и Ростовом, я был его гостем.

Мы еще раз встретились, как друзья и участники общей политической деятельности в Киеве времен Скоропадского. Но тут уже было положено начало последней политической дифференциации.

В истории русской общественности Новгородцев останется одним из самых крупных представителей русского либерализма в его беспримесном виде. Доминирующая у него идея личности, как абсолютной цели общественного прогресса, явилась связующим звеном между его религиозно-философскими убеждениями и его политическими построениями. Личность, не корректированная социальностью, — это центральная идея старого, классического либерализма, опоздавшего развиться в России. Это же и особенность того направления германской науки, под влиянием которой оформились идеи Новгородцева. Английская и французская идеология менее гармонизировали бы с его основными убеждениями.

В эмиграции П.Н. являлся одним из идейных вождей националистического течения, которое он освещал своим авторитетом в глазах молодежи. С этим течением, после разрыва с правым крылом партии народной свободы, мне приходилось вести активную борьбу. Но я не хотел вмешивать в эту борьбу личности П.Н., которая продолжала внушать всем, знавшим покойного, самое глубокое уважение. Мне в особенности ясно, что личность Новгородцева не исчерпывается тем выражением, которое она получила в последней борьбе, и что не этим он приобрел то неоспоримое право на видное место в истории русской общественности, которое за ним останется.

Преклонимся в лице Новгородцева перед памятью одного из вождей русского освобождения от оков старого порядка, и пожалеем, что уродливые условия жизни не дали направлению Новгородцева того влияния на широкие круги, какого оно заслуживало, — не только благодаря личному таланту покойного, не только благодаря его замечательному преподавательскому дару изложения, но и благодаря самому существу тех мыслей, которые он разделял и которым активно служил в течение большей части своей политической и общественной деятельности.

Последние новости. 1924, 13 апреля

М.В. РОДЗЯНКО

Умер М.В. Родзянко. В лице покойного сошла в могилу одна из самых красочных фигур столь богатого событиями последнего десятилетия. Октябрист и политический противник, Родзянко силой событий мало-помалу превратился в лояльного союзника прогрессивного крыла русской общественности. Что вызвало эту перемену?

Отчасти Мих. Влад. сам рассказал об этом в своей статье в V книге «Архива русской революции»¹. Это была, прежде всего, безумная политика царского правительства, в прямой связи с безответственными влияниями, возобладавшими при дворе. Это было, затем, то беспомощное положение, в каком оказалась Россия с такой верховной властью и с таким правительством в момент величайшей опасности для родины, созданной полной нашей военной неподготовленностью и неудачами во время войны. Но к этим объективным условиям, выведшим партию Михаила Владимировича уже после выборов в четвертую Думу из рядов сторонников правительства в ряды левого центра и правой оппозиции, следует по справедливости присоединить субъективные условия, заключающиеся в личных особенностях покойного председателя Государственной Думы. Это, во-первых, его горячий патриотизм и неподдельная любовь к родине, тревога за ее счастье и за ее будущее. Во-вторых, кипучая энергия и активность М.В., правда нуждавшаяся в руководстве и правильном направлении, но при соблюдении этого условия необычайно продуктивная.

Близкий по своему прошлому и по своим связям с высшими правительственными и придворными кругами, Родзянко явился незаменимым осведомителем руководящих кругов Государственной Думы о том, что там творилось, и посредником при сношениях Думы с этими кругами и с верховной властью. Родзянко не имел тех конституционных сомнений, которые связывали в этих отношениях председателя первой Государственной Думы Муромцева. И он широко использовал председательское право высочайшего доклада. Этим он, несомненно, поднял значение Государственной Думы как государственного учреждения, и влил в политическую оппозицию реальное содержание. Переписка Александры Федоровны показала, как Родзянко был неприятен двору в роли русского маркиза Позы. Он умел говорить «истину царям» без улыбки, — и при тогдашних условиях это была самая сильная из всех возможных форм оппозиции. Только при условии этого рода личного влияния своего председателя Дума получила

¹ «Архив русской революции» — эмигрантское серийное издание, издававшееся И.В. Гессеном и выходившее в 1921–1937 гг. Содержало материалы по истории революции и Гражданской войны.

ту возможность воздействия на военные, а отчасти и на финансовые вопросы, которое сообщило ей силу, значительно возвышавшую ее формальное значение в системе государственных учреждений.

Родзянко, конечно, прав в цитированной статье, что Дума не готовила революции, а, наоборот, пыталась ее предупредить. Он прав и в том, что именно этой цели должен был служить так называемый «прогрессивный блок», созданный на почве общего сотрудничества партий (за исключением крайних правых и крайних левых). Но, с другой стороны, несомненно, что, при условии бесплодности этих попыток повлиять на власть в смысле ее эволюции, созданная Думой большая политическая сила обращалась против правительства. А так как эта сила, а не какая-нибудь другая, поддерживалась вождями армии, то столь же верно, что именно Государственная Дума подготовила быстрый и бескровный успех русской революции.

В своих всеподданнейших докладах Родзянко пытался раскрыть царю глаза на приближение революционной опасности. Но не по его воле его предостережения остались столь же бесплодными, как и его предшествовавшие попытки удалить от двора Распутина. Уверенность, что влияние Распутина открывает дорогу германской интриге, было тогда всеобщее, и Родзянко разделял это всецело. Враги Думы и враги Родины сидели, абсолютисты и германofilы, на крайней правой, и борьба с ними Думы, с Родзянкой во главе, была не всегда безуспешной. Жертвами Думы сделались один за другим Сухомлинов, Маклаков, Щегловитов, Штюрмер. Трофеем ее было Особое совещание по обороне, спаявшее с нею армию. Эти победы Думы еще более, чем ее поражения, вырыли пропасть между Думой и двором и сделали неизбежным насильственный исход.

Вместе с Думой Родзянко, однако, был отодвинут революцией на второй план. Примириться с этим положением он не мог, но принужден был ему подчиниться. Долю ответственности, которую в своей статье Родзянко возлагает за этот исход на меня, я принимаю. Для меня было бесспорно, что Дума должна разделить участь всех учреждений старого режима, с которыми была координирована самодержавием. Революционной России нечего было делать с бессильной палатой и с избранными по июньскому ордонансу. Но Родзянко теперь перенес свою привычку говорить правду царям — на временное правительство. И в этом я ему всячески содействовал. Я писал тексты резолюций Совещания общественных деятелей¹ и того заявления

¹ Совещание общественных деятелей проходило в Москве с 8 по 10 августа 1917 г. Председателем был М.В. Родзянко. На совещании была принята предложенная П.Н. Милюковым резолюция с призывом к А.Ф. Керенскому прекратить всякое сотрудничество с социалистическими партиями.

четвертой Думы московскому августовскому Совещанию, которого Родзянке не удалось огласить за истечением срока его речи.

Дальше наши дороги разошлись. При организации первого вооруженного сопротивления большевистскому захвату Родзянко был бы одиозной фигурой. Он это понял сам — и вместо Ростова очутился в Екатеринодаре. С добровольческой армией он соединился в дни ее самых тяжелых испытаний, накануне смерти Корнилова. Соединился, но не слился. Ибо бывший председатель Государственной Думы, только что бывший слишком правым для зачинавшейся армии, опять оказался слишком левым для начавшего преобладать в ней настроения. Ненависть против революции — революции вообще, не различая течений в ней — распространилась и на Родзянку, который был причислен недоумевающими патриотами к преступным деятелям революции. Здесь начинается мартиролог Родзянко, не прекратившийся до самой его смерти. Трудно себе представить, сколько оскорблений и унижений должен был перенести старый, заслуженный общественный деятель в обстановке Белграда от птенцов Марковского гнезда, досыта отмстивших ему тут за неудачи своих вождей в Государственной Думе. Его статья есть попытка самооправдания перед этим фронтом, — быть может, напрасная. Но, не унизившись до одобрения того, чему он не сочувствовал, ни перед царем, ни перед временным правительством, Родзянко не мог закончить своей жизненной карьеры капитуляцией перед черносотенцами, чтобы получить от них покой на закате. Нельзя без волнения читать слова, которыми избранный глава русского представительства, поднявший его на наибольшую высоту, какой оно могло достигнуть в условиях старого режима, начинает и кончает эту не раз цитированную здесь статью.

«К прошлому возврата нет и быть не должно. Но Россия должна воскреснуть на основании горячего и безграничного чувства патриотизма, чувства любви к своей родной земле, чувства сознания необходимости вновь воссоздать — и в лучшем устройстве — нашу великую родину, памятуя, что в течение тысячи лет наши предки создавали ее путем горя, страдания и потоков крови, в цепях рабства и угнетения, в тяжких лишениях и несправии. Пусть из (современных) страданий мы поймем, что только вокруг иных начал народной жизни может создаться мощное и сильное государство... Люди, бывшие избранниками народа и выразителями его нужд и стремлений, обязаны всеми возможными способами подготовить и выковать такое мнение и приготовить этим Россию к предстоящему, надеюсь, в близком будущем разумному учредительному собранию».

Последние новости. 1924, 29 января

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ-ГРАЖДАН

7 января 1918 г. в городе Ростове, где я тогда находился, дошли слухи об ужасном событии, седьмую годовщину которого мы сегодня поминаем. Дорогие имена — Кокошкин, Шингарев — стояли четко в телеграмме, но мы, близкие к ним люди, не хотели верить. Как, Шингарев и Кокошкин, благороднейшие люди, искренние демократы, верные заветам революции, убиты во имя этой самой революции, людьми из народа? Не может быть! Это слишком бессмысленно, слишком внутренне неправдоподобно. Нет, не может быть, это просто вздорный слух, газетная утка!

На другой день известие подтвердилось с потрясающими деталями. Весть, потрясая нас, подняла на ноги весь город. Огромная площадь перед собором была полна народа, пришедшего помянуть **своего** Андрея Ивановича. Здесь его так недавно видели, так помнили революционного министра, со слезами на глазах молившего народ дать хлеб и спасти революцию.

Пришли новые телеграммы. Сквозь скудные строки чувствовалось, что весь Петроград так же замер от ужаса, как замер Ростов. На момент казалось, что власть Ленина и Троцкого поскользнется в этой крови, — первой крови мучеников, которая, увы, показала — тоже впервые — тиранам России, как много им позволено.

Я десять лет просидел с А.И. Шингаревым на одной и той же скамье Таврического дворца. Несколько лет перед тем мы вместе делали партийную работу, вели предвыборные кампании и т.д. На моих глазах А.И. развернулся из скромного, трудолюбивого земского работника в первоклассного политического деятеля, по праву занявшего совершенно исключительное положение в «Думах 3-го июня»¹. Я помню эти первые, тяжелые месяцы, когда мы вместе вошли в осиротевшую белую залу, откуда были удалены государственным переворотом народные избранники первой революции. Слепая злоба, животная ненависть встретили нашу маленькую кучку оппозиционеров в этой зале. Нам почти не давали говорить: зала гоготала и улюлюкала, когда мы пробовали напоминать о правах народа, об интересах масс, о великой русской демократии.

¹ Имеется в виду парламентская система, сложившаяся после роспуска II Государственной думы и обнародования «Положения о выборах в Государственную думу от 3 июня 1907 г.». По новому закону значительно увеличивался имущественный ценз, что привело к уменьшению количества депутатов от непривилегированных слоев населения.

Прошло немного времени, и А.И. Шингарев, один из первых в наших рядах, заставил себя слушать. И не только подкупающая искренность тона, обезоруживающая мягкость и доброта, неподкупная честность, светившаяся в этих прямых, ясных глазах, умевших, однако, зажигаться и гневом: не только эти качества хорошего человека расположили к нему враждебную аудиторию. А.И. говорил дело, — ясным, простым, образным языком он делал понятным даже депутатам-крестьянам самые сложные проблемы государственного хозяйства. Когда он успел набраться знаний, дававших ему возможность не павать перед правительственными специалистами; когда успевал он подготовиться к ежедневно менявшимся, сложным и трудным очередным темам, обсуждавшимся в думских комиссиях? Это было его тайной. Мы узнали эту тайну тогда, когда через три-четыре года непосильной работы покрылось глубокими морщинами молодое лицо А. И-ча, втянулась как-то в себя его стройная фигура; добрые, ясные глаза стали отражать затаенное страдание, начались припадки болезни... Напрасны были наши убеждения, чтобы А.И. отошел немного от дела и отдохнул. А.И. так успел опередить нас всех в детальном изучении очередных вопросов финансового, экономического, социального законодательства, что ему просто не на кого было сложить раз поднятое на себя бремя. А он все хватался, с какой-то ненасытной жадностью, все за новые и новые набегавшие дела, гнулся под их тяжестью и работал, работал, не забывая в то же время хлопотать во всевозможных ведомствах за невероятное количество просителей, которые целыми дюжинами дежурили, дожидаясь его, в приемной Г. Думы и проникали в его квартиру.

Нельзя думать, что все это была одна черная, мелочная работа. А.И. умел освещать и мелочи одной общей политической мыслью. Но он брал на себя, главным образом, тяжелые, крупные темы. Он брался обыкновенно за самое важное, что становилось на очередь в нашей политической борьбе. Много забот и времени отняло у него аграрное законодательство Столыпина. У бывшего земского врача народнической складки естественно было ожидать отрицательного отношения к реформе Столыпина. Но тут была не одна народническая идеология. Тут было глубокое знание народной жизни, деревенского быта и действенная живая любовь к народу. Более горячего печальника за народ, чем был А.И., я не знал в среде наших политических деятелей. Теперь в обычае видеть в Столыпинской реформе¹ идею водворения

¹Столыпинская аграрная реформа означала поворот в аграрно-политическом курсе самодержавия: разрешение крестьянам выходить из общины, укрепление крестьянского банка, принудительное землеустройство и переселенческая политика имели целью ликвидировать малоземелье при

крестьянской собственности и противопоставлять ей старые народнические фантазии. В нашей борьбе со Столыпинным делом стояло далеко не так просто. Мы не были против эволюции форм крестьянского землевладения в сторону собственности. Мы были против насильственной ломки крестьянского быта во имя определенной политической идеи, — против «ставки на сильных» — в интересах сохранения дворянского землевладения. Мы требовали уважения к формам крестьянского быта, о котором не всегда помнят теперь.

После крестьянского вопроса А.И. погрузился в бюджетные вопросы, потом в вопросы национальной обороны, затем в вопросы финансовые, быстро и, на вид, легко овладевая все новыми и новыми сферами специальных знаний. «Какая ясная голова», — сказал мне один французский приятель в Париже, поговорив с полчаса с А.И. во время нашего парламентского визита 1916 года¹. Эта ясная голова среди стольких путаных и эта последовательная социально-политическая мысль среди толпы, не знавших, куда идти, выдвинули А.И. на первое место и сделали его незаменимым — даже для его политических противников. Его парламентский авторитет рос непрерывно, и было радостно смотреть со стороны, как все это возмраставшее влияние несколько не отразилось на поразительной простоте и скромности характера А.И. Это была не только «ясная голова»; это было золотое сердце, от которого отскакивали все жизненные искушения. До конца жизни А.И. так и остался кристально чистым, безукоризненно честным, широко доступным, трезвым судьей самого себя и своих возможностей, суровым в исполнении долга и в проведении принципа, мягким, как ребенок, в личных отношениях.

В короткие месяцы революции он был одним из немногих, которые делом запечатлели свои демократические убеждения. Не знавший личных врагов, как он должен был быть больно поражен в душе, увидев занесенную над собой руку убийцы. За что? Это скорбное изумление составляет основной тон его дневника, написанного в тюрьме. Я думаю, оно должно было отражаться в его честных глазах, искаженных смертью.

Ф.Ф. Кокошкин, как и А.И. Шингарев, был моим ближайшим другом, и потеря обоих точно оторвала большой кусок моей личной жизни. Такой же честный глубоко убежденный демократ, так же готовый на борьбу и на тюрьму, Кокошкин был человеком совсем другого

сохранении помещичьего землевладения, ускорить расслоение деревни, создать в лице зажиточного крестьянства дополнительную социальную опору самодержавия.

¹ См. подробнее: Милоков П.Н. Воспоминания. В 2-х т. М., 1990. Т. 2. С. 198–221.

склада. Воспитанный в другой среде, гораздо более оторванной от непосредственного общения с русскими черноземными типами, он, скорее, чтением и изучением, чем впечатлениями жизни, дошел до своей любви к народу. И сфера борьбы была у него другая: он действовал пером и живой профессорской речью. Своеобразный недостаток произношения как бы заранее ограничивал непосредственную сферу его влияния культурным кругом. Это тоже была поразительно ясная голова. Но этот тонкий мыслительный механизм, дисциплинированный строгой наукой, достигал своей цели не столько упрощением и схватыванием главного, сколько рассечением и точной классификацией сложного. Даже и внешний вид обоих дорогих покойников соответствовал этой разнице. А.И. Шингарев надорвал свой здоровый, сильный организм, взваливая на него пудовые грузы. Организм Кокошкина был хрупкий и непрочный с самого начала. Кокошкин вечно болел, и только самое внимательное изучение собственного организма и неумолимо-строгий режим давали ему возможность урывать от болезни часы и дни для серьезной работы. Шингарев работал, так сказать, вширь, экстенсивно, во весь размах своей богатырской натуры. Кокошкин работал внутрь, интенсивно, оттачивая свою мысль и представляя ее результаты в тонкой, чеканной обработке, в которой, бывало, не знаешь, чему отдать предпочтение: поразительной меткости и точности определения или спокойному изяществу формы. И смерть, с которой А.И. Шингарев отчаянно боролся в муке, сразу пресекла непрочно державшуюся нить жизни Ф.Ф. Кокошкина.

Понятно, что человек таких качеств и особенностей не мог иметь широкой сферы влияния парламентского и политического деятеля. Кокошкин был тем не менее известен широким кругам, и значительная часть его работы прошла в тесной обстановке профессорской аудитории или вылилась в форму анонимных газетных статей. Последней стороной своей деятельности, передовыми статьями в «Русских Ведомостях»¹, Кокошкин особенно близко соприкоснулся с моей личной деятельностью, и именно в этой сфере я особенно научился ценить превосходные качества моего московского друга и собрата по журналистике. Составляя сам передовые статьи для петроградской «Речи», я как-то всегда знал о чем — и даже что именно — напишет в тот же день Кокошкин в Москве, — и жадно ждал номера «профессорской» газеты, чтобы проверить самого себя. Конечно, не одна эта сторона работы, но и вообще постоянная совместная политическая деятельность в одной и той же политической группе сделала наши отношения особенно интимными. И даже теперь, когда политическая

¹ Русские Ведомости — российская общественно-политическая газета, выходившая в Москве с 1863 по март 1918 г.

обстановка претерпела новые глубокие изменения, я часто ловлю себя на вопросе: что сказал бы о том или другом вопросе Кокошкин? И мне все продолжает казаться, что я знаю, что сказал бы Кокошкин, и этим критерием я измеряю правильность собственной мысли. Я прошу извинения за это слишком, может быть, личное объяснение. Но я лучше не могу дать понять, чем был этот глубокий аристократически тонкий и демократически последовательный мыслитель для меня — и, следовательно, для всей той части русской интеллигенции, которая могла следить за ним и пользоваться его ежедневными уроками.

Я никогда бы не кончил, если бы дал волю своим воспоминаниям. Постоянная совместная работа в течение многих лет, — работа политического **действия** с одним, политической **мысли** с другим, — отслонила так много в памяти, что трудно даже подчас разобраться, что тут свое и что чужое. Но я хочу лишь дать общее впечатление — или оживить его у тех, кто имел счастье близко соприкоснуться с обоими политическими и государственными деятелями. Большое место, которое им принадлежало в нашей среде, видно из той зияющей пустоты, которая осталась с их безвременной кончиной. Если бы большевики сознательно хотели лишить нас лучших наших сил, выбить из рядов самых своих опасных противников, они не могли бы сделать лучшего выбора, не могли удачнее направить руки убийц. Даже среди моря жертв и океана страданий, разлившихся по русской земле, **эти** потери и **эти** две жертвы не забудутся, и не только потому, что они первые. Их нельзя забыть и потому, что тут погиб лучший цвет поколения, уже достаточно обессиленного всей предыдущей борьбой со старым абсолютизмом, на смену которого пришел абсолютизм новый, еще более жестокий и без меры более ненавистный.

Последние новости. 1925, 18 января

ПАМЯТИ Г.Е. ЛЬВОВА

Сегодня исполняется годовщина кончины Г.Е. Львова. Имя покойного так тесно связано с историей Февральской революции, что трудно отделить его как личность от этого поворотного момента русской истории, в котором ему пришлось играть формально руководящую роль. Давно уже не секрет, что играл он ее именно только *формально*. Его необычайная скромность в связи со столь же несомненной неподготовленностью к *политической* стороне свалившейся на него задачи привела к тому, что он совершенно сознательно устранился от

дирижерской роли. Он взглянул на свою задачу скорее *этически*, чем политически. Этически он понял и существо происшедших событий. Переход власти к народу — эта идея сама по себе была так для него высока; она так интимно и гармонично сливалась со всем его существом, что из его поля зрения как-то сами собой исчезли «слишком человеческие» подробности. Он верил в то, что стихийный процесс, только что начинающийся, сам все вынесет, все уладит, все образует: мы, маленькие люди, можем быть при этом только добросовестными исполнителями, послушными орудиями великой судьбы. И надо сказать, что взятая в широких и главных чертах эта философия демократии не была ошибочна. Рано или поздно демократия, несомненно, залечит нанесенные самой себе раны. В этом отношении мировоззрение Г.Е. Львова будет оправдываться с каждым пережитым годом. Ошибка Львова, которую можно назвать «недостатком его добродетели», была в излишней вере во врожденную благодать человеческой природы и в недостатке понимания, что политическое искусство призвано пополнять пробелы, которые в этой природе обнаруживаются, и сокращать процессы, которые, будучи предоставленными самим себе, разворачиваются с бурной расточительностью разрушительных и созидательных сил природы. К моменту мирового конфликта, естественно вызвавшего наружу все стихийные силы и инстинкты человеческой природы, менее всего подходила такая, присущая Г.Е. Львову, мирная и человеколюбивая идеология. Вне этой роли, с которой история неизбежно сольет имя Г.Е. Львова, в его деятельности остается еще очень значительная область, в которой выдающиеся достоинства личности Г.Е. Львова находили себе подходящее для него применение. В широких кругах часто забывают, что, собственно говоря, именно *этой* неполитической своей деятельностью Г.Е. Львов и завоевал себе то положение, которое, в момент катастрофы, выдвинуло его на первое место. Когда пришел девятый вал и унес с собой Г.Е. Львова, вместе со столькими другими, за пределы родины — тут эта первоначальная общественная роль сама собой, можно сказать, автоматически, вернулась к Г.Е. Львову — и была опять санкционирована общим признанием. В этом можно видеть некоторый реванш, полученный покойным за перенесенную на политической арене аварию. Вне рамок грандиознейшего из переворотов русской истории, в котором отдельные личности и репутации разбивались как щепки, Г.Е. Львов снова оказался большим человеком, способным вести за собой общественные ряды. Дело людей, лично знавших покойного, постоянно напоминать об этой существенной поправке к тем разнообразным суждениям, которые исходили и будут исходить только из оценки февральских событий 1917 года. Можно было бы даже сказать, что по отношению к Г.Е. Львову поправка должна сделаться

основным текстом, к которому характеристика революционных дней должна внести только некоторое дополнение. Такой оценки деятельности Г.Е. Львова требует не только естественное чувство справедливости к покойному общественному деятелю. К ней приводят также и чувства благодарности той бесчисленной вереницы людей, с которой сталкивала Г.Е. Львова его нормальная общественная работа на всем протяжении его жизненного пути, ставшего непрерывным подвигом самоотвержения и неустанного служения на благо страждущих и на пользу свободного развития родной страны.

Последние новости. 1926, 6 марта

М.М. ВИНАВЕР И «НОВАЯ ТАКТИКА»¹

Сегодня мы опускаем в могилу тело Винавера. Много теснится в голове воспоминаний, связанных с долголетней нашей совместной работой. Я выберу из них одно, связанное особенно тесно с возникновением «Последних Новостей» и с происхождением той «новой тактики», которой суждено было направить мысль и волю демократической части эмиграции на новую стезю. В эмигрантской политической терминологии «новую тактику» многие привыкли связывать с моим именем, и мне приходилось принять на себя первые удары противников и бывших единомышленников, защищая этот поворот тактики в печати. Но те, кто стоял ближе к политическим кругам эмиграции, знают, что, собственно говоря, «новая тактика» родилась в Париже, и что первым ее восприимчиком был покойный Максим Моисеевич. В 1920 г., в период перелома «белой» борьбы, мне пришлось из Лондона, где я тогда проживал, совершить целых семь поездок в Париж. От этих поездок у меня сохранились довольно подробные записи, по которым роль М.М. в этот важный момент вырисовывается

¹ «Новая тактика» кадетов в эмиграции во главе с П.Н. Милоковым строилась на новой программе кадетов: признание в России республики, федерации как формы соотношения отдельных частей государства, status quo на «крестьянские захваты», установление местного самоуправления, а также включала необходимость изучения самой советской России, учета эволюции власти и настроений населения. Тем самым, по мысли сторонников «новой тактики», создавался «мост» для сближения с левыми партиями (например, с эсерами), которые рассматривались как союзники в общей борьбе с советской Россией.

с полной отчетливостью. Он не учитывал, правда, в тех первоначальных переговорах, которые велись между политическими деятелями разных направлений в летние месяцы 1920 г. (апрель–июль). За это время намечена была, между прочим, записка Врангелю, которая была довольно подробно разработана членами партии, но в последнюю минуту, в связи с быстро менявшимся положением, оставлена без движения. Непосредственное участие Винавера в выработке основ «новой тактики» и в создании соответствующего настроения в тогда же образовавшейся парижской группе партии относится к осени 1920 г., когда почва для этой постройки была в известной степени расчищена самим ходом событий. Его положение по отношению к назревшей перемене настроения среди демократически настроенных элементов партийных кругов было особенное и весьма благоприятное. Он попал в эмиграцию из Крыма, где ему уже приходилось в ответственной роли члена крымского кабинета вести борьбу с злоупотреблениями военщиной в добровольческой армии и отыскивать способы соглашения — на что он был такой мастер — с общественными течениями, стоявшими левее партии свободы. В Крыму, кроме того, он поддерживал идею самостоятельности новых национально-территориальных образований, и это сделало его противником добровольческого централизма.

С этим активом в своем непосредственном прошлом М.М. явился самым подходящим посредником, когда в последние месяцы 1920 г. возник вопрос о сближении между собою разных демократических течений в эмиграции. Тогда это был несравненно более острый вопрос, нежели теперь. Позиция, занятая социалистическими партиями в белой борьбе, была еще свежа в общей памяти — и создавала большое психологическое препятствие для контакта с ними вчерашних участников белой борьбы. С другой стороны, и социалисты отодвинулись от несоциалистической демократии и смотрели крайне подозрительно и недоверчиво на отдельные попытки из этой среды восстановить единство демократического фронта. М.М. Винавер был одним из очень немногих, которые стояли вне этих подозрений и уже в период белой борьбы успели занять относительно нее независимое положение. И естественно, что первые переговоры о форме, в которой возможно было восстановление общения демократических элементов, велись при его непосредственном участии.

Помимо отыскания этих форм (они найдены были в довольно узкой форме съезда членов Учредительного собрания, причем исход этого съезда оставался неопределенным), нужно было, однако, прежде всего установить собственную политическую физиономию несоциалистической демократии, ибо ее близкое соседство во время белой борьбы с несродными ей правыми политическими элементами

сильно затемнило ее собственные программные и тактические позиции. На заседании парижской группы 2 декабря 1920 г. я выступил с соответствующими предложениями, основанными на неоднократном предварительном обмене мнений среди политических единомышленников. Мои предложения касались пересмотра наших собственных позиций по кардинальным вопросам о форме правления, об аграрном вопросе, о федерации и военной диктатуре. Я теперь изложу по своей записи ту речь, которой М.М. поддержал мое предложение.

«Почти по всем вопросам, — говорил М.М. в заседании 3 декабря, — предложения П.Н. есть возврат к старому, а не что-либо новое. Это — исповедание веры, обязательное для каждого к. д., — и оно не требует апробации отдельных комитетов. Много было сделано зигзагов отдельными секторами в различной обстановке. Но единственное мерило в их оценке есть возврат к идеологии партии. Три из затронутых пунктов входят в программу, и по отношению к ним нет никаких сомнений. Четвертый пункт — о диктатуре — есть вопрос тактический. Относительно формы правления программа наша говорит, что мы республиканцы. Принимая республику, мы, конечно, оговаривались, что это вопрос не принципа, а своевременности. Монархические идеи появились в разных частях партии вопреки программе. Раньше это вызывало удивление, потом стало обычным. Но никогда ни один съезд партии не отступался от этого пункта программы.

Мы имели меньше права говорить о федерации. В программе партии федерации нет. Но от духа программы мы и здесь не делаем отступления. “Областная автономия” мыслилась Ф.Ф. Кокошкиным как ступень к федерации. Относительно аграрного вопроса надо признать, что то, что делалось (в период белой борьбы), — не наше. Самый мучительный вопрос сейчас — это вопрос о военной диктатуре. Не все помнят перипетии этого вопроса. Мы спорим о “пятоголовой” или “трехголовой” директории. В то же время в партии стала зреть идея единоличной диктатуры. Слово не употреблялось, но мысль об этом была. Мы восприняли *факт* южной диктатуры. Несомненно, разговоры о диктатуре нарушали (московское) соглашение (с левыми организациями). Но я почти убежден, что ни в одном партийном документе о диктатуре не говорится. В октябре на съезде в Екатеринодаре говорилось лишь о поддержке “добровольческой армии”... Резолюция, которую Долгоруков (Павел) привез в Ялту (на совещание членов ЦК) была подвергнута исправлениям моим и Ивана Ильича (Петрункевич) ... В настоящий момент нужно с большой ясностью поставить вопрос, что дело идет не о вооруженной борьбе, а об обособлении гражданской власти... Я подчеркиваю, что мы *имеем* право сделать все эти заявления».

После замечаний других участников на эту речь М.М. Винавер подробнее развил некоторые из сделанных выше замечаний. Он подчеркнул необходимость открыто «назвать плохим» то, что было действительно плохо, и «не закрывать глаза на дефекты очередного плохого опыта» вооруженной борьбы, хотя бы к ней и пришлось впоследствии прибегнуть «в другой форме». Он напомнил, что существует и «опыт обратный» (в Крыму)? и подчеркнул основное положение этого опыта: «...нормальной власти вместо принудительного аппарата надо создавать аппарат симпатий. Перед Астровым и Лукомским я отстаивал нашу общую тезу — необходимость элиминировать военное управление и оградить гражданскую власть от антипатий населения... Надо сказать, что в том комплексе (явлений, в котором она выступала), диктатура должна быть ликвидирована. Нужно выделение гражданского управления и децентрализация. Военная диктатура связывалась с отрицанием местных сил. Россия воссоздается созданием местных сил».

Заседания 2 и 3 декабря были решающими, и в них решающее значение имела приведенная (по моей, конечно, не вполне точно записи) речь Винавера. Здесь положены основы той записке о новой тактике, которая была окончательно одобрена в конце того же месяца — и сделал необходимым пунктом дифференциацию двух частей партии, — хотевших, и не хотевших немедленно приступить к ликвидации «плохого опыта». Одновременно Винавер заканчивал переговоры о создании съезда членов Учредительного собрания, защищая при этом возможность дальнейшего расширения базиса этой первой попытки демократического объединения, — хотя социалисты-революционеры, главные участники этой попытки, и не смели двинуться в эту сторону ни шагу дальше внесенного ими, совершенно недостаточного предложения, которое могло быть санкционировано партией и ее заграничной делегацией. Напомню, что на самом съезде членов Учредительного собрания, благодаря исключительному редакторскому таланту М.М., почти все принятые резолюции в большей или меньшей мере прошли через его руки, и не один тупик в организационных вопросах, казавшихся совершенно безысходным, был счастливо избегнут.

Таков маленький, но зато самый недавний пример того большого значения, которое имела политическая деятельность М.М. Винавера. При многочисленности его богато одаренной природы трудно сказать, какая из сторон его деятельности была главной. Но в этом и состояла его исключительная сила, что главным казалось всякое дело, к которому он прикасался.

Последние новости. 1926, 13 октября

ПАМЯТИ МУДРОГО

Только что дошла до меня скорбная весть о кончине дорогого Ивана Ильича Петрункевича. Не могу не откликнуться хотя и запоздлым словом у свежей могилы учителя и вождя нескольких поколений русского левого либерализма, патриарха конституционной борьбы с самодержавием и самого близкого мне духовно человека. Молодое поколение знает о покойном только понаслышке. Имя Ивана Ильича ярко сияло в 70-х и 80-х годах прошлого века, окруженное блестящим созвездием друзей-земцев, вместе с ним боровшихся и получавших первые почетные раны. Начиная с 90-х годов около И.И. начинают объединяться новые имена тогдашнего молодого поколения: около него и под его руководством создается и первый печатный орган, и первая политическая организация «Союз освобождения». Само собой выходит, что Ивану Ильичу принадлежит и первое слово в первом заседании первого народного представительного учреждения — Государственной Думе. Увы, эта самая Дума, которая при нормальном ходе вещей должна была бы стать началом публичной политической деятельности И.И. — и, может быть, при его руководстве, символом примирения, — похоронила под своими развалинами и идею внутреннего мира и политическую карьеру вождя. Настоящим местом Петрункевича при «обновленном строе» было бы место премьера в первом ответственном министерстве. Подле Николая II это имя тоже звучало, как символ. В открытом и твердом взгляде борца он прочел безоговорочный приговор абсолютной монархии. И, вместо председательского кресла, Иван Ильич очутился в тюрьме по обвинению в распространении Выборгского воззвания.

Он пошел на этот исход, он захотел участвовать лично в катастрофе первого народного представительства — вполне сознательно. На заре того дня, когда была распущена Дума, кружок друзей в его кабинете обсуждал эти последствия. Я напомнил друзьям, что Выборгский манифест грозит им потерей избирательных прав, и политический результат может получиться тот же, как при благородном отказе депутатов Учредительного собрания 1789 года идти в законодательное собрание: понижение уровня народных избранников. Это соображение целесообразности было решительно отстранено, и... цвет русской общественности попал в стольпинскую ловушку. Для Ивана Ильича, как и для других выборгских сидельцев, наступила полоса вынужденного молчания. Правда, для политических единомышленников голос И.И. еще долго звучал в учреждениях партии. Но для России он замолк. И наш долг теперь, когда это молчание запечатлено

смертью, рассказать нашим преемникам о том, кого потеряла Россия. По несчастью так сложилась наша история, что лучшие наши силы вычеркивались из рядов практических деятелей — и самые могучие политические таланты лишались возможности развернуться. Я особенно сильно чувствую этот роковой наш дефект, находясь в стране, где малейшие способности находят себе применение и признание, где лучшие люди одним удельным весом своей личности продвигаются на первые места.

Мы потеряли в лице И.И. человека, какие рождаются не в каждом поколении. Мне, по крайней мере, не приходилось встречать другого такого счастливого сочетания качеств, делающих политического вождя. Мало сказать, что это было сочетание ясного, строго логического ума с твердой волей, — идейной убежденности с знанием жизни. Ум И.И. был отмечен какой-то особой прозорливостью, способностью интуитивно угадать действие сил, которые сегодня незаметны, но завтра будут решающими. С реалистическим чутьем часто соединяется скептицизм, удушающий веру в положительную цель действия; пронизательность превращается в цинизм. У И.И. знание людей не мешало вере в идею, и воля к действию усиливалась при ясном сознании препятствий. Под холодным расчетом у него скрывалась настоящая политическая страсть. Разум владел у него темпераментом: но в его словах, — всегда чуждых ораторских украшений, — чувствовалась сила убеждения; в глазах вспыхивали искры, и ровная поверхность строго логической речи прерывалась всплесками кипящей лавы. Эта эмоциональная сторона, неизменно согласованная с доводами рассудка, покоряла людей и направляла к согласованному действию. Я несколько раз употребил это слово, — и на самом деле действие было настоящей стихией этого борца по природе, осужденного на долгие годы бездеятельности.

Как переносил он эту личную трагедию? Я никогда не слышал из его уст жалобы. До конца дней, прикованный к своей комнате, почти к своему креслу, И.И. оставался все тем же, горячо преданным жизни, зорко следящим за ее зигзагами и за ее улучшениями. Во время наших редких, но долгих бесед мне приходилось удивляться полноте его осведомленности, силе, широте, свежести и разнообразию его интереса. И, смею ли внести личную ноту, — я никогда не встречал в нем противника. Эти беседы были для меня своего рода экзаменом и проверкой, и я всегда выходил от И.И. поощренный и ободренный. С жадностью он выпрашивал у меня малейшие подробности событий в политическом мире и с удивительной чуткостью прислушивался к самым слабым симптомам грядущих перемен в России.

А в результате — мне всегда казалось, что я гораздо больше получил от него, чем дал...

Теперь навсегда прекратились эти беседы и встречи; замолк и для близких голос мудрого старца. Но мы, которые слышали его, не можем не чувствовать, что на нас лег новый долг по отношению к его памяти. И.И. один из тех деятелей, «вечная память» о которых живет не только в сердцах друзей и почитателей. Живой И.И. мог скрыть себя в тишине своего добровольного уединения, которое мы не смели нарушить. Покойный — он принадлежит всем, незамеченной тенью прошел он при громе последних событий. Но его живая и глубокая мысль продолжала работать. Покойный любил запечатлеть на письме то, чего не мог уже проводить в жизнь, — и от него осталась обильная корреспонденция. Ряд таких оценок и прощальных суждений сохранился для нас в этом общении И.И. с близкими. Я надеюсь, что сохранились и неоконченные его мемуары, которые он, по свойственной ему необычайной скромности, чуть не хотел уничтожить перед смертью. По-видимому, масштаб событий, участником которых И.И. был в старые годы, казался ему чересчур малым сравнительно со всем тем, через что потом прошла Россия. Но из русской истории нельзя выкинуть звена, знаменуемого именем нашего патриарха. Ему в этой истории принадлежит непререкаемое место. Наши преемники в борьбе за торжество русской демократии — борьбе, не только не закончившейся, но теперь вступающей в новую фазу — не должны быть лишены законного наследия, которое устанавливает и их собственное место в связи с русской культурной и политической традицией. Лицом к лицу с глашатаями иных традиций мы должны помнить, что у нас есть своя почетная традиция. И эту традицию мы обязаны свято хранить. В лице И.И. эта традиционная нить русских политических стремлений особенно ценна именно тем, что, начинаясь в том прошлом, когда борьба только что приняла современный вид, она упирается в современность и связывает прошлое с настоящим. Эта связь дает нам и проекцию в будущее: наша традиция жива и жизнеспособна. Горько думать, что среди тех, кто доживет до, быть может, уже близкого возрождения России, не будет нашего старого вождя. Но не умерли его слова и мысли; не может умереть и накопленная его жизненным опытом политическая мудрость. То и другое, в дополнение к историческим актам И.И., мы должны теперь передать продолжателям того незавершенного дела, за которое он боролся.

Последние новости. 1928, 8 июля

С.А. МУРОМЦЕВ (К двадцатилетию кончины)

События — большие события — сменяют друг друга быстро в наше время. В хаосе обломков, сдаваемых в корзину истории, гибнут минутные проблески славы и крушатся, казалось бы, наиболее прочно установленные репутации. Кто помнит теперь бури первых государственных дум и кропотливую государственную работу двух последних? Куда делись следы горячих речей и страстных партийных схваток? Где ряд имен, когда-то произносившихся всей Россией с уважением или ненавистью? Справедливо сказано, что история, которая всего скорее забывается, есть история новейшая. И однако, над океаном забвения, чем дальше, тем ярче выплывают отдельные островки, неслучайно врезавшиеся в память современников и переданные — часто уже в виде легенды — потомкам. Это события — символы, личности — символы, слова и формулы — символы. Они сжимают в себе смысл того, что забыто, знаменуют повороты истории, ярко, как вспышкой магия, освещают решающие сцены.

27 апреля 1906 года, а в этот день как из мрамора выточенная фигура председателя первой думы над ораторской трибуной Таврического дворца, — его первые размеренные фразы принадлежат к таким моментам. Тут, на этом месте, в эти минуты сосредоточилось все, о чем мечтали многие поколения: торжество закона и личной свободы, правовой переход к созданию новой России, признание прав народных. И в центре, как бы в ореоле, — величавый образ Сергея Андреевича Муромцева, строгого законника, как залог воплощения этих идей, от одного присутствия которого бегут тени прошлого, — казалось, что навсегда! Сколько любви, сколько поэзии в этом гармоническом сочетании образа и идеи...

С.А. Муромцев — человек, живая личность, и Муромцев — председатель первой государственной думы, конечно, не одно и то же лицо. Но не случайно же личность превратилась в героя. Биографы Муромцева давно выяснили, в чем тут было совпадение. Муромцев сам сказал об этом, помянув Сергея Трубецкого: «Великая личная жертва, приносимая человеком, вносящим устройство в поток лавы, еще горячий и неоформленный». Устройство и «поток лавы» — как картинно одна эта фраза рисует значение момента. Поток унес с собой попытку устройства, но не похоронил памяти «устроителя». Таким явился Муромцев не только в памяти потомства, но и в воспоминании его знавших. А его «великая жертва» состояла в том акте самоотречения, в котором он на устройении, на создании законной формы нового учреждения сосредоточил всю свою силу, отказавшись сознательно от всего остального. В критические минуты неизбежно близившегося

конфликта думские крестьяне его просили: «...а вы бы съездили куда следует, объяснили бы». Покойный М.М. Винавер справедливо заметил: «Возможно, что другой бы председатель сумел бы более ловко и вовремя предохранить думу от того или другого удара; но возможно, также, что он уронил бы народную святыню». Время для таких ловких компромиссов наступит потом. Но они не спасли от самых тяжелых ударов думу, уже сведенную с пьедестала «народной святыни». И первый председатель был оправдан в том, что не «съездил». Он «призван не был», по его собственному монументальному выражению. С таким же самопожертвованием он охранял и внутреннее достоинство думы, как внешнее. «Вносите предложения, председатель только голосует». Это, казалось бы, сухо, формально, — если бы в первой думе не было высококвалифицированной плеяды «вносящих предложения». И опять-таки правильно председатель не разменял своего высокого авторитета на ежедневные вмешательства в калейдоскоп внутренней борьбы партий. Он «строил» не на минуты и не на месяцы. Но и он не мог придать «горячей лаве» твердой формы.

Очень хорошо, что именно адвокаты напомнили русской эмиграции об этом знаменательном двадцатипятилетии. С.А. Муромцев был, прежде всего, юрист, защитник «права», которое должно было явиться охраной «свободы». Он ошибся: «великое» не свершилось; лава все еще кипит и не отливается в форму. Но в истории борьбы за «форму, охраняющую свободу», он положил — и как лицо, и как символ, — памятную зарубку. В этом его бесспорное право на память потомства.

Последние новости. 1935, 17 октября

ПАМЯТИ И.В. ШКЛОВСКОГО-ДИОНЕО

И.В. Шкловский не был политическим деятелем в прямом смысле этого слова. Он не был им ни тогда, когда политическая деятельность левых групп, к которым он принадлежал, свелась к борьбе открытой силой против насилия власти, ни тогда, когда казалось, что начатки политической свободы открыли путь более культурным способам борьбы. Слово и печать были его единственным боевым оружием: даже не подпольная печать и не митинговое слово, а проповедь идеи путем легальной печати в России. Ему приходилось проводить свою проповедь сквозь тиски суровой цензуры. Но в подцензурной России царского времени читатели умели между строк понимать читаемое.

И проводники этого вида вольного слова были лучшими пропагандистами освободительных идей. Дореволюционная слава Шкловского была основана на этом методе борьбы. И это была настоящая слава.

Я не буду говорить об этом периоде публицистической деятельности Шкловского. Моложе меня на несколько лет, он был все же одним из моих учителей в подцензурном университете вольного слова, знакомившего нас с политическими правами свободной страны. Я обязан ему в этот период, как и многие сотни тысяч его читателей. Не буду говорить и о годах, предшествовавших этому периоду славы: о тех годах ссылки в отдаленной Сибири, когда вынужденное одиночество кончалось для доброй половины политических ссыльных сумасшествием или самоубийством. Сила мысли и воли Шкловского спасла его от того и от другого. Но ссылка, несомненно, наложила на все его существо тяжелую печать. Она закалила его характер, приучила его думать наедине с собой и быть крайне сдержанным в выражении своей мысли.

Мое личное знакомство с Шкловским, перешедшее в дружбу, начинается с 1902 года, проведенного мною в Лондоне. Я сделался частным посетителем домика на Priory Road Bedford Park. На калитке было написано знаменитое слово: «Колыма», — память о среднеколымской ссылке, а невдалеке Шкловский показал мне место, где поезд раздавил лет десять назад блестящего представителя старой эмиграции, — Степняка-Кравчинского. Атмосфера еще была полна мыслями и устремлениями этой эмиграции, спасшейся большей частью побегом из Сибири. Тут доживали свои последние годы шестидесятилетний Феликс Волховский, крепкий старик, темперамент которого преодолевал глухоту, отделявшую его от внешнего мира. Тут жил и Н.В. Чайковский, неутомимый «искатель», «непрактичный идеалист», пронесший через все испытания детскую ясность души. Особняком от друзей жил Кропоткин, теснее связанный теорией своей с международным движением. Промелькнула беглянка Брешковская, с которой я познакомился у четы Серебряковых. Шкловский был постоянным членом этого центрального круга старых эмигрантов и вместе с ними переживал ту перемену настроения, которую он описал, говоря о Чайковском: «Англия оказывала большое влияние на тех русских эмигрантов, которые умели наблюдать и присматриваться к окружающему: мы начинали ценить политическую свободу, тогда как раньше нам казалось, что она нужна только буржуазии. В Англии абстрактные теории подвергались пересмотру под влиянием окружающей жизни». На почве этого, относительно, конечно, «поправения», произошло и мое сближение с хозяином «Колымы» и с его старшими гостями. Впрочем, в 1902 г. уже обозначилось новое поколение посетителей, расчленивших домик на Priory Road на две группы. В ма-

леньком салоне внизу собирались более молодые гости около живой супруги Шкловского, Зинаиды Давидовны, которая остроумно высмеивала неизвестного тогда Аладьина и его глупенькую подругу Ф., сделавшуюся потом большевичкой. Частым посетителем был Корней Чуковский, живой, талантливый и беспринципный. Тут была и музыка, и пение, и веселая беседа. Но хозяин предпочитал спастись от молодых гостей в верхний этаж, где было его царство: большая, постоянно пополнявшаяся библиотека, державшая его в курсе последних мировых событий. Неустанная журнальная и газетная работа давала тогда Шкловскому возможность удовлетворять и свой вкус к бродяжничеству: его страсть к путешествиям. Он не мог нахвалиться удобством круговых билетов Кука и заранее изучал своих Бедкерров. Любимой целью его поездок сделалась северная Африка и Испания. Он изучил в совершенстве испанский язык и внимательно следил за испанской литературой. В беседах с близкими друзьями он был жив и остроумен, сыпал воспоминаниями о сибирской и африканской экзотике, но заметно скисал и замолкал в присутствии чужих элементов.

Не буду останавливаться на случайных встречах последующих лет при моих заездах и проездах через Лондон. Конечно, посещение «Колымы» оставалось обязательным номером моей программы дня. Там я встречал прежние радушие и прежнюю атмосферу. Только разница между верхним и нижним этажами как будто с течением времени становилась более значительной. Старые друзья из сибирских ссыльных перемерли или рассеялись. Но Шкловский выдерживал старую линию — все больше замыкался на себе.

Революция 1917 года на короткое время точно омолодила 52-летнего Шкловского. Он даже снялся с насиженного места и после двадцатилетнего отсутствия приехал в Петербург. Но скоро последовало разочарование. Общего языка с левыми друзьями у него не нашлось, как не нашлось у другого «постепеновца», Плеханова. Обманывать себя относительно вероятного исхода революции Шкловский не мог. Если уже в 1905 г. провал, вместе в революцией, левой тактики усилил его сомнения, то в 1917 г. ему пришлось хоронить самые заветные свои упования. В самом мрачном настроении он вернулся на «Колыму», а скоро пришлось и мне за ним последовать. Начало своей эмигрантской жизни — 1919 и 1920 годы — я провел в Лондоне, и наши постоянные сношения возобновились. Я видел, как страдала нежная душа Шкловского и как все более неприступной корой ограждал он себя от внешнего мира. Гнев и ненависть противоречили мирному характеру Шкловского. Но они находили свое выражение в прорывавшихся постоянно сарказмах, прикрытых личиной добродушного смеха. Выросший и воспитанный в Украине, как он был оскорблен новоявленным сепаратизмом людей, даже

не научившихся говорить по-украински так, как умел говорить он, Шкловский. Член немногочисленной русской колонии, в большинстве состоящей из людей левых взглядов, как негодовал он, видя, что один за другим прежние непримиримые враги Чешам-хауза (русского посольства) спешили поклониться новым господам — большевикам, чтобы что-нибудь на них заработать. В беседе с глазу на глаз он называл их имена... Не говорю уже о поругании святая святых — прежних убеждений Шкловского, об извращении самых любимых его идей, о насилиях во имя свободы, о грабежах и нивелировке книзу во имя равенства, о партийной диктатуре во имя братства. Перед суровым октябрьским северным ветром нежная мимоза окончательно свертывала свои листья.

Шкловский сделался членом нашего лондонского «Комитета освобождения» и участвовал в издании журнала «The Free Russia»¹. Он оказался в нем моим союзником слева, и еще раз я имел случай оценить твердость его убеждений при всей мягкости внешнего их проявления. Но вообще и тут он не чувствовал себя среди своих. Разочарование в «левых» не отбросило его вправо, как он отбросил многих платонических любителей революции, отпрянувших от ее подлинного лица. Он остался самим собой, но еще сильнее стал чувствовать свое одиночество. Поражение своих идей он воспринимал почти как личную обиду. Все чаще он становился угрюм и мрачен. Привычная литературная работа среди книжных сокровищ верхнего этажа оставалась единственным душевным успокоением.

А тут подкралась личная нужда. Заработки в русских журналах и газетах прекратились. Издательства еще печатали книги, но удерживали доходы; книжный рынок для заграничной русской книги быстро сокращался. Начиналась в буквальном смысле борьба за существование. В этой борьбе пришлось покинуть, наконец, и «Колыму», заменив ее более скромным помещением на той же окраине. «Последние Новости» становились почти единственным постоянным ресурсом. Здесь Шкловский рассыпал блестящие старые надежды и изливал горечь разочарований. Особенное утешение находил Шкловский в обличении мнимых новых «слов», делая им очную ставку с их забытыми предшественниками. Кое-кто выражал недовольство этими частыми возвращениями к старому; эти люди, очевидно, не понимали всего яда исторических конфронтаций Шкловского. Уличая, старый идеалист апеллировал к совести, — хотя бы и ренегатов, прежде чем апеллировать к общественному мнению. Да и где оно было, это общественное мнение, куда делась прежняя огромная аудитория Шкловского?

¹ Имеется в виду журнал «The New Russia», издававшийся «Комитетом освобождения России».

Так жизнь постепенно превращалась в «доживание». Мои последние встречи со Шкловским были трагичны. Четыре года назад я нашел его после серьезного нервного припадка. Он почти не мог говорить. А работать нужно было по-прежнему. Потом он поправился, и год тому назад пришел на мой доклад в «Королевском институте». Над его домом нависла явная угроза конца и распада. Зрение быстро слабело у когда-то жизнерадостной Зинаиды Давидовны... А надо было, не покладая рук, работать... В последнем, недавнем письме ко мне, Шкловский призывал смерть как избавительницу...

И вот она пришла. Пришла, как часто бывает, внезапно, и упокоила страдальца. Прах его развеян по цветущему полю: у гробового входа играет молодая жизнь. Что ей за дело, что судьба была жестока к видному участнику в подготовке этой самой молодой, более счастливой жизни. Да и удалась ли эта подготовка? Шкловский умер, когда на этот вопрос и у нас, его переживших, еще нет ответа. У оптимиста есть последнее утешение в надежде на будущее. Смее ли я сказать, что в глубине глубин, несмотря на все отчаяние и на гложущую тоску, у Шкловского все-таки теплился огонек оптимизма, как это требовало его мировоззрение? Не знаю. Эту последнюю тайну он унес с собой в могилу.

Последние новости. 1935, 10 марта

МОИ ВСТРЕЧИ С МАСАРИКОМ

В моем кабинете висит портрет Масарика с посвящением, которое составляет предмет моей гордости. «Своему другу» посвятил отошедший только вчера в вечность мыслитель и освободитель своего народа, дорогой всему миру образ. В своих «Воспоминаниях»¹ он причислил меня к кругу людей, оказавших ему содействие в великом подвиге его жизни. И сегодня, стоя перед его открытым гробом в Ланах и всматриваясь в просветленные смертью черты, я знаю, что в этом сердце, которое устало биться, было и мне уделено какое-то место. Это чувство обязывает: мне хочется передать русской публике мои впечатления о встречах с покойным. О них мне пришлось говорить его чешским согражданам по поводу красивого жеста, которым он закончил свое служение: ухода от власти и передачи ее в надеж-

¹ Масарик Т.Г. Мировая революция. Воспоминания. Прага, 1926.

ные руки главного сотрудника. Я не хочу проводить какой-либо личной параллели — и прошу не толковать моих воспоминаний в этом смысле. Судьба сталкивала меня с президентом-освободителем в дни решающих поворотов в его общественной карьере. Если и есть какой-то символизм в моих сопоставлениях, то он, во-первых, не личный, а общественный; а, во-вторых, смысл его не в сходстве, а скорей в контрасте наших положений. Масарик вел свою страну к свободе — и довел ее до цели, к достижению которой она была подготовлена национальной работой всего народа и исключительно-благоприятной международной конъюнктурой. Напротив, усилия русского «освободительного движения» натолкнулись на слепое сопротивление власти и на неподготовленность народных масс. Международная же конъюнктура, созданная затянувшейся войной, утомившей и истощившей страну, оказалась для нас исключительно неблагоприятной. Поддержка демократической Европы, помогшая Масарику создать новое свободное государство, не распространилась на тех, кто не мог устоять на собственных ногах в тяжелые минуты. Говорить о чьей-либо вине здесь не место: это была наша беда. Но нельзя и скрывать печального смысла параллели, если бы кто-либо считал нужным ее проводить. Я предпочел бы, чтобы в моих «встречах» эта параллель сохранила смысл чисто хронологических совпадений.

I

Первая моя встреча с Масариком относится к самому концу XIX столетия. Я не знал тогда тех черт его биографии, которые уже тогда выдвинули его на видное место, как политика и публициста; не знал его роли, определившейся в борьбе за политическое, научное и религиозное свободомыслие, за самоуправление родного народа; не знал и о тех препятствиях, с которыми столкнулся Масарик в своей жизненной карьере со стороны университета, представительных учреждений, собственной партии — и вообще всей окружавшей среды, косневшей в застарелых традициях узкого национализма и нетерпимости ко всему новому. Но я хорошо знал о широкой популярности опального профессора среди стекавшегося к его кафедре молодого поколения, о влиянии его личности и его либеральных взглядов на университетскую молодежь, о его новом понимании основ славянской культуры, как общеевропейской и способной подняться над национальным своеобразием до общечеловеческого уровня, не претендуя на специальную «расовую» избранность в плане мирового прогресса. Все это было мне понятно и близко: я сам был только что изгнан из университета за «вредное влияние» на студенчество; сам

боролся против национальной исключительности старого романтического славянофильства; сам принужден был искать убежища в славянской стране (Болгарии), до которой уже дошла просветительная проповедь молодого профессора. Естественно, что при первой возможности я поехал в Прагу с специальной целью познакомиться с Масариком. О чем мы говорили при первой встрече я, разумеется, и не помню. Помню только ласковый прием, молчаливое признание того, что нас объединяло, — и особенно помню аскетически скромную квартиру профессора, богатую книгами и скудную мебелью — совсем как моя собственная, оставленная в России. Через Масарика открылись мне перспективы нового славянского мира, непохожие на славянофильские мечтания; стали заметны — в молодом поколении — поиски выхода на путях европейской культуры. Все эти первые впечатления углубились и окрепли впоследствии, по мере дальнейшего знакомства с деятельностью Масарика на пользу славянства в Австро-Венгрии и на Балканах.

Именно на этой почве пути наши скоро скрестились вторично — не в форме личной встречи, но в форме некоторого рода общего сотрудничества. Его ареной явилась на этот раз Америка, с которой сблизил Масарика брак его, а хронологической датой были 1902–1903 годы. Известный американский деятель, Чарльз Крэн, заинтересовавшийся тогда, в своих поисках экзотики, славянскими странами и Россией, организовал при Чикагском университете ряд лекций о славянстве. Первым лектором был приглашен Масарик (его сын Ян был потом женат на дочери Крэна); на мою долю выпало быть его продолжателем в 1903–1904 и в 1904–1905 годах. Одинаково было политическое устремление наших лекций — к свободе; но содержание их поневоле вышло различным. Масарик мог говорить о приближающемся освобождении своего народа от чужой власти с уверенностью и оптимизмом. Я мог лишь характеризовать приближение глубокого кризиса, долженствовавшего принять, при противодействии власти, революционные формы. Оба прогноза оказались удачными: в одном случае — к великому счастью, в другом — к великой беде. Но влияние пребывания в Америке было на нас обоих одинаково. В своих воспоминаниях Масарик рассказал, как при посещении места сражения при Геттисбурге (битва 1863 года, окончившаяся победой северян над южанами в междоусобной войне) он прочел на памятной доске знаменитое изречение Линкольна: «Из народа, с народом, за народ» — и как эта фраза погрузила его в размышление о будущем Чехии. «В Чехии тоже нет правящей династии, нет дворянства, нет военной традиции, — сравнивал он. — Республика, построенная на моральной основе, — вот итог размышлений, вполне гармонизировавший с его на-

блюдениями над религиозной основой американской государственности. Религиозно-нравственная основа чешской народной души уже тогда представлялась исходной точкой и аксиомой будущему «освободителю». Гус, Жижка, Хельчицкий, Коменский уже рисовались ему выразителями и творцами народной воли — прежде, чем он стал смотреть на них, как на своих предшественников. Это настроение, впрочем, не мешало ему искать философских источников своего «реализма» в современной французской и английской эмпирической философии — у Огюста Конта и Дэвида Юма. У других это могло послужить началом раздвоения: у Масарика оно стало доказательством несокрушимой цельности его натуры — ее гениальной «наивности» в шиллеровском понимании этого термина. Дух протеста в прошлом чешской истории ручался за совпадение его просветительных и освободительных стремлений с чаяниями народной души.

Поездка по западно-славянским землям: Сербии, Хорватии, Далмации, Боснии, Герцеговине, Черногории, предпринятая мною в 1904 году для подготовки второго чикагского курса и повторенная в 1908 году в связи с аннексией Боснии и Герцеговины, — показала мне всю широту и глубину влияния Масарика на славянское молодое поколение этих годов. Всюду я находил его учеников и последователей его учения о новом славянстве. Против феодальных и клерикальных основ старого славянского национализма Масарик строил свое понимание народного возрождения на поднятии народной души до уровня общего всему человечеству гуманитарного идеала. Вместо территориальных границ старых «Земель» и исторических прав провинций, критерием тут становилось — в духе Палацкого — культурное самоопределение народов. Это открывало возможность мирного сотрудничества народов «лоскутной империи» на началах взаимной терпимости вместо непримиримой вероисповедной и расовой вражды. На моих глазах эта наука Масарика уже приводила к соединению того, что казалось несоединимым в славянстве. Сербь и хорваты готовы были победить разделявшие их конфессиональные предрас судки и признать себя единым народом. Болгарская — и даже македонская — молодежь готовы были искать общей почвы с сербами, мечтая вернуться к объединительной политике эпохи князя Михаила. Смелые выступления Масарика против австрийских подделок в так наз[ываемых] «изменнических» процессах — в защиту сербов от чиновников гр. Эренталя — укрепляли эти настроения и заранее определяли позицию Масарика при наступлении мирового конфликта, который он тщетно пытался предупредить своим посредничеством. Подноготная всей этой местной славянской борьбы и роль Масарика в ней стали мне особенно памятны после упомянутых поездок.

Понимая значение органических процессов в развитии государств и национальностей, Масарик не был революционером и экстремистом — ни в принципиальном, ни в техническом смысле. Он не был и «славянофилом» в старом смысле. И однако же, обстоятельства, связанные с его работой по народному освобождению, заставили его стать во главе славянской революции.

Но прежде чем перейти к этому решающему моменту в карьере Масарика, я должен остановиться на более скромной нашей встрече — в Петербурге. Масарик заехал туда на несколько дней в 1910 году во время проверочной поездки в Россию перед изданием своей книги о «России и Европе». Тема эта была мне близка именно своим сочетанием двух пополняющих друг друга факторов русской культуры, национального и мирового. Но Масарик, соответственно своему общему мировоззрению, должен был взглянуть на свою задачу несколько иначе. Он искал в России не внешнего сочетания того и другого элемента, а чего-то внутренне связующего оба, чего-то органически вырастающего из какой-то общей основы — и притом основы народной. Он подошел к русскому национальному вопросу тем же путем, как к изучению чешской народной души: путем изучения психики наиболее выдающихся представителей русского творчества. Такими были тогда оба гиганта нашей литературы — Толстой и Достоевский. У обоих, помимо черт, свойственных русской интеллигенции вообще, Масарик нашел то, чего искал, прежде всего: этический подход к решению жизненных вопросов. Личность Толстого, с которым он познакомился уже во время первых своих поездок в Россию, в 1887 и в 1889 гг., произвела на Масарика глубокое впечатление. Он даже изменил свои житейские привычки: перестал пить и курить; пробовал ввести у себя строгий вегетарианский режим. Достоевского он лично не знал, но его творчество мучило его всю жизнь. Я нашел впоследствии в его библиотеке рабочий экземпляр сочинений Достоевского, весь исчерченный его карандашными отметками, с указанием на внутренних сторонах переплета страниц, привлечших его особое внимание. Всю свою остальную работу по истории русской интеллигенции он считал введением к объяснению тайны Достоевского. Его книга о России и Европе вышла на немецком языке в 1913 году; тогда же, во время своих поездок по Европе, я познакомился с ней и был поражен изумительной добросовестностью научной работы Масарика. Чтобы составить себе понятие о ходе русской интеллигентской мысли, он, кажется, изучил всю русскую публицистику, нашел и прочел самые маленькие брошюры и отыскал в журналах забытые статьи. Но руководившая им при этом практическая задача осталась настолько же единой и цельной, насколько дробна

и детальна была произведенная им научная работа. Последняя часть толстого двухтомного исследования обнаруживает основную задачу Масарика. По своему обычаю, он ищет в мышлении интеллигенции отражения русской народной души, соприкосновения с ней в самых тайниках этой души, в ее религиозно-этических отношениях к этой жизни. Ищет долго — и тщетно. Нужно напомнить, что он не может искать этого секрета в романтике старого славянофильства. От этой романтики, характеризовавшей и отношение старых чехов к России, его давно уже вылечил его учитель — Гавличек, проживавший в 40-х годах в самом центре зарождавшегося славянофильства в Москве, в семье проф. Шевырева. Впечатления Гавличка были отрицательные; его известное изречение: «Я прежде всего чех, а потом уже славянофил» — знаменовало полную и окончательную эмансипацию от прежних славянских иллюзий. На этом и строилось то новое отношение к идее славянства, о котором я говорил раньше. Это отнюдь не исключало тяги к великой славянской стране, сознательной любви к России, сохранившейся у Масарика и после глубокого научного изучения. Но любовь эта была мучительная: она была смешана из притяжения и отталкивания. Двойственное настроение это ярко выражено Масариком в самом вступлении к книге. Молодой монах показывает иностранцу сокровища Сергиевой Лавры. В его чертах отражается суеверный страх, как бы не оскорбить святость чудотворных икон и мощей прикосновением взгляда неверующего. Масарика привлекает непосредственность и искренность монаха, но отталкивает примитивность его психики. «Так я верил ребенком; так верила и учила меня мать, так верят словацкие крестьяне». Такое же двойственное впечатление, как психика народных низов, оставляет у Масарика и идеология интеллигентных вершин. Толстой — великий художник, но плохой мыслитель. Масарик, протестант в душе и в жизни, не может разделить его «непротивления злу». Он не может сложить руки перед насилием над отдельным лицом, как и над целым народом. В борьбе — смысл его жизни. Достоевский — глубокий знаток человеческой души, но здоровому чувству Масарика чуждо мучительное копание в ее извращениях. Ему особенно чужд туманный мистицизм Достоевского, стоящий препятствием к активной жизненной работе. Русская интеллигенция устраняет это препятствие — но вместе с ним устраняет и этические глубины. На этом различии основана осторожная критика Масарика русского либерализма. Его представителем в политической борьбе он считает меня. Впоследствии я не раз поднимал этот вопрос в разговорах с Масариком. Я думаю, не из простой любезности, а по своей научной осторожности он признал односторонность своего рассуждения о русских прогрессистах и говорил мне, что изменил его в последующие годы.

Наша петербургская встреча была мимолетной. Но Масарик успел принять приглашение нашего партийного (к.д.) женского клуба и прочел нам на русском языке, немного неуверенном и колеблющемся, как всегдашняя его живая мысль, доклад, свидетельствующий о его давнем знакомстве с женским освободительным движением и о непосредственном интересе к его задачам. В скромной фигуре профессора мы еще не почувствовали вождя народного освобождения. Но для этого нужна была перемена сцены, созданная в ближайшие годы развитием мирового конфликта.

Прага, 16 сентября 1937 г.

II

Летом 1916 года, в самый разгар мировой войны, делегация членов государственной думы объехала страны наших союзников — Англию, Францию и Италию. Политическая цель посылки делегации была ясна: она должна была демонстрировать единство общественного мнения России с европейскими демократиями в общей борьбе, преследовавшей идейные задачи. Конечно, при этом на первое место выдвигались представители левого крыла думы — единственные, которые могли являться выразителями этого общественного мнения. С ними преимущественно и входили в общение демократические круги Европы. Но к этим же демократическим кругам обращалась вся европейская интеллигенция, заинтересованная в освободительных целях войны — в том числе особенно представители малых народностей, жаждавшие получить от победы союзников справедливое разрешение их национальных стремлений, перекройку европейской этнографической чересполосицы, создание собственной государственности, в худшем случае защиту прав меньшинств, осужденных оставаться в старых пределах. Самые разнообразные, даже противоположные интересы сливались здесь под общим знаменем свободы; здесь было много неясного, много неискреннего, что обнаружилось впоследствии; но общий тон был тоном интеллигентского идеализма, быть может, впервые в истории получившего возможность воплотить свои стремления в государственные программы и объединить их под лозунгом освободительных целей войны. Интересы русской радикальной оппозиции совпадали с идеологией этого круга; естественно, что между ними быстро установились отношения доверчивого общения.

Такова была та среда, в которой мне довелось вновь встретиться с Масариком. Здесь дело шло уже не об идейной, а о реальной борьбе — притом, об открытой революционной борьбе с собственным правительством. Масарик был эмигрантом; семья его оставалась

в Австрии; политическая деятельность его и его единомышленников, открытая для союзников, но законспирированная от врагов, велась путем тайных сношений. Этим же путем и мне был открыт конспиративный адрес Масарика, в маленьком тупике на северо-западной окраине Лондона: Platt's Lane, Finchley Road. Проникнуть в квартиру было нелегко; на страже стояли охранители; на пороге встретил меня Бенеш, который проводил меня к Масарику. Встретил, как знакомый, так как мы с ним уже виделись, по его воспоминаниям, в Париже.

Несколько слов об этом незаменимом помощнике и продолжателе великого дела Масарика. Уже с 1903 года Масарик не терял из вида даровитого студента, своего поклонника: достал ему литературный заработок, помог кончить курс, одобрил поездку в Париж, Лондон и Берлин для окончания образования, а по возвращении, выслушав его доклад на съезде прогрессивной молодежи в 1912 г., сказал увлекавшемуся энтузиасту: «Слушайте, вы слишком книжный человек. Вам нужно ближе соприкасаться с людьми и с жизнью. Займитесь как следует практической психологией». Совет, как нельзя лучше, совпал с собственными наклонностями Бенеша — и был хорошо усвоен. В свою первую поездку за границу Бенеш освоился с языками (в том числе и с русским); ориентировался в университетских кругах и в журналистике, выпустил свою первую книгу по-французски, — словом, подготовился к конкретной деятельности в тех же кругах; этим и пришлось ему заняться, как эмигранту, ставшему правой рукой Масарика. Его юношеский Sturm und Drang* был уже позади, вместе с верой в Маркса и с воинствующим неверием. Он скоро стал своим среди международной интеллигенции, собравшейся в союзных странах, все знал, со всеми был знаком, все двери были ему открыты. В своих воспоминаниях он дал нам яркую картину лихорадочной деловой работы тех дней, когда общественное мнение подготавливалось к перестройке Европы.

Бенеш провел меня внутрь таинственного дома на Platt's Lane, к Масарику. От него я узнал, что сделано и что предстоит сделать. В двух мемуарах, мне врученных Масариком, была уже идеологически обоснована роль Средней Европы в борьбе за демократический мир, и в частности, роль будущей Чехословакии, как клина на пути германского распространения на юг, по тогдашней «оси» Берлин—Багдад. При этом, как я уже имел случай заметить, Масарик решительно отстранил концепцию войны, как борьбы между славянством и германизмом; он подчеркнул, напротив, мировое значение конфликта, как защиты демократии и европейской цивилизации против

* Буря и натиск (нем.).

своеобразного понимания договоров, как «клочков бумаги», и германской «культуры», готовой заменить «силу права» «правом силы» в стремлении к мировому господству. Относительно всех этих принципиальных вопросов наши взгляды сошлись, как и относительно необходимости построить на развалинах Австро-Венгерской империи новые объединения и независимость поработенных народностей. Тут же я получил данные о настроениях чехов в России и мог, по возвращении нашей делегации в Россию, поддержать масариковское течение в его стремлении объединить чехов, словаков и карпато-русов в границах теперешнего государства и построить это государство на демократических началах, отстранив претензии старых славянофилов. Моя статья об этом (с приложением впервые напечатанной карты будущей Чехословакии) в «Ежегоднике» и «Речи» на 1916 год свидетельствует о тогдашних освободительных стремлениях, в связи с общим нашим представлением о демократических целях войны.

Еще до возвращения в Россию я имел возможность еще раз встретиться с Масариком и Бенешем — в Кембридже, куда они съездили для специального свидания «с Дмовским и Милоковым»: мы оба были приглашены туда англичанами для прочтения лекций — и оба демонстративно провозглашены почетными докторами Кембриджского университета. Так завершилась моя подготовка к выработке демократического мира. Вернувшись к кануну русской революции, я имел еще основания надеяться на активную роль России в этой желанной развязке, а в первые недели революции, в качестве министра иностранных дел, принять личное участие в подведении итогов ожидавшейся победы союзников. В Чехии хорошо помнят приветственную телеграмму Масарика мне, как члену временного правительства, и мой ответ на нее. Большой гриппом, мучимый плохими предчувствиями, Масарик решил немедленно ехать в Россию, «чтобы там ни случилось».

Когда он приехал в Петербург, меня уже не было в министерстве. Я успел лишь дать первый толчок созданию чешских дружин из военнопленных. Но старые консервативные планы относительно создания Чехословакии под русским протекторатом еще не были устранены окончательно. Не были побеждены и прежние сомнения Масарика относительно степени русской европеизации. Свою книгу о «России и Европе»¹ он закончил компромиссным выводом: Россия развивается самостоятельно и оригинально, как развивается, по его мнению, и всякий другой народ. Но линия этого органического развития «анало-

¹ Масарик Т.Г. Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России. СПб., 2004. Первое издание вышло в 1913 г. в Германии.

гична с линиями других европейских народов». Европейец в Масарике признавал тут европейскую роль русских прогрессивных течений. Но он оговаривался: если «Россия есть тоже Европа (это была уступка нам — «либералам»), то все же она лишь «молодая Европа, детство Европы». А, стало быть, — так надо было заключить, — задача реализации ее прогресса — из самодержавия в демократию — революционным порядком, и притом по левой социалистической программе, может оказаться преждевременной попыткой и сорваться в хаос. Все это не было сказано этими словами, но для чешского патриота стало ясно уже до поездки, что революция в России не облегчит, а скорее затруднит осуществление освободительных задач войны; «союзники колеблются»; «после русской революции многие станут еще малодушнее»... Лозунг «Россия и Европа» превращался тем самым на практике в другой — «Россия или Европа». Выбирать надобно было уже не в порядке ученого исследования, а в порядке срочного тактического вывода. Достаточно было поставить этот вопрос, чтобы выбор был сделан. Самые худшие опасения Масарика, действительно, осуществились: ему пришлось лично пережить дни большевистских восстаний в Петербурге и Москве, попасть в самую гущу внутренней партийной борьбы в Киеве, пережить там украинское правительство и захват города большевиками и выбраться из Киева перед самым приходом немцев. Единственной оставшейся теперь задачей для него было — объявить организованные в России чешские легионы частью французской армии — и в скорейшем порядке доставить их на французский фронт. Это решение само по себе требовало признания полного нейтралитета зарождавшегося государства во внутренней борьбе русских партий за тот или другой политический режим.

К этому моменту относится мой обмен письмами с Масариком, получившими значение исторических документов. По просьбе генерала Алексеева я написал Масарику из Ростова, куда выехал из Петербурга в день взятия большевиками Зимнего дворца и где организовывались вооруженные силы для последней борьбы с захватчиками власти, — просьбу о помощи. Алексеев искал повсюду спешной поддержки и обратил внимание в своих поисках на существование зачатков чешского войска. Масарик немедленно ответил в том духе, как и следовало ожидать. Он указывал в своем письме, что 1) надежды на монархическую реставрацию в России слабы; 2) что он не ждет успеха ни кадетов, ни эс-эров; 3) что он не верит и в успех Алексеева с Корниловым, а потому отказывается соединиться с ними и, наконец, 4) что власть большевиков продлится дольше, нежели ожидают их противники. Ввиду этого он не хотел и не мог вступить с ними в открытое столкновение и должен был прежде всего с их же помощью

сохранить и вывести из России чешскую армию, как первый символ будущей независимости Чехии. Как известно, однако, большевики поставили разные препятствия чешскому «анабасису»¹ через Сибирь, а союзники, в своих стремлениях отвлечь от европейского фронта как можно больше германских войск, решили создать новый «фронт на Востоке» и употребить для этого начавшие отходить чешские легионы. Последовала краткая эпопея борьбы с большевиками белых на Востоке и в Сибири, в союзе с чехами, на что Масарик должен был дать свое согласие уже из Америки. Настроение самих чехов раздвоилось между старыми симпатиями к России и новыми чисто чешскими национальными целями, которые в конце и возобладали. Русские «белые», предоставленные себе, постепенно теряли позиции и должны были покинуть Россию в качестве эмигрантов. Незнакомство с быстро менявшимися настроениями союзников, вызвавшими чешскую «перемену фронта», в связи с психологической потребностью «найти виновного», вызвало попытки возложить вину за неудачу не на самих себя и не на дальнейшего, а на ближайшего возможного союзника. Следы этих настроений «белых» — и основанных на этих настроениях легенд — сохранились отчасти и по сию пору. А тем временем письмо Масарика ко мне, посланное в шапке простого солдата, не нашло уже меня в Ростове, странствовало вместе с посланцем по всему пути чешского отступления вплоть до Праги, было там добросовестно возвращено, как недоставленное, президенту Чехословацкой республики Масарику — и им передано мне при нашей первой встрече в новой столице. Предвидения Масарика к этому времени были уже всецело оправданы событиями, как и его решение, — поставить карту не на Россию, а на Европу, не на «русского царя», а на демократическую республику. «Белые» тоже встретились с чешскими легионерами не на полях битв в России, а в процессе строительства нового государства. Идейная борьба между «старой славянской политикой» и «новой», однако же, продолжалась и здесь — и не только в рядах эмигрантов, но и в рядах чешских политических вождей. Острая полемика между покойным Крамаржем, обвинявшем своих противников в «неблагодарности, в оставлении старого традиционного знамени, в потере дружбы и покровительства будущей восстановленной России», — и Бенешем, защищавшем точку зрения реальной политики и противопоставлявшим демократический идеал Масарика устаревшей панславистской идеологии, — эта знаменательная полемика остается памятником разногласий, ныне уже отошедших в историю. А широкая, превзошедшая все другие страны, поддержка, оказанная

¹ Анабасис — поход (др.-греч.).

Чехословакией эмигрировавшим в нее русским бойцам, окончательно лишила почвы всякое выражение недовольства в эмигрантской среде. «Мы сделали для русских все, что могли», — заметил Масарик в своих воспоминаниях. В действительности, можно было бы сказать, что чехи сделали больше. В только что опубликованной резолюции чешского эмигрантского комитета по поводу кончины Масарика мы находим полное признание значения этой нравственной и материальной поддержки для русской учащейся молодежи, русских ученых и писателей и т.д. Собственная дочь Масарика, Алиса Масарик, приняла самое деятельное участие в осуществлении его намерений в этом духе. И мои представления перед президентом в том же направлении никогда не встречали отказа. Но тут уже я вступаю в новую полосу «встреч», о которой будет речь дальше.

*Прага, 17 сентября
Последние новости. 1937, 21, 23 сентября, 3 октября*

М.И. РОСТОВЦЕВ

Организаторы вечеров «Современных Записок» оказали большую услугу посетителям этих вечеров, введя в их состав лекцию нашего знаменитого историка М.И. Ростовцева. Занятый своим американским преподаванием и своими учеными экскурсиями, проф. Ростовцев не часто посещает Париж и еще реже выступает перед русской публикой. Те, кто имели случай слушать его живое, часто вдохновенное, изложение — плод собственных оригинальных работ, — не преминут воспользоваться представляющейся возможностью. Кое-кто из русских друзей, почитателей и учеников, были постоянными посетителями только что закончившейся французской серии лекций М.И. Ростовцева в Сорбонне. Они могут засвидетельствовать, как, казалось бы, такая строго научная тема, как история провинциального города на пути караванной торговли эпохи преемников Александра Македонского, превращается в устах блестящего лектора в яркую, сверкающую живыми красками картину, в которой каждый находит что-то связывающее это далекое прошлое с современностью, и уже поэтому всем близкое и понятное. Как это делается? Лектор признал долю живого воображения в своем рассказе: из кусков и обломков это

воображение лепило на глазах слушателей цельное и яркое изображение и заполняло его чертами, общими всем временам и народам. Интересен и увлекателен был и процесс постройки и его результаты: то и другое обильно иллюстрированное фотографическими снимками и реставрациями. Но строить так свободно и смело на впервые возделанной ниве — для этого одного воображения было бы недостаточно. Нужно все глубокое знание Ростовцева, не только почерпнутое из книг, но и проникнутое чутьем жизни, — и нужен постоянный контроль виднейшего представителя науки: лишь тогда получают те ценные результаты, которые давно выдвинули М.И. Ростовцева на одно из первых мест в ряду современных историков.

Ради лектора можно было бы позабыть о трактуемом им предмете. Но предмет сам по себе представляет животрепещущий интерес. Раскопки, продолженные профессором Ростовцевым и его учениками после французского ученого Кюмона в греко-парфяно-римском городе Дура-Европос на среднем Евфрате, помогают заполнить существенный пробел между эпохами эллинизма и средневековым византийско-христианским миром. К концу своих лекций в Сорбонне М.И. Ростовцев прибережет главную сенсацию, которая непосредственно вводит в преддверие этого мира. Под его руководством были раскопаны и исследованы два храма третьего века по Р.Х.: один христианский, другой еврейский. Оба расписаны первоклассной важности фресками. Роспись христианского храма эпизодами из жизни Христа представляет новый пункт отправления христианского искусства, — иной, нежели христианское искусство первых веков, эпохи катакомб. И лектор ставит вопрос, характерный для его научных поисков: откуда пришло это искусство? Рим или Восток?

Еще большую сенсацию представляет открытие единственного в своем роде памятника: древнейшей еврейской синагоги (245 г. по Р.Х.) Позднее украшение синагоги эпизодами из библейской истории было признано ересью. Изображение живых существ не допускалось. Находка расписанной синагоги ставит на новую почву вопрос об украшении библейскими картинами также и христианских церквей. М.И. Ростовцев готов искать параллелей на Востоке и даже в Индии, откуда, полный свежих научных впечатлений он только что вернулся.

Я не сомневаюсь, что и интерес сюжета, и талант научной популяризации лектора будут по достоинству оценены многочисленными посетителями вечеров «Современных записок», которые этого редко-го случая не пропустят.

ПАМЯТИ В.А. МЯКОТИНА

Смерть похитила моего товарища по специальности и старого друга, Венедикта Александровича Мякотина, — похитила в самом процессе его научной работы. Мы только что, после долгой разлуки, свиделись и беседовали с ним в Праге, куда он приехал из Болгарии для занятий по предмету своего университетского курса в Софийском университете и для окончания второго тома только что изданной по-болгарски «Истории России»¹. Хрупкий организм не выдержал подхваченного в сыром климате воспаления легких... Жизнь вообще не баловала этого достойного представителя одного из течений русской интеллигенции, которое уже вошло в ее историю. По своим политическим и социальным воззрениям — и особенно по кристальной честности своей натуры — Мякотин осужден был всю жизнь оставаться в оппозиции господствующим течениям — и испытывал на себе житейские последствия этого.

Серьезный ученый, он не мог занять соответствующего его познаниям места в Петербургском университете, питомцем которого был. Он представлял в русской исторической науке течение другого народника, В.И. Семевского, далекое от допущенных тогда для университетской кафедры пределов исторического правовеярия. И учитель, и его последователь изучали во всех деталях историю крестьянства; выбор темы был продиктован социально-политической доктриной, которую они разделяли. Каково бы ни было ее внутреннее достоинство, с официальными взглядами она была несовместима. Тогдашняя молодежь сбегалась к Семевскому, дружила с Мякотиным; но эта близость устанавливалась вне университетского преподавания. Молодежь тянула руководителей в подполье — и это полагало предел официальной карьере. Мякотину пришлось преподавать русскую историю... в александровском лицее. Это составляло одно из противоречий тогдашней общественной жизни. Курс его был опубликован; он был посвящен новому периоду русской истории, — что тогда само по себе считалось, с научной точки зрения, не вполне согласным с строго академическими понятиями.

Наше знакомство началось именно на почве этой научной работы, к которой в Москве относились более дружественно. Мякотин приехал в Москву для занятий в архивах по истории крестьян в Малороссии и поселился у меня в квартире. Тогда уже я мог узнать его прекрасные душевные качества, его нравственную чистоту и серьезность требований от жизни. Мои наезды в Петербург давали возможность про-

¹ Мякотин В.А. История Руси от IX до XVIII вв. София, 1937.

должать знакомство; но настоящее наше сближение началось тогда, когда, после одинаковых с ним политических злоключений, я вернулся из заграничной ссылки в Петербург, не столько как ученый, а как публицист и политик. Он, как полагалось для людей его направления, был уже (...) — недалеко от столицы: сношения с ним были возможны и стали постоянными, когда в 1904 г., т.е. к самому началу серьезной политической борьбы, с Мякотина был снят надзор.

Пути наши не сливались, но шли параллельно. При создании политических партий Мякотин остался левее; в происходившей тогда жесткой перепалке между народниками и марксистами он остался верен своим прежним взглядам — и нашел приют в одинаково настроенном «Русском Богатстве»¹. В Петербурге у меня хранилась фотография, на которой сняты, вместе с Мякотиним и со мной, участники интимного кружка этого журнала: старевший тогда Н.К. Михайловский, В.Г. Короленко, Н.Ф. Анненский, Пешехонов. Памятны мне журфиксы журнала и бесконечные споры, в которых вырабатывалось общее мнение о текущих политических событиях. При некоторой разнице взглядов сближал участников высокий культурный и нравственный уровень руководящей группы. Но он же и мешал собраниям превратиться из своего рода политического клуба в широкую политическую партию. Некоторый исход был найден в создании «трудовой народно-социалистической партии», к которой Мякотин продолжал принадлежать до конца жизни. Разница взглядов на роль моей собственной партии к.-д. в государственной думе развела нас в разные стороны, но не изменила сложившейся тогда тесной дружбы. Друзьями мы встретились и за границей — в Берлине и Праге, куда выбросило Мякотина вместе с другими, безупречными даже с тогдашней большевистской точки зрения, русскими интеллигентами. Он был все тот же: скрупулезно-деликатный в личных отношениях, суровый боец в общественных конфликтах. Горячность речи, твердость и обоснованность убеждений, корректность формы вместе с язвительностью содержания делали Мякотина выдающимся оратором, желанным для друзей и опасным для противников. В Париже еще помнят этот характер его выступлений. Научная деятельность Мякотина была всегда тесно связана с его общественными взглядами. Малороссийское крестьянство² осталось навсегда главным предметом его строго научных работ; здесь он дал замечательные ис-

¹ «Русское Богатство» — ежемесячный литературный и научный журнал, издавался в Санкт-Петербурге в 1876–1918 гг. Одним из его редакторов был Н.К. Михайловский.

² Мякотин В.А. Очерки социальной истории Украины в XVII–XVIII вв. Прага, 1924–1926.

следования, нашедшие высокую оценку даже у его противников — сепаратистов украинцев, к числу которых он никогда не принадлежал. Другой ряд статей и исследований посвящен был истории русской интеллигенции — от Аввакума¹ до Пушкина и декабристов, — и до статей в «Последних Новостях», напоминавших о недавнем прошлом того общественного типа, к которому принадлежал и сам автор.

С кончиной Мякотина уходит в это прошлое еще один выдающийся представитель интеллигентского типа этого поколения. Как всегда, создавшие его исторические условия более не повторятся. Интеллигенты последующих поколений, сами уже отходящие в прошлое, практиковали на этом типе русского общественного деятеля свою — по обычаю — страстную критику и готовы были связать с его особенностями наши общественные провалы. Будущий историк, я уверен, отнесется к достоинствам и недостаткам народнического типа более добросовестно и отдаст ему надлежащую справедливость. Яркая общественная физиономия даст для такой оценки и для правильного суждения богатый материал. Пройти мимо него будет невозможно.

Последние новости. 1937, 8 октября

НАЦИОНАЛЬНОЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ В ШАЛЯПИНЕ

**(Слово в память артиста, произнесенное в зале Плейель,
19 июня 1938)**

Ровно год тому назад, в этом самом зале Ф.И. Шаляпин, больной и усталый, давал свой последний концерт. Присутствующие были поражены подбором программы: большая часть номеров посвящена была смерти. Ясновидение артиста оправдалось: он от нас отошел. Слишком короткий промежуток отделяет нас от его кончины; слишком жива еще скорбь о незнаградской потере, чтобы мы могли отдаться спокойному созерцанию цельного образа великого артиста. О Ф.И. Шаляпине было много написано после его смерти прекрасных статей; много мы узнали характерных черт из его интимной жизни. Но эти черты еще не слились в одно целое; цельного образа еще нет и рано пытаться начертить его.

¹Мякотин В.А. Протопоп Аввакум, его жизнь и деятельность. СПб., 1894.

Великие люди, как горные вершины, видны только издали. Вблизи их очертания заслонены случайными неровностями и боковыми тропинками. Нужно одолеть эти препятствия, чтобы добраться до вершины. Есть, однако, одна черта — и притом существенная, — о которой уже и сейчас можно говорить. Это то расстояние, которое отделяет нас, здешних свидетелей славы Шаляпина в период, когда она достигла зенита, от начала его головокружительной карьеры. С этого расстояния лучше, чем те, кто остался там, по ту сторону границы, но и лучше тех, чужих нам, кто знает только результат целой жизни, мы можем измерить конец и начало — и найти связь между Шаляпиным — человеком из народных низов — и гением, заслужившим мировое признание.

«Какой длинный, какой долгий путь», — писал сам Шаляпин в своей автобиографии; действительно, длинный: от первого кумира ребенка Шаляпина, Яшки-куплетиста в балагане Суконной Свободы в Казани, до «Бориса Годунова» на подмостках главных театров Европы. Мы-то знаем, что от детских лет до кончины Шаляпин остался тем самым; но надо объяснить другим это единство. Надо доказать, каким образом вышло, что этот, по выражению биографа, «долговязый, угловатый, белобрысый, застенчивый парень из провинции», как представляют Шаляпина ранние портреты, мог превратиться не только в «стройного красавца», свободно носящего «блистательный фрак», но и в выразителя души всего народа, легко становившегося душой всякого общества, в каком бы ни находился, и беседующего, как равный, с выдающимися историками, политиками, философами, литераторами, социологами, не говоря уже о собратьях по искусству, — живописцах, музыкантах, танцорах — лучших представителях лучших стремлений своего времени, от которых «с плодотворной жадностью» Шаляпин впитывал все, что могло служить материалом для его гения.

Русские великие люди не впервые выходят за нашу национальную ограду, чтобы быть признанными миром. Мы только что, все мы, русские, расбросанные по всем странам мира, ввели дружным усилием в мировой пантеон великого нашего национального поэта Пушкина. Но ввели только имя. Мы не могли ввести великолепный мелодичный стих Пушкина, такой классически простой, прозрачный и сжатый. Нам поверили на слово. Относительно Шаляпина нашего усилия не понадобилось. Его здесь видели, слышали и оценили сами. В этом, конечно, сказалось преимущество певца и актера перед поэтом. Зато искусство певца и актера особенно эфемерно и хрупко. Стих остается. Звук, интонация, жест умирают в момент исполнения. Нужно было новейшее изобретение, чтобы голос Шаляпина звучал,

чтобы его жесты, выражение лица, движения были слышны и видны по смерти, как вы и их увидите и услышите здесь.

Повторяю, нам не нужно усилий, чтобы сделать нашего гения всемирным. Но нужно другое. Нужно объяснить, как, ставши всемирным, Шаляпин все же остался нашим. Я иду дальше — и постараюсь доказать горделивую мысль, именно потому, что Шаляпин остался нашим, он и мог завоевать себе место в мировом пантеоне. Все мы знаем русскую натуру Шаляпина. Знаем, правда, преимущественно, в тех ее выражениях, которые наблюдаются всего легче. Знаем Шаляпина в его причудах, в его эксцессах и вспышках, в неровностях характера, в быстрой смене настроений, в переходах от торжества к унынию, словом, во всех проявлениях его бурного темперамента. Сам Шаляпин признал эти черты присущими русской натуре. «Быть может», — говорит он о русском национальном характере, «от некоторой примитивности русского народа — оттого, что мы еще молоды, но в русском характере и в русском быту противоречия выступают с большей, чем у других, резкостью и остротой. Не знает как будто середины русский темперамент, до крайности интенсивны его душевные состояния. Ни в чем, ни в хорошем, ни в дурном, не знает середины русский человек». «Донской казак» Степан Разин бросил в волжские волны персидскую княжну. Современные Разины бросили в пропасть национальную Россию... И все-таки, вопреки всему, «звонит звездным звоном в веках удивительный, глубокий русский гений».

Противоречия русского характера можно, в той или другой степени, найти у каждого из нас. А вот «звездный звон в небесах» — это уже тайна Шаляпина. Для этого к русскому характеру надо придавить совершенную человеческую организацию, физическую и духовную. Щедро наделила природа нашего гения. И не только это «русская натура». Мало даже прибавить: «широкая» натура. Это натура, изумительно богатая неограниченными возможностями — и в то же время расточительная сверх меры. У Шаляпина вся сила природы сказалась в том, что все ее существо, а не только свою изумительную технику, он вложил в свое творение. Он тут весь, и потому так сразу выделяется от других его оригинальность. Не успел он выйти на сцену, еще не сделал ни одного жеста, не произнес ни одного звука — а уже заметен в толпе статистов. Его натура так богата, что даже и вне сцены — довольно двух-трех друзей, в частной квартире или на приятельской пирушке — Шаляпин уже начинает играть, его фантазия работает, рисуя ему различные сцены и позы, подсказывая слова песни, — и льются через край неистощимые запасы его таланта.

И все же тут не только он сам. Богатая ресурсами натура создавалась на нетронутой, девственной русской почве; из нее бьет ключом

источник оригинального национального творчества. Силен и богат Шаляпин, прежде всего, своей связью с родным черноземом. Он не оторвал от себя той пуповины, которая связывает его с народом, — не хотел и не мог оторвать. Вот почему ему так легко и хорошо с простым народом, почему среди простых людей он так охотно «ухает» свою родную дубинушку. «Пой, Федя, пой» — так поощряли его в детстве соседи: скорняк, кузнец и каретный мастер Суконной слободы. Сам Шаляпин подчеркнул значение этих ранних соседских поощрений. «К пению меня поощряли мастеровые русские люди, — вспоминал он, — и первое мое поощрение к песне произошло в русской церкви, в церковном хоре... Русские люди поют песню с самого рождения; песню страдальческую и отчаянно веселую». И «я горд за мой певческий, и может быть, и несуразный, но певческий русский народ. Не хватает человеческих слов, чтобы выразить, как таинственно соединены в русском церковном пении эти два полюса радости и печали». И Шаляпин поет дифирамб русской песне и русской «панихиде, единственной в мире».

Скажут: хорошо, пусть все это — от природы. Но где же культуры? Ведь нужна же и культура, чтобы стать мировым гением? Культурой Шаляпин обязан, главным образом, себе самому. Я не могу излагать здесь, как и с каким трудом Шаляпин приобретал свою культуру. О всех своих подъемах и падениях он сам подробно рассказал в автобиографии, носящей характерное заглавие: «Маска и душа». Сперва «маска», а «душа» потом; таков порядок приобретения «культуры». В его описании вы узнаете, как он «изменил» Яшке для церковного хора; как из провинциальной оперы и от умного учителя, певца Усатого, через рутину Мариинского театра, он добрался, наконец, до Нижнего и Москвы — и только там, в опере Саввы Мамонтова добился главного; впервые пробил брешь между «Душой» и «Маской», найдя выход своему внутреннему содержанию сквозь условную внешнюю форму роли, отныне уже не исполняемой послушно, по принятому трафарету, а свободно творимой по данному вдохновению. Так Шаляпин рос вместе с своим талантом, хватаясь за новые связи и за открывающиеся возможности и, по его словам, «впитывая, как губка, лучшие веяния времени», чтобы «разработать все особенные черты своей артистической природы, своего темперамента». О своем неустанном труде при этом он сам говорит: «Я вообще не верю в одну спасительную силу таланта, без упорной работы». Эту работу он делал усердно и настойчиво.

Тут — разница его с Горьким, с которым когда-то они одновременно тянули лямку черноработного труда на пристанях Волги. При всех своих талантах. Горький, даже вознесясь высоко, не мог сбросить с

себя своей рабочей одеждой и остался в цепях своей первозданной натуры. Не то — Шалапин. Впитывая в себя все новейшие веяния в области искусства, он сумел стать своим среди культурного мира, «этот русский дичок привился, вырос из кожи провинциального вундеркинда, понял окружающее — и сам стал ему понятен».

Важно отметить, что выиграв это, он ничего не потерял из прежнего. На своей высоте он сохранил ту основную тайну русской натуры, которую назовем тайной «реинкарнации», здесь открывается ключ всей проблемы отношения национального к космополитическому.

Помните, как Достоевский в своей знаменитой речи 1880 г. о Пушкине усмотрел в способности нашего великого поэта перевоплощаться в характеры своих героев всевозможных национальностей особую русскую способность — и даже русскую миссию — стать «всечеловеческими»; конечно, было преувеличением, но оно было основано на несомненной черте русского характера, которую я бы назвал пластичностью. Сама по себе она не есть абсолютное достоинство: ни хороша, ни плоха, ни порок, ни добродетель. Пластичность — значит незаконченность; незаконченность — значит непредрешенность разных возможностей дальнейшего развития; заметили ли вы, как трудно даются англичанину звуки французского языка — и вообще иностранной речи; как легко его узнать по акценту? Голосовые органы тут кристаллизовались в одном определенном направлении, исключая другие. Изменить результат он уже не может. Перед русским открыты все возможности подражания: недаром иностранцы постоянно отмечают у нас дар усвоения языков, это черта нашей молодости, как выше признал Шалапин, — черта незаконченности натуры и вместе с тем ее особенной восприимчивости, — естественно, что талантливейшие из нас обладают этим даром в высшей степени. Пушкин, по общему мнению критиков, легко воплощался в героев своих творений будь это Дон-Жуан или Скупой Рыцарь, Моцарт или Сальери. То же и Шалапин. Про Дон-Кихота он заметил: «Надо полюбить его и пожалеть, чтобы быть на сцене трогательным старым гидальго». Вы увидите, как ему удалось тут преобразовать тайну смерти и тайну бессмертия, сливая себя со своим героем. А про Мефистофеля, которого он играл сорок лет, и все же не считал у себя удачным, — он говорит, объясняя неудачу: Мефистофель «не связан ни с каким бытом». Это — «отвлеченная фигура». Только скульптура, а не краски. Для контраста сравните красочную фигуру Кончака, связанного с бытом кочевника, в исполнении Шалапина. Отсюда следует любопытный вывод: чтобы быть понятным другим, нужно быть связанным с собственным бытом, иначе — мы или становимся непонятны, или — сливаемся с чужим бытом.

Проверим этот вывод на примерах нас самих, русских. Вот Тургенев, самый понятный для Европы, — потому что самый «европейский». Он — в первом ряду; но он замешался в европейской толпе перворазрядных, — их много, — и в пантеон он не попал. Возьмем другой полюс, где сохранилась связь с бытом, с низами. Толстой с его деревней, проклявший город и всю его культуру. Достоевский с его каторжным миром, где он нашел и наблюдал низины человеческой души. Обоим открыт путь к бессмертию — в их качестве национально русских. Но, поскольку на их «быте» построена своеобразная мистика, они остаются непонятны Европе. Они несут с собой «загадку», над решением которой Европа тщетно бьется и ставит перед ними знак вопроса.

Шаляпин занимает середину. Он национален и понятен. И он прошел свой путь к бессмертию сравнительно легко. Конечно, этому способствовал самый род его искусства, непосредственно доступный, интернациональный по характеру своей техники. Затем ему помогло то, что он пришел в Европу (с 1908 г.) вместе со всем комплексом нового русского искусства, — со специфическим русским подбором звуков, красок и жестов; с русской музыкой, оперой, балетом, которые связываются с именем Дягилева. Шаляпин, конечно, внес в эти внешние средства интернационального общения свое собственное содержание. Уже снявший «маску» с «души», он усилил намерения композитора и либретиста своей личностью, как она сложилась, и по всей своей воле отныне не стесненной «маской» раздвинул авторские рамки слов, действий и звуков, чтобы вложить в них себя. Это и была для него идеальная форма слияний интернационального с народным.

Есть, конечно, предел в демонстрации национального: есть, по Шаляпину, «мера». Подделка под национальность не убеждает и мстит за себя. Раскрыть ее нетрудно, она неглубока: это только внешняя мишура. Самовар и поддевка, кумач и охра, даже верченье вприсядку — еще не составляют национальности. Национальность — в особом способе воспринимать и выражать восприятие. Она — в особом понимании, в особом оттенке чувства, в особом характере реагирования на то и другое. Шаляпин называл это «интонацией», «окраской слова». И этой национальностью он обладал в высшей мере. Он был национален без намерения и, по его выражению, «не любил бахвальства национальностью». Шаляпин — национален безыскусственно, потому что иным быть не мог. В этом и состоит успех его интернационального успеха.

Одно французское общество, работающее для международного мира, выразило свою задачу в красноречивом лозунге: «За родину путем согласия мира». Родина здесь впереди, но в международном

«согласии». Согласие, гармония не только в музыке есть сочетание разнородного. Унисон не составляет музыки. Гармония есть полифония, симфония голосов, где каждый имеет свой ход и свое место. В мировом аккорде отдельные голоса даются национальностями. Чем ярче, чем характернее особый тембр каждой, тем звучнее будет аккорд. Чем глубже, богаче национальный характер, тем он нужнее и ценнее для международной полифонии.

Вот почему в мировой пантеон вступают те гении, которые приносят туда ярко и сильно выраженную народную душу.

Последние новости. 1938, 23 июня

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абрамович Рафаил (1879–1963) — политический деятель, публицист, мемуарист, один из лидеров Бунда — 110, 111, 113, 198

Авксентьев Н.Д. (1878–1943) — общественный и политический деятель, публицист. С 1905 г. — член партии социалистов-революционеров. Занимал пост министра внутренних дел в составе второго коалиционного Временного правительства, был председателем Всероссийского демократического совещания. С 1918 г. входил в руководство Союза возрождения России. В сентябре 1918 г. занял пост председателя Государственного совещания в Уфе. В том же году был выслан из страны. В эмиграции издавал журнал «Современные записки». С 1940 г. жил в США — 53–56, 69, 168

Автономов А.И. (1890–1919) — советский военачальник. В 1918 г. командовал армией Кубано-Черноморской республики — 20

Аладьин А.Ф. (1873–1927) — политический и общественный деятель, депутат Государственной думы первого созыва от крестьянской курии. В годы Гражданской войны примкнул к Белому движению — 15, 287

Азеф Е.Ф. (1869–1918) — тайный агент Департамента полиции — 160

Александр III (1845–1894) — император — 144, 154, 246, 254

Александра Федоровна (урожденная принцесса Гессен-Дармштадт-

ская) (1872–1918) — с 1894 г. супруга Николая II — 154, 268, 313

Алексеев М.В. (1857–1918) — военачальник, активный участник Белого движения, верховный руководитель Добровольческой армии — 13–16, 18–20, 37–48, 50–52, 88, 113–117, 165, 298

Алексеев М.И. (р. 1848) — октябрист, депутат III и IV Государственных Дум от Екатеринославской губернии, в Думах — председатель бюджетной комиссии. — 157

Андроников М.М. (1875–1919) — князь, чиновник особых поручений при МВД, числившийся по ведомству без жалованья — 164

Анненский И.Ф. (1855–1909) — поэт Серебряного века — 303

Аракчеев А.А. (1769–1834) — генерал, председатель департамента военных дел Государственного совета (1810–1826), организатор военных поселений — 10

Аронсон Г.Я. (1887–1967) — журналист, поэт, публицист, общественный и политический деятель. Член ЦК Бунда — 174

Астров Н.И. (1868–1934) — общественно-политический деятель, член ЦК партии кадетов. С 1920 г. — в эмиграции — 280

Бастиа Фредерик (1801–1850) — французский либеральный экономист — 91

Бек Ю. (1894–1944) — министр иностранных дел Польши (1932–1939) — 235

Бела Кун (1886–1938) — венгерский коммунистический деятель — 199

Белецкий С.П. (1873–1918) — товарищ министра внутренних дел (1915–1916) — 164

Белинский В.Г. (1811–1848) — литературный критик, публицист — 60

Бенеш Эдвард (1884–1948) — чешский государственный и политический деятель, второй президент Чехословакии — 235, 236, 254, 256, 257, 296, 297, 299

Бердяев Н.А. (1874–1948) — русский религиозный философ. С 1922 г. — в эмиграции — 84

Бисмарк Отто фон Шенхаузен (1815–1898), князь, рейхсканцлер Германской империи в 1871–1890 гг. — 169, 242, 245

Блюм Леон (1872–1950) — французский политик, премьер-министр (1936–1937, 1938) в правительстве Народного фронта — 198, 204

Боборыкин П.Д. (1836–1921) — русский писатель, драматург, журналист — 253, 254

Бобриков Н.И. (1839–1904) — генерал-губернатор Финляндии (1898–1904) — 194

Бобринский В.А. (1867–1927) — российский общественный и военный деятель — 52

Брешко-Брешковская Е.К. (1844–1934) — деятель русской революции, одна из создателей и лидеров партии эсеров — 286

Брусилов А.А. (1853–1926) — генерал от кавалерии. В Первую мировую войну командовал 8-й армией в Галицийской битве, с 1916 г. — главнокомандующий Юго-Западным фронтом — 165

Брюнинг Генрих (1885–1970) — германский политический деятель. В 1930–1932 гг. — канцлер Германии — 214

Бухарин Н.И. (1888–1938) — советский партийный и государственный деятель — 26, 143–145, 317

Бьюкенен Джордж Уильям (1854–1924) — английский дипломат, в 1910–1918 гг. — посол в России — 166, 171

Вагнер Рихард (1813–1883) — немецкий композитор — 226, 233

Верещагин В.В. (1942–1904) — знаменитый русский художник-баталист — 181

Верховский А.И. (1886–1938) — военный деятель. С 30 августа по 22 октября 1917 г. военный министр Временного правительства. В 1919 г. вступил в Красную армию — 261

Вико Джамбаттиста (1668–1744) — итальянский философ — 76

Виктор Серж [наст. Виктор Львович Кибальчич (1890–1947)] — русский революционер, деятель Коминтерна — 199

Вильгельм II (1859–1918) — император Германии, с 1888 г. — король Пруссии — 165, 202, 318

Винавер М.М. (1863–1926) — публицист, общественно-политический деятель, юрист, мемуарист. Член ЦК партии кадетов, министр внешних сношений Крымского краевого правительства. С 1919 г. — в эмиграции — 277, 278, 280, 285

Винберг Ф.В. (1868–1927) — военный и общественный деятель, публицист. В эмиграции в Берлине издавал монархическую газету «Призыв». Сотрудники его газеты Шабельский-Борн и Таборицкий участвовали в покушении на П.Н. Милюкова — 28, 265

Виноградов П.Г. (1854–1925) — историк, профессор Московского, Оксфордского (с 1903 г.) университетов, автор работ по средневековой истории Англии — 131, 158

Витгенштейн А.К. (1768–1843) — российский генерал-фельдмаршал, прусский князь, герой Отечественной войны 1812 г. — 62

Витте С.Ю. (1849–1915) — государственный деятель, дипломат, автор мемуаров. С 1892–1903 гг. — министр финансов, в 1897 г. под его руководством была проведена денежная реформа. В 1905 г. под его руководством был составлен Манифест 17 октября — 9, 10, 61, 93, 94, 153, 155, 156, 169, 170, 183

Волховский Ф.В. (1846–1914) — деятель русского революционного движения. Был членом кружка «чайковцев». С 1889 г. — в эмиграции. В 1890 г. переехал в Лондон, где ре-

дактировал журнал «Free Russia». В 1905 г. вернулся в Россию для участия в революционных событиях. В 1906 г. — вернулся в Лондон — 286

Воровский В.В. (1871–1923) — советский государственный и партийный деятель, дипломат. Убит в 1923 г. белогвардейцем М. Кондратии — 26

Врангель П.Н. (1878–1928) — русский военачальник, один из главных руководителей (1918–1920) Белого движения в годы Гражданской войны. Главнокомандующий Русской Армии в Крыму и Польше (1920) — 13, 86, 88, 278

Вырубова Анна (1884–1964) — фрейлина императрицы Александры Федоровны — 162, 164, 166

Вяземский П.А. (1792–1878) — русский поэт, критик, либеральный общественный деятель — 63

Гамбетта Леон Мишель (1838–1882) — французский политический деятель, журналист — 82

Геббельс Пауль Иозеф (1897–1945) — немецкий политический и государственный деятель, рейхминистр народного просвещения и пропаганды Германии (1933–1945) — 234

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) — немецкий философ, один из основателей немецкой классической философии — 75, 81

Георг VI (1895–1952) — английский король — 188

Гендерсон Невиль (1882–1942) — посол Великобритании в Германии с 1937 по 1939 г. — 232–237

Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803) — немецкий философ, основатель теории циклического развития мировой культуры — 75

Геринг Г. (1893–1946) — нацистский государственный и политический деятель, инициатор создания гестапо и концлагерей — 233, 234

Герценштейн М.Я. (1859–1906) — экономист, теоретик партии кадетов по аграрному вопросу, член I Государственной Думы — 28, 160, 265

Гессен И.В. (1891–1943) — юрист, публицист. Депутат II Государственной Думы, один из лидеров партии кадетов. С 1919 г. — в эмиграции, где занимался литературным и издательским делом — 69–72, 174, 258, 260, 268, 319

Гинденбург Пауль (1847–1934) — военачальник, главнокомандующий немецкой армией в 1916–1917 гг. С 1925 по 1934 г. — президент Германии — 82, 213, 214

Гладстон У. (1809–1898) — английский государственный деятель, в 1892–1894 — премьер-министр — 157

Голицын А.Н. (1773–1844) — российский государственный деятель. Обер-прокурор Синода (1803–1817), министр народного просвещения (1816–1824), президент Библейского общества — 61

Горемыкин И.Л. (1839–1917) — государственный деятель консер-

вативных взглядов. В апреле–июле 1906 г. и январе 1914 г. — январе 1916 г. — председатель Совета министров — 95, 164, 165

Гофман М.Л. (1887–1959) — поэт, литературный критик, литературовед, специалист по творчеству А.С. Пушкина. Автор книги «Пушкин. Психология творчества» (Париж, 1928) — 59, 61–63

Грондейс Людовейк (1878–1961) — голландский корреспондент, был единственным иностранным корреспондентом в армии Л.Г. Корнилова — 18–20

Гугенберг Альфред (1865–1951) — немецкий предприниматель и политический деятель, финансировал национал-социалистическую партию — 225

Гуль Р.Б. (1896–1986) — писатель, сценарист, литературовед, мемуарист. В 1926 г. в Москве выпустил книгу «Белые по Черному: Очерки Гражданской войны». В 1933 г. выехал в Париж — 18, 20

Гус Ян (1371–1415) — основатель и вождь гуситского освободительного движения в Чехии, национальный герой чешского народа — 292

Гучков А.И. (1862–1936) — российский политический деятель, лидер партии «Союз 17 октября», председатель III Государственной думы. Военный и морской министр Временного правительства. После Октябрьской революции эмигрировал — 9, 157–161, 163, 165, 167, 169, 170, 172

Давыдов Д.В. (1784–1839) — герой войны 1812 года, писатель и поэт — 62

Данилевский Н.Я. (1822–1885) — граф, историк, культуролог. Автор книги «Россия и Европа», где отстаивал концепцию историко-культурных типов в истории — 66, 74, 104

Даниэль-Винсент Шарль — министр общественных работ Франции — 202

Делевский Я.Л. (1868–1957) — член партии эсеров, публицист. Автор книги «Протоколы сионских мудрецов. История одного подлога» (Берлин, 1923) — 54

Деникин А.И. (1872–1947) — военачальник, журналист, публицист, мемуарист. В 1918 г. возглавил Добровольческую армию, в январе 1919 г. стал главнокомандующим Вооруженными силами Юга России. 6 января 1920 г. указом А.В. Колчака объявлен Верховным правителем Российского государства. С апреля 1920 г. — в эмиграции — 12–22, 37, 38, 40–43, 45, 47, 48, 50, 51, 88, 99, 114–118, 322

Димитров Георгий Михайлов (1882–1949) — болгарский коммунист, Генеральный секретарь Коминтерна. С 1947 г. Генеральный секретарь Болгарской коммунистической партии — 179, 196, 201, 206, 209

Джунковский В.Ф. (1865–1938) — товарищ министра внутренних дел (1913–1915) — 163

Дмовский Роман (1864–1939) — польский политический деятель и публицист. Член II и III Государственной Думы Российской империи — 297

Долгоруков П.Д. (1866–1927) — политический деятель, один из лидеров Конституционно-демократической партии, член II Государственных Дум. С 1920 — в эмиграции. Расстрелян в 1927 г. после незаконного пересечения советской границы — 279

Дроздовский М.Г. (1881–1919) — генерал-майор, один из организаторов Белого движения — 41, 42, 116

Дубровин А.И. (1855–1921) — консервативный политик, один из основателей «Союза русского народа», детский врач — 28, 94

Дюшен Б.В. (1886–1949) — инженер, профессор, журналист. С 1921 г. эмигрировав из России, жил в Берлине, являлся одним из ведущих сотрудников сменовеховской ежедневной газеты «Накануне», выходившей в Берлине в 1922–1924 гг., сотрудничал в берлинском отделении горьковского издательства «Знание». В 1926 г. вернулся в СССР — 175

Елена Павловна (принцесса Фредерика Шарлота Мария Вюртембергская) — супруга великого князя Михаила Павловича, сторонница отмены крепостного права — 122, 124, 125

Жданов А.А. (1896–1948) — советский партийный и государственный деятель — 146, 199

Жижка Ян (1360–1424) — один из вождей гуситов, полководец, национальный герой чешского народа — 292

Жорес Жан (1859–1914) — руководитель французской социалистической партии, автор трудов по истории Великой французской революции — 55

Жуковский В.А. (1783–1852) — русский поэт, основоположник романтизма в русской поэзии, наставник Александра II — 121

Зиновьев (Радомысльский) Г.Е. (1883–1936) — советский политический и государственный деятель — 26, 101–103, 129, 141, 144, 247

Ипсиланти А.К. (1792–1828) — генерал-майор русской армии, руководитель Греческой революции — 62

Ильин В.Н. (1891–1974) — философ, публицист, композитор и музыковед. Участник евразийского движения — 76

Ильин И.А. (1883–1954) — русский христианский философ, писатель, публицист. В 1922 г. был выслан из Советской России — 86–88, 91

Иоллос Г.Б. (1859–1907) — юрист, журналист. В 1905–1906 гг. — редактор газеты «Русские ведомости»; депутат Государственной Думы. Убит черносотенцами — 160

Кавелин К.Д. (1818–1885) — русский историк, правовед и общественный деятель — 122

Казанович Б.И. (1871–1943) — генерал-лейтенант, участник Белого движения — 22

Каледин А.М. (1861–1918) — военачальник, генерал от кавалерии, соратник Л.Г. Корнилова, войсковой атаман Донской области — 16, 47, 115

Карамзин Н.М. (1766–1826) — литератор, публицист, историк — 63, 138–140

Карсавин Л.П. (1882–1952) — историк, философ, писатель. В 1925 г. сблизился с евразийцами, став одним из лидеров движения. В 1929 г. отошел от сотрудничества с евразийцами — 104

Каутский Карл (1854–1938) — немецкий экономист, историк и публицист, сторонник реформистского крыла марксизма, один из лидеров II Интернационала — 55, 175

Керенский А.Ф. (1881–1970) — общественно-политический деятель, глава Временного правительства — 12, 14–16, 43, 87, 153, 154, 166, 167, 261, 263, 269

Кериллис Андри, де — известный французский публицист — 204

Киселев П.Д. (1788–1872) — российский государственный деятель, министр государственных имуществ, провел реформу управления государственными крестьянами — 121, 122

Клемансо Жорж (1841–1929) — французский государственный и политический деятель, премьер-министр Франции (1906–1909, 1917–1920) — 203, 207

Ключевский В.О. (1841–1911) — выдающийся русский историк — 6, 133, 136, 138–142, 151

Коковцов В.Н. (1853–1943) — государственный деятель, министр финансов (1904–1914 гг., с перерывом с октября 1905 по апрель 1906 г.), председатель Совета министров (1911–1914) — 25, 153, 157, 160, 163, 169, 170

Кокошкин Ф.Ф. (1871–1918) — политический деятель, один из основателей партии кадетов, юрист. Депутат I Государственной Думы — 271, 273–275, 279

Коменский Ян (1592–1670) — чешский педагог-гуманист, основатель педагогики — 292

Константин Николаевич — великий князь, сторонник отмены крепостного права — 121, 125

Колчак А.В. (1874–1920) — адмирал, государственный и политический деятель. В годы Гражданской войны Верховный правитель России (1918–1920) — 262, 314, 321

Короленко В.Г. (1853–1921) — писатель, публицист, общественный деятель — 303

Корнилов Л.Г. (1870–1918) — генерал, в июле–августе 1917 г. Верховный главнокомандующий — 12–16, 18–22, 45, 47, 114, 115, 166, 270, 298, 314, 316, 321

Крамарж Карел (1860–1937) — чешский политический деятель, первый премьер-министр независимой ЧСР (1918–1919) — 34, 299

Краснов П.Н. (1869–1947) — российский генерал, атаман Всевеликого войска донского, известный писатель и публицист — 38, 43–49, 51

Кржижановский С.Е. (р. 1861) — в 1906 г. — товарищ министра внутрен-

них дел. Известен как автор избирательного закона 3 июня 1907 г.; с 1907 г. — сенатор — 157

Кривицкий В.Г. (1899–1941) — капитан госбезопасности, сотрудник иностранного отдела ОГПУ (с 1931 г.), в 1935 г. направлен в Голландию руководить нелегальной резидентурой Иностранного отдела. Автор книги «Я был агентом Сталина» (М., 1991) — 241

Крижанич Юрий (ок. 1617–1683) — хорватский богослов, философ-энциклопедист, выступал за единство славянских народов — 191

Кропоткин П.А. (1842–1921) — русский революционер, теоретик анархизма, географ, историк, литератор — 286

Крыленко Н.В. (1885–1938) — советский государственный и партийный деятель. В 1917 г. — верховный главнокомандующий армии Российской республики — 16

Крымов А.М. (1871–1917), генерал-лейтенант — 165

Крэн Чарльз (1845–1939) — американский государственный деятель, посол США в СССР — 291

Кускова Е.Д. (1869–1958) — общественный деятель, публицист, участница революционного движения. В 1922 г. была выслана за границу, проживала в Праге, затем в Женеве — 176, 264

Кутепов А.П. (1882–1930) — российский военный деятель, участник Белого движения. В 1928–1930 гг. председатель РОВС — 88, 99

Куусинен Отто Вилле (1881–1964) — финский коммунист. Во время Зимней войны был назначен главой Финской демократической республики — 179, 195, 198, 201, 202, 209, 210

Кюмон Франц (1868–1947) — бельгийский историк, археолог, профессор Гентского университета (1892–1910) — 301

Ларин (Лурье) Ю.А. (1882–1952) — экономист, советский нарком финансов, тесть Н.И. Бухарина — 102

Лассаль Фердинанд (1825–1864) — немецкий философ, юрист, экономист и политический деятель, организатор немецкого рабочего движения — 54

Леонтьев К.Н. (1831–1891) — писатель, публицист, литературный критик консервативного толка — 76, 104, 107

Литвинов М.М. (наст. имя — Меер-Генох Моисеевич Валлах) — революционер, советский дипломат и государственный деятель. В 1930–1939 гг. — нарком иностранных дел — 196, 209

Лойола Игнатий, де (ок. 1491–1556) — основатель ордена иезуитов — 226, 241

Лукомский А.С. (1868–1939) — военачальник, видный деятель Белого движения. С 1920 г. — в эмиграции, член РОВС — 280

Львов Г.Е. (1861–1925) — общественный и политический деятель. С 1915 по 1917 г. глава объединенно-

го комитета Земского союза и Союза городов. Первый глава Временного правительства — 275–277

Львов Н.Н. (1867–1944) — русский политический деятель, один из лидеров партии «Мирного обновления» — 38, 86, 87, 158

Майский В. (Иван Михайлович Ляховецкий) (1884–1975) — революционный деятель, член РСДРП (м). В КОМУЧе занимал пост управляющего ведомством труда. В 1919 г. примкнул к большевикам. После Гражданской войны видный дипломат, академик АН СССР — 174

Макиавелли Николо (1469–1527) — итальянский мыслитель, писатель, политический деятель — 226, 227, 241

Мак-Магон Морис де (1808–1895) — французский военачальник и политический деятель, президент Франции (1873–1879) — 82

Максимилиан Баденский (1867–1929) — немецкий политик и военный. С 3 октября по 9 ноября 1918 г. был канцлером Германии. Объявил об отречении Вильгельма II — 208

Маленков Г.М. (1902–1988) — советский партийный и государственный деятель — 199

Манасевич-Мануйлов (Мануйлов, Манусевич-Мануйлов) И.Ф. (1869–1918) — журналист, сотрудник «Нового времени», тайный агент Департамента полиции, начальник Канцелярии председателя Совета министров (с окт. 1916) — 164

Маркиз Поза — герой трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос» — 268

Марков Н.Е. (Марков 2-й) (1866 — после 1931), депутат III и IV Государственных дум, лидер фракции правых — 28, 99, 159, 265

Марков С.Л. (1878–1918) — генерал, один из организаторов Белого движения, убежденный монархист — 10, 41

Мартов Ю.О. (Цедербаум) (1873–1923) — российский политический деятель, публицист, участник революционного движения, лидер меньшевиков — 110, 174, 176

Масарик Томаш Гарриг (1850–1937) — чешский философ и социолог, общественный и государственный деятель, первый президент Чехословацкой республики. Организатор т. н. Русской акции — 254–257, 289–300

Маслов С.С. (1887 — не ранее мая 1945) — экономист, политический деятель, публицист, меньшевик. С 1921 г. — в эмиграции — 176

Местр Жозеф де (1753–1821) — французский консервативный философ, писатель и политический деятель — 91

Мещерский В.П. (1839–1914) — князь, публицист — 169

Меллер Ван ден Брук Артур (1876–1925) — немецкий писатель, консервативный публицист, идеолог Третьего Рейха — 222, 242

Милютин Н.А. (1818–1872) — российский государственный деятель, один из главных разработчиков

Крестьянской реформы 1861 г. — 122–124

Милиц И.И. (1896–1991) — советский историк, академик АН СССР (1946) — 146

Михаил Александрович Романов (1878–1918) — вел. кн., ген.-инспектр кавалерии. 3(16) марта 1917 г. отказался от престола — 165, 261

Михайловский Н.К. (1842–1904) — публицист, социолог, литературный критик, теоретик народничества — 62, 303

Молотов В.М. (настоящая фамилия Скрябин) (1890–1986) — советский государственный и партийный деятель — 189, 190, 194, 195, 200, 201, 206

Мунтерс Вильгельм Николаевич (1898–1967) — латвийский государственный деятель, дипломат, с 1936 по 1940 г. — министр иностранных дел Латвийской республики — 189

Муромцев С.А. (1850–1910) — юрист, публицист и общественно-политический деятель, профессор Московского университета. Председатель I Государственной Думы — 268, 284, 285

Мякотин В.А. (1867–1937) — российский историк, писатель и политик — 63, 302–304

Набоков В.Д. (1869–1922) — политик, юрист, публицист, один из основателей партии кадетов. Был редактором журналов «Вестник права» и «Право». После Февральской революции был управляющим делами

Временного правительства. В 1920 г. эмигрировал. В эмиграции в Берлине вместе с И.В. Гессеном издавал газету «Руль». Погиб, пытаясь помешать покушению на П.Н. Милукова. Отец писателя В.В. Набокова — 9, 28, 174, 258, 259–265, 324

Назимов В.И. (1802–1874) — российский государственный деятель, виленский генерал-губернатор. С рескрипта на его имя официально начались реформы — 123

Наполеон III (1808–1873) — французский политический деятель, племянник Наполеона Бонапарта. С 1848 г. — президент Французской республики. В 1851 г. совершил государственный переворот и установил авторитарный режим. Император Франции с 1852 по 1870 г. — 241

Нейрат Константин, фон (1873–1956) — немецкий дипломат, министр иностранных дел Германии (1932–1938) — 234

Некрасов Н.А. (1821–1878) — поэт, писатель и публицист — 126

Некрасов Н.В. (1879–1940) — лидер левого крыла кадетской партии, депутат III и IV Государственных Дум — 172

Никиш Эрнст (1889–1967) — немецкий политик, лидер движения национал-большевиков, впоследствии антифашист — 214

Николай Николаевич (1856–1929) — великий князь, генерал от кавалерии. В Первую мировую войну верховный главнокомандующий. Эмигрант — 80, 82, 88, 94, 99, 163–165

Нилус С.А. (1862–1929) — российский религиозный писатель и общественный деятель, известен как публикатор «Протоколов сионских мудрецов» — 28

Ницше Фридрих (1844–1900) — немецкий философ — 226

Новгородцев П.Н. (1866–1924) — юрист, философ, общественный и политический деятель. С 1905 г. — член кадетской партии. Депутат I Государственной Думы. Подписал Выборгское воззвание, после чего был отстранен от активной политической деятельности. С 1921 г. — в эмиграции. Основатель и декан Русского юридического института (факультета) в Пражском университете. Умер в Праге — 265–267

Новиков Н.И. (1744–1818) — журналист, издатель и общественный деятель — 60, 120

Орджоникидзе Г.К. (1886–1937) — советский партийный и государственный деятель — 228

Орлов А.Ф. (1786–1861) — российский государственный деятель, при Александре II — председатель комитета по крестьянского вопросу — 125

Орлов В.М. (1895–1938) — советский адмирал — 189

Палацкий Франтишек (1798–1876) — чешский историк и политический деятель — 292

Панин В.Н. (1801–1874) — российский государственный деятель, министр юстиции — 125

Пепе Гульельмо (1783–1855) — командующий армиями Неаполитанской революции 1820–1821 гг. — 63

Пестель П.И. (1793–1826) — полковник, руководитель Южного общества декабристов — 62

Петрункевич И.И. (1844–1928) — общественно-политический деятель, участник либерального земского движения, один из создателей партии кадетов. С 1919 г. — в эмиграции — 279, 281

Пешехонов А.В. (1867–1933) — экономист, журналист, политический деятель. Один из основателей Трудовой Народно-социалистической партии. Министр продовольствия Временного правительства. В 1922 г. — выслан из страны — 35, 306, 303

Питирим — митрополит Петербургский и Ладожский (с ноября 1915 г.) — 165

Победоносцев К.П. (1827–1907), государственный деятель, с 1872 г. член Государственного совета, в 1880–1905 гг. оберпрокурор Синода — 169

Покровский В.Л. (1889–1922) — генерал-лейтенант, участник Белого движения — 20, 21

Покровский М.Н. (1868–1932) — историк-марксист, советский политический и государственный деятель — 131–133, 135–139, 141–147, 151, 231

Поль-Бонкур Жозеф (1873–1972) — французский государственный и политический деятель. В 1938 г. министр иностранных дел Франции — 209

Протопопов А.Д. (1866–1918) — товарищ министра внутренних дел (1916–1917), товарищ председателя IV Государственной Думы, с сентября 1916 по февраль 1917 г. — министр внутренних дел — 164, 166

Пуришкевич В.М. (1870–1920) — в 1905–1907 гг. — товарищ председателя «Союза русского народа»; в 1908–1917 гг. товарищ председателя Русского народного союза имени Михаила Архангела. Депутат II–IV Государственных Дум — 159

Пэрс Бернард (1867–1949) — английский историк-русист, в 1919 г. состоял при правительстве Колчака в качестве представителя Великобритании — 152–168, 170–172

Радищев А.Н. (1749–1802) — писатель, публицист демократического направления, философ. Автор книги «Путешествие из Петербурга в Москву» — 10, 60, 63, 120, 150

Распутин (Новых) Г.Е. (1872–1916) — фаворит царя Николая II и царицы Александры Федоровны — 10, 161–166, 169, 171, 269

Раушнинг Герман (1887–1982) — политический деятель национал-социализма, писатель. Президент Сената Данцига — 208, 209, 211–217, 219–227, 234, 240, 243–245

Риббентроп Иоахим, фон (1893–1946) — министр иностранных дел Германии (1938–1945) — 223, 233, 235, 247

Риккерт Генрих (1863–1936) — немецкий философ, представитель неокантианства — 66

Родбертус-Ягцов Карл Иоганн (1805–1875) — немецкий экономист — 72

Родзянко М.В. (1859–1924) — лидер партии октябристов, депутат III и IV Государственных Дум, председатель последней (с 1911 г.), член Временного комитета Государственной Думы (февр. 1917) — 9, 43, 163, 165, 166, 169, 268–270

Романовский И.П. (1877–1920) — генерал-лейтенант Генштаба. В 1917 г. начальник штаба 8-й армии при командующем генерале Корнилове. Начальник штаба Добровольческой армии, начальник штаба Вооруженных сил Юга России — 41, 116

Ростовцев М.И. (1870–1952) — всемирно известный историк. Член Петербургской академии наук (с 1917 г.). С 1918 г. — в эмиграции — 300, 301

Ростовцев Я.И. (1803–1860) — адыютант, известный деятель крестьянской реформы, член редакционных коллегий — 122–125

Савинков Б.В. (1879–1925) — политический деятель, член партии эсеров, руководитель Боевой организации, террорист, в годы Гражданской войны участник Белого движения — 114, 175

Савицкий П.Н. (1895–1968) — экономист, географ, философ, историк, поэт. Один из основателей евразийского движения — 73, 74, 76

Сазонов С.Д. (1860–1927) — в 1910–1916 гг. — министр иностранных дел — 155

Семевский В.И. (1848–1916) — историк, публицист и общественный деятель. С 1906 г. — член ЦК трудовой народно-социалистической партии — 302

Сиссон Эдгард — посол США в России. Обнародовал документы, свидетельствующие о связях большевиков с немецкой разведкой. Большинство ученых считают эти документы подложными — 114

Скоропадский П.П. (1873–1945) — российский генерал, гетман Украины с 29 апреля по 14 декабря 1918 г. — 39, 42–44, 47, 48, 267

Сокольников Г.Я. (Гирш Янкелевич Бриллиант) (1888–1939) — советский государственный деятель, с октября 1922 по 1926 г. — нарком финансов РСФСР — 102, 103

Соловьев С.М. (1820–1879) — выдающийся русский историк — 6, 133, 134, 139, 140, 151

Соловьев Я.А. (1820–1876) — государственный и общественный деятель, видный участник движения за освобождение крестьян — 122, 123

Сперанский М.М. (1772–1839) — государственный деятель в правление Александра I и Николая I, автор проекта государственных преобразований (1809) и руководитель кодификации законов, завершенной в 1833 г., член Государственного совета — 10, 61, 93

Степняк-Кравчинский С.М. (1851–1895) — революционер-народник, писатель. С 1874 г. в эмиграции — 286

Столыпин П.А. (1862–1911) — государственный деятель, губернатор,

с 1906 г. — министр внутренних дел, председатель Совета министров в 1906–1911 гг. — 9, 95, 127, 128, 156–162, 167, 169, 170, 272, 273

Строганов П.А. (1772–1817) — русский военный и государственный деятель, приближенный Александра I — 121

Струве П.Б. (1870–1944) — экономист, философ, историк, публицист — 80–89, 93–95, 98, 99, 258

Суворин А.А. (1862–1937) — писатель, журналист — 18

Суворин Б.А. (1879–1940) — журналист, издатель. Во время Гражданской войны издавал на юге России «Время» и «Вечернее время» — 116

Сувчинский П.П. (1892–1985) — издатель, публицист, музыковед. Один из основателей евразийского движения — 73, 77

Сухомлинов В.А. (1848–1926) — военный и государственный деятель, генерал от кавалерии, с 1908 г. — начальник Генерального штаба, с марта 1909 г. по июнь 1915 г. — военный министр. С 1918 г. — в эмиграции — 269

Таннер Вяйне Альфред (1881–1966) — финский государственный деятель, премьер-министр Финляндии в 1926–1927 гг., министр иностранных дел в 1939–1940 гг. — 193, 195

Тельман Эрнст (1886–1944) — лидер немецких коммунистов, был расстрелян — 199, 201

Терпигорев С.Н. (1841–1895) — беллетрист и фельетонист, более из-

вестный под своим псевдонимом Сергей Атава — 126

Толстой А.Н. (1883–1945) — советский писатель — 205

Трепов Д.Ф. (1855–1906) — генерал-майор, с 1896 по 1905 гг. занимал должность Московского обер-полицмейстера — 156, 158

Троцкий (Бронштейн) Л.Д. (1879–1940) — деятель международного коммунистического движения, практик и теоретик марксизма, основоположник «троцкизма» — 26, 101–103, 110, 130, 135–141, 143, 147, 151, 198, 199, 229–232, 271

Трубецкой Г.Н. (1874–1930) — дипломат, журналист, мемуарист, общественно-политический деятель. Во время Гражданской войны член Особого совещания при генерале А.И. Деникине — 15, 40

Трубецкой Н.С. (1890–1938) — лингвист, литературовед, культуролог, этнограф. Один из основателей евразийского движения — 73, 75

Трубецкой С.Н. (1862–1905) — русский религиозный философ и общественный деятель. Первый выбранный ректор Московского университета — 266, 284

Тургенев Н.И. (1789–1871) — русский экономист и публицист, активный участник движения декабристов — 60, 120, 253, 309

Тьер Луи Адольф (1797–1877) — французский политический деятель и историк, автор трудов по истории Французской революции — 81, 82, 121

Федоров М.М. (1859–1949) — российский государственный и общественный деятель, управляющий министерством торговли и промышленности (1906), участник Белого движения, с 1920 г. — в эмиграции — 114

Флоринский М.Т. (1894–1981), историк, экономист — 153

Форстер Альберт (1902–?) — гаулейтер Данцига — 224

Фотий, архимандрит (в миру Петр Никитич Спасский) (1792–1838) — влиятельный русский церковный консерватор, борец с религиозным инакомыслием — 10

Франсуа-Понсэ Андре — в 1931–1938 гг. посол Франции в Германии — 217

Фридрих I Барбаросса (1122–1190) — император Священной Римской империи, участник Крестовых походов — 225

Фридрих II Великий (1712–1786) — король Пруссии, один из основоположников прусско-германской государственности — 203, 213, 223, 241

Фроссар Людвик Оскар — основатель французской коммунистической партии — 198

Хаузгофер, Хаусгофер (Хаусхофер) **Карл** (1869–1946) — основоположник германской школы геополитики — 217, 221, 242

Хвалковский Франтишек — министр иностранных дел Чехословакии с октября 1938 по март 1939 г. — 236

Хвостов А.Н. (1872–1918) — депутат IV Государственной Думы; в 1915–1916 гг. — министр внутренних дел — 164, 165

Хельчицкий Петр (ок. 1390–ок. 1460) — деятель культуры времен завершения гуситских войн, проповедовал непотивление злу насилием, идеолог Чешских братьев — 292

Хольсти Рудольф (1881–1945) — министр иностранных дел Финляндии — 204

Цанков Драган (1828–1911) — болгарский политический деятель, глава правительства автономного Болгарского княжества (март–ноябрь 1880 г.) — 82

Чайковский Н.В. (1850 — 1926) — революционер-народник, основатель кружка «чайковцев». С 1904 г. — в партии эсеров — 286

Чемберлен Артур Невилл (1869–1940) — английский государственный деятель, консерватор. В 1937–1940 гг. премьер-министр Великобритании — 191, 208, 223, 236

Чернов В.М. (1873–1852) — член ЦК и автор программы партии эсеров, министр земледелия в I и II-м коалиционных Временных правительствах — 176, 263

Чичерин Г.В. (1872–1936) — советский нарком иностранных дел — 26, 138–140, 151

Чуковский К.И. (1882–1969) — известный детский писатель, критик, публицист — 287

Чхеидзе Н.С. (1864–1926) — политический деятель, меньшевик, в 1917 г. председатель Петроградского совета рабочих депутатов — 227

Шабельский-Борк П.Н. — эмигрант, член Союза русского народа, покушавшийся на Миллокова. В результате действий Шабельского и его сообщника С. Табрицкого случайно погиб В.Д. Набоков и были ранены 7 человек — 9, 313

Шаляпин Ф.И. (1873–1938) — всемирно известный русский певец (бас-баритон). С 1922 г. — в эмиграции — 304–309

Шахматов М.В. (1888–1943) — историк, публицист, правовед. Участник евразийского движения — 76

Шахт Ялмар (1877–1970) — немецкий государственный деятель, министр экономики гитлеровской Германии — 221

Шевырев С.П. (1806–1864) — русский историк и общественный деятель — 294

Шестаков А.В. (1877–1941) — советский историк, член-корреспондент АН СССР (1939) — 147, 148, 151

Шингарев А.И. (1869–1918) — земский, общественный, политический и государственный деятель, врач, публицист. Депутат II, III, IV Государственных Дум от кадетской партии. В марте–мае 1917 г. — министр земледелия в первом составе Временного правительства — 157, 260, 261, 271–274

Шипов Д.Н. (1851–1920) — общественный, политический и земский деятель — 169

Шкловский И.В. (псевдоним — Дионео) (1864–1935) — литературный критик, публицист, прозаик, поэт, переводчик, этнограф. Сотрудник «Русских ведомостей» и «Русского богатства». С 1918 г. — в эмиграции — 286–289

Шлиффен Альфред, фон (1833–1913) — начальник немецкого Генерального штаба. Разработчик плана разгрома Франции и России — 221

Шпенглер Освальд (1880–1936) — немецкий философ, историк. Автор книги «Закат Европы» — 76

Штефаник Милан Растислав (1880–1919) — словацкий астроном, политик, генерал французской армии. Активный участник борьбы за независимость Чехословакии — 256

Штюрмер В.С. (1848–1917) — в 1916 г. — председатель Совета министров, министр внутренних дел и министр иностранных дел — 165, 269

Шульгин В.В. (1878–1976) — депутат II–IV Государственных Дум, член Временного исполнительного комитета Государственной Думы (1917 г.) — 9, 48, 49, 88, 89, 117, 159, 160

Шушнинг Эдлер, фон (1897–1977) — австрийский государственный и политический деятель, федеральный канцлер Австрии (1934–1938) — 222, 234–236

Щегловитов И.Г. (1861–1918) — российский государственный деятель, министр юстиции (1906–1915) — 269

Эккхарт (910–973) — немецкий средневековый писатель, монах — 225

Эзоп — древнегреческий баснописец VI в. до н.э. — 232

Эренталь Алоиз, фон (1854–1912) — граф, министр иностранных дел Австро-Венгрии (1906–1912). Способствовал аннексии Боснии и Герцеговины — 292

Юнгер Эрнст (1895–1998) — немецкий мыслитель, один из теоре-

тиков немецкого консерватизма, активно сотрудничал с национал-социалистами — 214

Юрьевский Л.Н. (1884–1938) — экономист, специалист по денежному обращению — 249

Ярославский Е.М. (1878–1943) — советский партийный деятель, историк, академик АН СССР (1939), председатель Союза воинствующих безбожников (1925–1943) — 187

Научное издание

**П. Н. Милоков: «русский европеец»
Публицистика 20–30-х гг. XX в.**

Ведущий редактор *Е. А. Кочанова*

Редактор *Г. М. Соколова*

Художественный редактор *А. К. Сорокин*

Художественное оформление *А. Ю. Никулин*

Технический редактор *М. М. Ветрова*

Выпускающий редактор *Н. Н. Доломанова*

Компьютерная верстка *Е. Н. Мартемьянова*

Корректор *Е. Ю. Кандрашина*

ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать
Формат 60x90 1/16. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 20,5.
Тираж экз. Заказ

Издательство «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН)

117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82.

Тел.: 334-81-87 (дирекция), 334-82-42 (отдел реализации)

